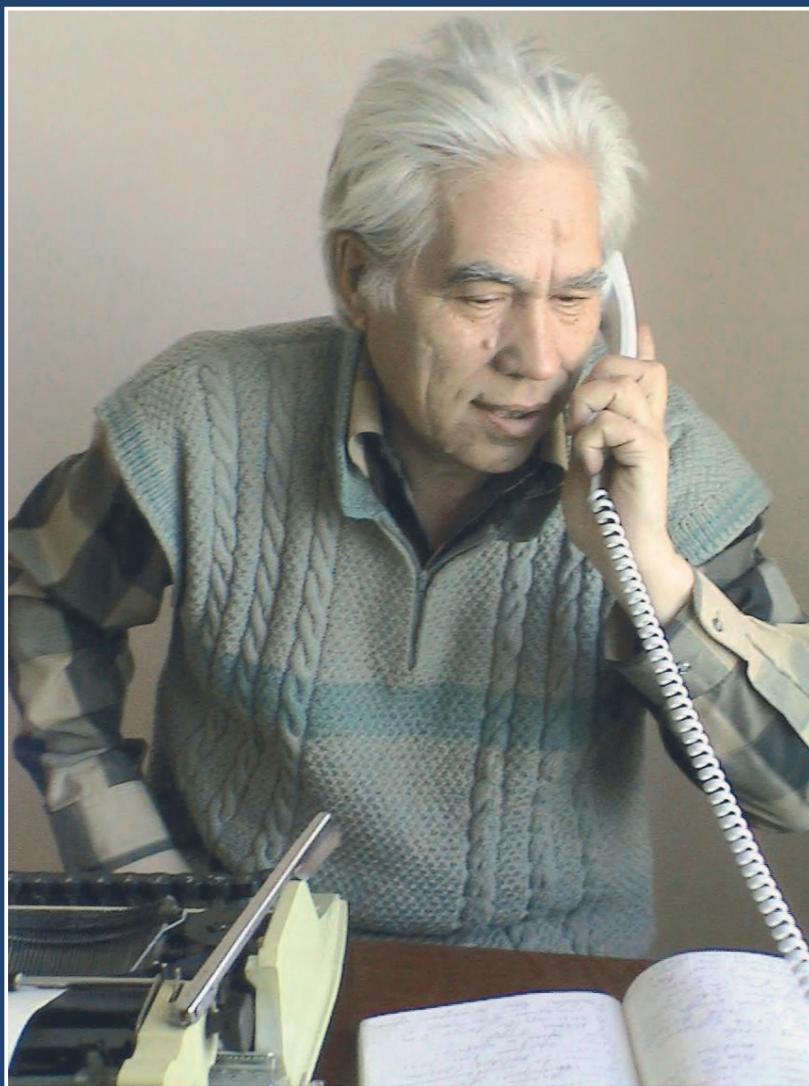


Огни Кузбасса

№ 6 / 2021



**Сибирскому писателю,
нашему автору
Юрию Тотышу – 85 лет!**



**ОБЩЕСТВЕННЫЙ
СОВЕТ**

Б. В. Бурмистров,
г. Кемерово, председатель
общественного совета

Н. Ф. Иванов,
г. Москва, председатель
Союза писателей России

М. А. Евса,
г. Кемерово, министр
культуры и национальной
политики Кузбасса

И. Ф. Федорова,
г. Кемерово, председатель
комитета по вопросам
образования, культуры
и национальной политики
Законодательного
собрания Кемеровской
области – Кузбасса

С. Ю. Куняев,
г. Москва, лауреат
Государственной премии
им. М. Горького, главный
редактор журнала
«Наш современник»

В. Н. Крупин,
г. Москва, первый лауреат
Патриаршей
литературной
премии

Г. Л. Немченко,
г. Москва, лауреат премии
«Прохоровское поле»

Д. Я. Голофаст,
директор по внешним
связям и имущественным
отношениям Кузбасского
филиала ООО «Сибирская
генерирующая компания»

ЖУРНАЛ
ПИСАТЕЛЕЙ
РОССИИ

Огни Кузбасса

ИЗДАЕТСЯ С 1949 ГОДА

№ 6 / 2021

НОЯБРЬ – ДЕКАБРЬ

Литературный журнал
выходит
при поддержке
Министерства культуры
и национальной политики
Кузбасса

Главный редактор
С. Л. ДОНБАЙ

Редколлегия:

Татьяна ИЛЬДИМИРОВА
Андрей КОРОЛЕВ
Вера ЛАВРИНА
Дмитрий МУРЗИН
(ответственный
секретарь)
Агата РЫЖОВА
Елена ТРУХАН
Марина ФЕДОРОВА
Дмитрий ФИЛИППЕНКО
Марина ЧЕРТОГОВА
Евгений ЧИРИКОВ
Григорий ШАЛАКИН

Адрес редакции:
650000, Кемеровская область,
г. Кемерово, пр. Советский, д. 40,
тел. 8 (3842) 36-85-14



12+

Содержание

ПРОЗА

- Агата Черепанова.** Пасынки Агасфера. Повесть-сказка в декорациях жизни 3
Анжелика Космидер-Грушчински. Стенографист. Рассказ 24
Валентина Плетт. Кафе. Рассказ 33
Анатолий Кулемзин. Рассказы 38
Сергей Чиняев. Когда плесо запирает калитку. Рассказ 51

ПОЭЗИЯ

- Марина Брюзгина.** Муза спряталась со мной 22
Вера Дорди. Ожеледь 36
Андрей Новиков. На солнечной оси 49

БИБЛИОТЕЧЕСТВО

- Виктор Лихоносов.** Ненаписанные воспоминания. Наш маленький Париж (окончание) 61

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЕМИНАР

Межрегиональное совещание авторов Сибири и Дальнего Востока.

- Елена Перетокина, Татьяна Ярушина, Анна Зорина, Лидия Шаркунова, Александр Егоров, Михаил Письменный, Александр Панов, Екатерина Пешкова.** Стихи 126

300 ЛЕТ КУЗБАССУ

- Евгений Чириков.** Как закалялась сталь в Ленинске-Кузнецком. Очерк 131

200 ЛЕТ Н. А. НЕКРАСОВУ

- Виктор Чурилов.** Мать поэта 139

ПУБЛИЦИСТИКА

- Юрий Перминов.** Омск, где Достоевский – место для гулянок. Или поминок... 141

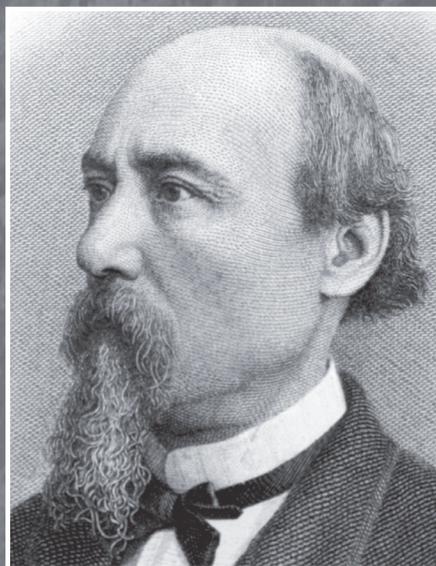
И БОЛЬШИМ, И ДЕТЯМ

- Вера Лаврина.** Филипок Дубовый Листок. Сказочная повесть 144

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

- Литературная хроника. Подготовил **Дмитрий Мурзин** 167
Содержание журнала «Огни Кузбасса» за 2021 год. Подготовил **Дмитрий Мурзин** 170

Русскому поэту Николаю Алексеевичу Некрасову – 200 лет



(1821–1878)

Элегия

Пускай нам говорит изменчивая мода,
Что тема старая «страдания народа»
И что поэзия забыть ее должна,
Не верьте, юноши! не стареет она.
О, если бы ее могли состарить годы!
Процвел бы божий мир!.. Увы! пока народы
Влачатся в нищете, покорствуя бичам,
Как тощие стада по скошенным лугам,
Оплакивать их рок, служить им будет Муза,
И в мире нет прочней, прекраснее союза!..
Толпе напоминать, что бедствует народ,
В то время как она ликует и поет,
К народу возбуждать вниманье сильных мира —
Чему достойнее служить могла бы лира?..
Я лиру посвятил народу своему.
Быть может, я умру неведомый ему,
Но я ему служил — и сердцем я спокоен...
Пускай наносит вред врагу не каждый воин,
Но каждый в бой иди! А бой решит судьба...
Я видел красный день: в России нет раба!
И слезы сладкие я пролил в умиление...
«Довольно ликовать в наивном увлеченье, —
Шепнула Муза мне. — Пора идти вперед:
Народ освобожден, но счастлив ли народ?..»

.....
15–17 августа 1874 года

Агата ЧЕРЕПАНОВА

ПАСЫНКИ АГАСФЕРА

Повесть-сказка в декорациях жизни

Маме. Назе и Ромке. Ночлежке

Часть I. Мятлик

– Максим Олегович! – Катюшка глядела на него умоляюще, как на санинспектора; дешевая тушь грозила вот-вот расплыться от подступающих слез. – Уходите отсюда! Ну что вы как маленькие? У нас вон уже трое с кассы сбежали, ругались на нас «блеховником», не разгоняйте покупателей!

Шереметьев с досады чуть не сплюнул на кафельный пол. Удержал его лишь взгляд «доброго молодца» в черной униформе, из-под воротника которой потно поблескивала золотая цепь. Такой добродей после плевка и слова сказать не даст – точно, швырнет его вниз по ступенькам. Еще и пнет, как пить дать. Как тут не пнуть – пинают же детишки к мусорным бакам негодный прогнивший матрас, обделанный котом.

А он, Мятлик-Шереметьев, с таким свалочным матрасом уже почти сросся. И то правда: *пришел мусорный мешок просить маслица горшок...*

Остается только жалобиться девчонке. И надеяться, что трехлетняя вонь людской доброте не помеха.

– Дочурка. – Кривопалая рука с ногтями нерадужных цветов (от сизого до темно-желтого) легла на зеленоватый ватник, под которым, наверное, пряталось сердце. – Одолжи для сугреву, по старой памяти! Там всей цены – сотенка, у тя крабик



для волос столько не стоит! Я ж тебя, зассыху, на коленках держал! Закоченею – никто не взглянет! Отжалей пол-литру, Катька, имей совесть!

Катя покраснела, как акционный помидор, и спрятала круглую мордашку в ладонях. Зато «добрый молодец» смущением не страдал; бодро швыркнув носом, он подвалил к Мятлику и спросил:

– Дед, ты по-хорошему отсюда сдристнешь?

После чего, не дав и секунды на ответ, хватанул Шереметьева за шкурку и поволок к дверям.

Ворот свитера передавил Мятлику расчесанный накануне чирей и удавкой захлестнул глотку. Не помня себя, он сперва захрипел, а потом с неожиданной злостью, брызгая слюной и заглушая магазинное радио, заорал:

– Тварюка ты, Катюха! Гадина подколодная! Чтоб ты подохла! Чтоб вы все здесь подохли!

Старческий визг, злой, фальшивый и страшный, заставил чуть ли не весь торговый зал обернуться к пятой кассе. Но ненадолго – благодаря бдительности и ответственности охраны.

– Пшел отсюда на ... урод, а то ментов вызову, – лениво предложил «добрый молодец», вопреки ожиданиям не швырнув, а аккуратно поставив Мятлика на нижнюю ступеньку лестницы. – Разорался, бомжара, мать твою...

За спиной охранника Катя, шмыгая от жалости к самой себе, принялась отбивать кому-то покупки.

* * *

Дед Мятлик, когда-то все-таки бывший Максимом Олеговичем, получил свой свалочный матрас и тягу к «сугреву» так же, как многие. На шестом десятке, уже будучи вдовцом и уважаемым слесарем, он решил получить новое образование и податьсь в «ландшафтные архитекторы». Ботаникой Шереметьев интересовался еще с детства, но родители умерли рано, а ораву младших братьев и сестер биологу не прокормить. А тут на старости лет и мечту можно исполнить, и работа прибыльная. Авось, мечтал дед Максим, отсрочу пенсию на десяток лет, а там еще куплю домишко с палисадником, тепличку выстрою...

Хоть Шереметьев и поступил на заочное, сбыться палисаднику было не суждено: младший брат, Игорек, женился на молодой официантке, после чего и попросил брата поручиться за него в банке. У Игоря вроде как тоже была мечта о домике, да и детей не поздно было заводить...

А что же, подумал Максим, я – ему, он – мне.

Так и получилось. Игорю, решившему кредит не возвращать, достались деньги, Максиму – долги. Что было дальше, угадать несложно: квартира в счет задолженности, поиск внезапно исчезнувших в трудную минуту братьев-сестер, подворотня, бутылка, картонка, матрас.

Перед сном, будто вместо молитвы, Шереметьев иногда нашептывал названия газонных трав, которые видел за день. Он и сам не понимал зачем – вроде как надеялся, что это ему еще пригодится. Из-за таких ботанических молитв бомжи и называли его Мятликом. То ли потому, что мятлик везде растет и никому даром не нужен, то ли оттого, что у Шереметьева рожа помятая.

* * *

Выйдя из гастронома, Шереметьев сплюнул-таки накопившуюся слюну. Слезы тоски и досады мешались у него со слезами старости, застилая глаза.

– Дурища, мать ее... Тварюка... – упрямо бормотал Мятлик, ступая по жухлой траве (овсяница овечья, засухоустойчивая), перемешанной с кашей из истлевших листьев и окурков.

Старик отгонял от себя бесполезные, страшные мысли, но те не желали никуда деваться.

Вот он – седобородый, весь в колтунах и фурункулах, с торчащим по ветру синим носом. А вот тротуар – выглаженный асфальтоукладчиком, прибранный дворниками. А вот хрущевка пятиэтажная – разрисованная баллончиками, зато с пластиковыми окошками, а на окошках тех – шторы в горошек и алоэ в горшочке.

Впервые он здесь лишний, будто вошь на немецком паркете? Да нет, не год и не два уже. Вот только ни разу до того, даже вусмерть нажравшись, не впадал Шереметьев в такое буйство, как сейчас, – видя глупую, размалеванную Катю, которой не надо думать, чем бы ночью согреться... Слыша, как сморкается в ладонь охранник – и никто не отворачивается, морща нос. Чувствуя, как глотку захлестывает нестираный свитер (и не приведи дьявол вспомнить, как часто, тщательно стирал ты вещи дома)...

А что же, старый пень, разве не заслужил ты этого? Ведь мог же выбрать... Ведь есть же выходы... А ты, бомжара, сам сдался, сам такую жизнь предпочел. А как только заорал, брызгая слюнями, на приличных людей – сам же окончательно и перестал быть человеком. Поделом куску зассанного матраса...

– Ну и что ж, разве ж я один такой? – бормотал старик, подныривая под крохотную каменную арку. – Разве ж я первый? Со всеми так... У всех дерьмо в жизни... Я ж не убил никого... А кто убил – тот вон, человек! Бьет кралю свою, на мать-старуху глотку дерет – и все равно человек, и никто нос не воротит...

Потому что форму держат, скрипуче нашептывал внутренний голос. Даже если внутри и не человек – снаружи брит, мыт да одет. Встречают по одежке, а тебя, пьянчугу, по уму из приличного общества-то и выпроводили...

За поволокой слез и дурными стариковскими переживаниями Мятлик едва не пропустил нужный поворот. Выйдя к частному сектору, он торопливо проковылял к новостройкам под грохот мимоезжего поезда и остановился аккуратно напротив брошенной горы кирпичей, бетонных блоков и люка теплотрассы. От дальнего блока в сгущающейся темноте вился колечками дымок: значит, Шереметьева уже ждали.

– Че, деда Макс, не нашел ниче?

Валера, закутавшись в проеденный молью плед, хлюпал носом – почти как давешний охранник. Тонкие пальцы подрагивали в такт порывам ветра вместе с намотанным на них бинтом. Ушастый, остроносый, худой, Валерка (по несущей

шествующему паспорту – Артем) был похож на подростка; между тем на днях ему минуло тридцать. Мятлику подумалось, что, должно быть, детдомовцы так до конца и не вырастают; они дикие, привыкшие к любому подвоху, по-своему мудрые волчата – но все-таки щенки.

– Валерик, мать твою, какой я тебе деда? – цыкнул Шереметьев, доставая из-под ватника пакет подплесневевших сухарей и пачку сосисок – явную ветераншу по меньшей мере двух войн. – Без пузыря сегодня, как не околеем – не знаю...

– Согреемся и без алкоголя, Максим Олегович, – из-под дырявого спальника, скалой торчащего около костерка, подала голос Зилмат. – Будем наконец приличными людьми. Растопим бочку.

Узбечка-филолог без капли акцента, не больше пяти месяцев валандающаяся по свалкам, была ношей, которую Валера и Мятлик смиренно волокли за собою из остатков человеческих чувств. Так бы старуха давно померла – костлявая, и в чем только душа держится? Другие бомжи, по преимуществу славяне, частенько называли Зилмат Алиевну Кикиморой – за глаза и даже в лицо. Та держалась достойно – не отбрехивалась, но и не подыгрывала. Про себя Мятлик и Валера решили, что если Зилмат Алиевна и кикимора, то наверняка какая-нибудь аристократическая – с длинными тонкими пальцами, соболиными, хоть и обеленными перхотью, бровями и острыми скулами, прячущимися под намотанными в несколько слоев кусками простыни.

– Алиевна, святая ты простота! – сплюнул Шереметьев. – «Без алкоголя» она! Ветки сырые, а на свалке сейчас Дмитрич с мужиками – поколотят, если полезем! Бочку-то, слышь, топить чем будем? Манной небесной?

Зилмат Алиевна терпеливо промолчала. А вот источник манны неожиданно отозвался.

Из окна четвертого этажа вылетел, кувыркаясь в воздухе, и бухнулся на землю двадцатилитровый пакет скомканной бумаги.

Часть II. Валера

Отсыревший коробок спичек, оказавшийся к тому же пустым, отправился в траву. Пустая зажигалка с ободранной наклейкой – туда же. Поверх всего Валера высморкал содержимое носа и продолжил копаться в пакете своими пиявочными, дрожащими пальцами.

– Вот это дело я уважаю.

Отбирая ветки посуше, Мятлик кидал их на дно здоровенной подкопченной и поржавевшей бочки. Пришел он с каким-то перекошенным, унылым хлебалом, а взялся за работу – и все, закайфовал, залыбился сразу, Валерка такое сразу замечал. Дед Максим всегда рукастым был, чем окружающих и спасал.

– Выкинут мусор прям под окно – и им быстро, и нам есть где порыться! Правда, чего я не пойму – так это того, на кой ляд ты, Алиевна, придумала нам потом остатки выбрасывать? Что, если домашние свинячат, так это мы за ними прибирать должны? Тоже мне, санитары леса!

– Ну что же вы, Максим Олегович! – Кикимора погрозила ему длиннющим, что твоя указка, пальцем. – Хотя бы себя уважать надо, если не окружающих. Да вы и сами ругаетесь, когда иглки от шприцев на обочине видите.

– Потому что торчи – дуралеи! – Мятлик хрустнул особо неподатливой веткой. – Они мало того что дерьмом ядовитым вокруг раскидываются, так еще и превращают себя в нелюдей придурочных! Пузырь-то хоть потроха согреет, а наркота че? На хрена колоться, вот что мне объясни, Зилмат Алиевна!

– От реальности они сбегают, дядь Макс, – пробормотал Валера, заводя руки за спину и отступая на пару шагов. – Жизнь – она, того... Не айс... Тяжелая... – Он помолчал секунду, копаясь в многочисленных карманах джинсов, и поспешно добавил: – Ну, дураки, что, блин, сказать! Теть Зиля, давайте бумажку, холодрыжно, а я спичку нарыл!

– Пойдите, Артем. – Зилмат поправила на носу толстые и круглые, как ломтики колбасы, очки и почти с нежностью разгладила тетрадный листочек. – Дайте хоть минутку, чтобы дочитать, очень уж интересно написано. Любопытный он, должно быть, юноша, этот «V»... Да, почерк очевидно мужской...

– Теть Зиля! – обалдел Валера, машинально сунув длинную каминную спичку за ухо. – Чего вы как дура себя ведете?! Мы тут, пока вы свои писульки читаете, околеем!

– Валерик, поймей к даме уважение! – сердито рявкнул Мятлик и тут же напустился на Зилмат: – А ты, Алиевна, чего, учительскую карьеру вспомнила? Так ставь пятерку и кидай в бочку это сочинение!

С достоинством выслушав и проигнорировав обе реплики, Зилмат Алиевна распрямила спину, даже с учетом намотанных тряпок вмиг

став тонкой, как игла, и негромко продекламировала:

– «Человек – это мера всего! – Арсеньев выпятил пузико щитом, наклоняясь над Верой и потряхивая макаронинами усов. – И даже более чем мера – форма для всего, что его окружает. Даже собака станет человеческой в наших глазах, когда мы решим, что она улыбается, радуется нам... Но собака не решает за других зверей, принадлежат ли они к ее роду и племени. А вот человек сам определяет, кто подобен ему, а от кого он отвернется...»

Философский нудеж прервал Шереметьев, как-то незаметно придвинувшийся к бочке и, видно, вдохнувший немного пепла – так сильно он закашлялся-заперхал, пряча лицо в красных лапищах.

– Ну, ваще не огонь, тетя Зиля! Толстой какой-то, блин, скука смертная!

Пальцы-щупальца Валеры выгребли из разорванного мешка пару комков бумаги. От неловкого движения грязный бинт начал спадать; выронив листки, парень поспешно натянул его обратно и принялся потуже завязывать.

– Слышь-ка, Валерик, ты классиков не оскорбляй! Мы с тобой хоть и физики, а лирика людям тоже не просто так дана! – заметил Мятлик, копаясь в пустотелом ржавом корпусе стиральной машины. – Да и ты, когда у тебя твоя тоска зеленая начинается, сам аккурат Лермонтовым становишься! «Все мы в этом мире тленны»...

Валера промолчал, покрепче завязывая бинт. С дедой Максом спорить было себе дороже: отвесит подзатыльник, невзирая на заслуги, или хуже того – оборжет с ног до головы. Как вредный хрыч тогда хохотал над его, Артема, нищенской легендой про потерянный билет из Санкт-Петербурга в Ленинград! Кто ж знал, что это один и тот же город? Им в детдоме таких тонкостей не объясняли! Как и некоторых других – например, как жить и кем работать, когда даже имя свое написать нормально не можешь.

Мятлик меж тем, усердно сопя, скидывал в бочку желтые тетрадные листки – явно не те, что пару часов назад послали им небеса (точнее, окна десятиэтажки). Закончив рвать смутно знакомую Валерику книжицу, он уселся на выуженную из-за стиральной машинки картонку и принялся потрошить окаменелым ногтем пачку сосисок.

Недоуменный взгляд Валеры дед заметил только через пару минут:

– Че стоишь-то? Ты вон, это... Поджигай давай! А Алиевна нам эту сказку прочитает, верно говорю?

– С удовольствием, Максим Олегович!

Зилмат расправила и отложила очередную пронумерованную страницу. Опытные руки учительницы упорядочивали обрывки текста со скоростью хорошего станка.

– Но не могу не заметить, что процитированное вами ранее стихотворение написал Есенин.

– Да тьфу на тебя! – ухмыльнулся Мятлик, разламывая сосиску на части ногтями. – Училка – она и есть училка... Читай давай, а то Валерка затоскует вконец.

* * *

Артем Валерьев был из той породы детдомовцев, которым совершенно плевать и на биологических, и на приемных родителей – да и на любых людей вообще. Своей единственной страстью – авиамоделированием – он был увлечен так безоглядно, что интернатовский психолог не меньше трех раз отмечал в его карточке подозрение на аутизм.

Интуиция у психолога имелаась, а вот квалификация подкачала. Валера и вправду был психически нездоровым ребенком. Маниакально-депрессивный психоз, впрочем, детям ставили редко – особенно если не знали, что проявляется он не в становлении маньяком, а в чередовании настроения. Неделями Артемка мог практически не спать, доделывая из фанеры венгерский военный вертолет, а потом лежать недвижимо почти месяц, кое-как впихивая в себя еду.

Стать профессиональным авиаинженером не вышло: в восемнадцать Валера читал медленнее некоторых первоклассников, а писал даже не куриным – цыплячьим почерком. Да и поучись тут, когда кругом в один момент куча соблазнов (девушки! алкоголь! друзья!), а в другой – сплошные разочарования («стервы... ссанина... предатели»).

И поэтому Валерьев уже почти девять лет был профессиональным нищим.

Его гастроли включали в себя не меньше семи городов, пять поселков городского типа, шестнадцать полустанков и бесчисленное множество городских и деревенских магазинов. Он был ветераном Афганистана и Ирака одновременно, смертельно болел восемью доказанными наукой и двумя вымышленными болезнями; его семейные трагедии растрогали бы лю-

бого шекспировского героя, а количество утерянных билетов могло заставить любого железнодорожного магната схватиться за сердце.

В периоды маний Валерка и его друзья жили за его счет; когда приходили депрессии, многие бросали Артема – и он не винил их, на обвинения просто не было сил. Ну, выжил же в итоге как-то...

А вот дед Максим его однажды не бросил. Выходил, как младенца. С тех пор так друзья-ми и жили; потом бабушку Зилмат подобрали...

Ни Шереметьев, ни Зилмат Алиевна, впрочем, пока не знали, что уже пару недель Валера, минуя вокзал и поминутно озираясь, уходит ранним утром в одну развалюху частного сектора. Там его ждут. Там у него есть важная работа и очень, очень ценная зарплата.

* * *

Недописанный роман, как ни странно, и правда оказался сказкой – точнее, как выразилась Зилмат Алиевна, «произведением магического реализма». Профессор Арсеньев, рассуждавший о человеческой сущности, оказался драконом в людском обличье – не злым, просто слегка уставшим от жизни. Его ассистентка Вера, которой Арсеньев рассказывал о живущих рядом с человечеством волшебных существах, вначале искренне презирала всех лиц кавказской национальности. Потом с той же уверенностью невзлюбила оборотней: по мысли автора, «Верочка была из той породы людей, которым для полного счастья смертельно необходимо кого-то ненавидеть, презирать, называть ущербными и исключать из общества».

Потом в жизни Арсеньева появился паренек Максимка (пару минут Зилмат и Валера подетски похихикали над этим совпадением; Шереметьев ворчал, но тоже улыбался). Вдохновенный и наивный, он стал другой крайностью и дал шанс на искупление прохвосту-оборотню по имени Зигурд, который и взял паренька в заложники. Для его спасения нужно было за жалких три дня раскрыть всему человечеству правду о мире Существ.

Как назло (и как обычно), повествование обрывалось на самом интересном моменте, когда у Арсеньева как раз получалось убедить Веру в том, что некоторые нелюди «более человечны, чем сами люди», – и добиться от нее обещания помочь в исполнении «изощренного драконьего

плана». В чем этот план заключался, таинственный «V» то ли не придумал, то ли не успел записать до тяжелого удара по вдохновению неким творческим кризисом.

Вдобавок к этому, прочитав последние строки, Кикимора растерянно поводила по странице взглядом и как-то странно побледнела, будто бы случайно прикрыв узкие губы ладонью. Валера предпочел списать это на усталость: все-таки читать на осеннем холоде целую ночь было дурацкой идеей.

– Шахерезада ты наша, – умиленно выразился Мятлик, накрывая закемарившую Зилмат глянцево-розовым детским пуховиком с пятнами плесени.

Валерьев шмыгнул носом и третий раз за минуту попытался насухо протереть покрасневшие глаза. Слезы возвращались почти сразу, и парень раздосадованно пробурчал:

– Вот уж точно! Детские сказки какие-то, блин... Ну, дался ей этот роман, книго... это... филка, тоже мне...

– А кто сидел в момент погони Арсеньева за вором с открытой нараспашку варежкой? У тя в пасти после этого, поди, скворечня образовалась! – ехидно кашлянул Шереметьев, бросая в костер последние листочки старой, неписательской тетради. (На просвете был виден почерк писавшего, напоминавший то ли арабскую вязь, то ли кардиограмму.) – А над шуткой про домашнего оборотня хохотал так, что на нас тетка с третьего этажа матом наорала. В три часа, мать ее, ночи!

– Ну блин, да, смешно было! – Валера невольно расплылся в улыбке. – Домашний оборотень волком не бывает, только собакой... А эта лахудра, блин, сама как болонка-перевертыш! Так и лаяла!

– Да чего бы не полаять на бездомных тварей-то? – Лицо Мятлика за полсекунды постарело, превратив веселые морщинки в шрамы дряхлости. – Беспорядочную псину поневоле обойдешь или пнешь для острастки, мало ли че учудит. Своя шкура – она завсегда дороже; и жалко зверюшку, а кто ж знает, че у ней в мозгу творится... Тяпнет еще, бешеная...

Замолкнув, Шереметьев кинул в бочку обложку, и только тут Валера вспомнил, где он видел эту тетрадь – уже полностью сожженную.

– Дед, ты на голову жукнулся?! Это ж, ять, твои универские писульки были! – Артем осекся, понимая весь идиотизм фразы (сдались старику вузовские тетрадки!), но упрямо продолжил:

– Ты ж их каждый месяц перечитывал, е! Говорил, когда, блин, вернешься в университет, в люди выбьешься, и некрасиво, блин, будет простые вещи не помнить! Сожгли бы этот романчик хренов, хорошо бы, блин, горел!

Заткнулся он только в тот момент, когда понял, что Шереметьев его не слушает, подслеповато щурясь на темные провалы окон десятиэтажки.

– Деда Макс, ну ты че раскис-то... Ну че, ну дед...

– Ты не ори, молодежь, не буди бабку Зилу, – тоскливо отмахнулся Мятлик, будто только что услышал ругань товарища. – Ну какой уже из меня ботаник? В люди выбиться... Устал я от всего этого. Пошли-ка на боковую, Валерик. Пошли.

Ворочаясь на картонке и потирая ноющие запястья, Артем Валерьев все ждал, пока дед начнет привычно читать свою ботаническую молитву про полевицу, райграс и клевер...

Но в итоге заснул, так и не дождавшись.

* * *

Наутро выяснилось, что Кикимора пропала.

Валера, впрочем, с досады выразился иначе, предположив, что пожилая дама... сошла с ума, черт подери, и куда-то... отлучилась. Однако куда крепче этих выражений оказался Мятликов подзатыльник – поэтому поиски все-таки пришлось начать. Зарябили в глазах привычные места: мусорки, арки, дворы, стоянки, аллеи.

Вымоченную в утренней мороси записку со словами «Скоро вернусь» они нашли, только вернувшись к бочке «на перекур» – буквально и фигурально. Валерик хорошо поставленным драматичным голосом стрельнул у какого-то работающего-узбека пару сигарет: «У нас с дедом на лечение бабуленьки все денежки, блин, уходят, а подымить хочья, сил нет!» Дымя и молча костеря сбрендившую старую узбечку, они даже не заметили, как на обшарпанной крышке теплотрассы появился гость.

– Че, мужики, бабку свою ищите?

Удобно устроившийся на теплом люке Ванятка, он же дурной дед Петрович, приветственно помахал грязной культетей. Знающий правила жизни Мятлик с тяжким вздохом выудил из кармана половину сосиски и протянул инвалиду недокуренную сижку.

– В роцинскую ментовку карга поперлась, – довольно хихикнул Ванятка, затянувшись «Явой». – От дурища, ять, скажите? Говорила,

мол, кто-то там в беде, спасти надо... Ее б кто от ее мозгов дурных спас! Ну и то: посидит в обезьяннике, в тепле... Ты куда рванул, братан?

Валерик, выронив бычок, обалдело посмотрел в спину бегущему Шереметьеву. Потом сплюнул, надвинул на затылок капюшон, развернулся и пошел следом.

Часть III. Кикимора

Если в окопах не бывает атеистов, то среди живущих у свалок нет ни одного верующего.

По крайней мере, в любого бога из известных, в сверхъестественных духов, в карму и в судьбу Зилмат Алиевна не верила. А вот в могуществе правоохранительных органов почему-то была убеждена со всей ревностью. По крайней мере, в их правое дело она верила уж точно сильнее, чем лейтенант Дробов Е. Г., уныло крутящий между пухлыми пальцами желто-синюю шариковую ручку.

– Вы поймите меня правильно, лейтенант. – Она говорила размеренно и спокойно, будто диктуя первоклашкам Паустовского, и совершенно не обращала внимания на сморщенный нос и взгляд исподлобья. – Я от вас не требую, чтобы вы мне по почерку нашли человека. Я знаю этаж, нужно всего лишь пройтись по квартирам и выяснить, кто выбросил этот текст.

– Вам на кой ляд он сдался?

В дверной проем лениво заглянул усатый полицейский. Из-под его полурасстегнутой форменной рубашки проглядывала лямка майки-алкоголички.

– Вы что, его безумная фанатка? Жениться... В смысле, замуж за него удумали? Так возраст уже, поди, не тот!

– Да, мы с большим удовольствием читали его тексты, – с достоинством подтвердила Зилмат Алиевна, поправляя намотанные на шею лоскуты. – Но дело совсем не в этом. Боюсь, что с ним может вскоре приключиться большая беда. Могу я сразу написать заявление?

Усач и лейтенант обменялись ехидными взглядами.

– Ну, тетя, ты совсем с дуба рухнула! – с восторгом заявил Дробов, подпирая кулаком щеку. – Ты че, угрожать ему пришла? Вот те нате, еж в томате! Слышал, Васильев? Бомжиха писателя пришить обещается, просит, чтоб мы его ей нашли и под нос на блюдечке сунули!

– Молодой человек, не грубите, пожалуйста, – тихо попросила Зилмат, слегка сгорбившись. – Я помочь хочу. Какие в моем возрасте убийства?

Лейтенант, впрочем, уже совсем не слушал ее и вдохновенно излагал свои догадки ржущему в голос Васильеву:

– Прикинь себе, он, поди, ей денежку подал, а она и подумала, что писака в нее втюрился! А потом увидела его с молодой, так и решила из ревности убить! Вот твоему свояку и сюжетец для газеты, смотри, че придумал!

Зилмат Алиевна тяжело вздохнула, покачивая головой, и сложила столь взволновавший ее листочек вдвое, чтобы легче было положить за пазуху. Похоже, придется идти в дальнее, большое отделение полиции, где ее беспокойство непременно будет услышано. Это только здесь служители закона высмеивают пришедших к ним пожилых дам! На Гвардейской – не зря ведь такое название у улицы! – и офис больше, и люди спокойнее, и даже металлоискатели есть. Уж там-то...

– Слышь, бабка. – Дробов мрачно прервал раздумья Зилмат, привстав и опершись на заваленный папками стол. – А твой писатель, часом, не на Толстого обитает? Не в одиннадцатом доме?

– Именно! – без всякой задней мысли кивнула женщина и даже улыбнулась: – Неужели вы все-таки поняли, насколько важно...

– Все мы поняли, – посмурнел лейтенант. – Значит, вот кто у нас из квартир ноутбуки тащит. И сколько вас там, бомжей-чуркобесов?! А?! Ну-ка, колись, старуха!

– Молодой человек, у меня сын в вашем возрасте таких высказываний себе не позволял.

Зилмат Алиевна попыталась было встать, но Дробов бухнул кулаком по бумагам так, что и стол, и кривой стеллаж с папками и грамотами, и даже кружка в руке усача Васильева мелко, испуганно задрожали.

– Че ты мне сыном тычешь, старая?! Отвечай, куда ноутбуки сбывала!

Серьезное лицо полицейского походило на сдувшийся футбольный мяч, сплюснутый и измятый. Но глаза его улыбались, и в этих глазах Зилмат Алиевна прочитала неподдельное скотское счастье. Счастье – оттого что он, полицейский Дробов, может без последствий для себя запугать беззащитную бездомную старушку. Счастье – потому что он, что бы ни сказал, оста-

ется слугой закона, а она либо терпит унижения, либо проваливает ни с чем.

Злое, шакалье счастье того, кто ставит условия.

– Евгений Геннадьич, – тихонько прокашлялся Васильев. – Брось ты это, не могла она утащить ничего. Там кроме ноутов еще моноблок и кондиционер сперли. Ну погляди на нее – как она моноблок могла упереть?

– Да с сообщниками снюхалась – и всех делов-то! Васильев, вот ты чуркам сам-то веришь? Они ж все как один жулики, ты вон хоть на ориентировки посмотри! Приехали остатки страны разворовывать...

Бледные глазки Дробова бегали туда-сюда; хищный взгляд то и дело возвращался к Зилмат – и тут же становился брезгливо-злым, вцеплялся в нее, как в плесневелый хлеб, который надо бы поскорее выкинуть.

А поникшие черные глаза Кикиморы угасли окончательно. О чем она могла ему, этаким гиене, рассказать? О том, что русский язык она знает в разы лучше, чем он, полицейский-патриот? О научных работах и уважении в филологических кругах? О белокурой невестке Марусе, которая до поры до времени звала ее мамой? О бедности родины, о человечности и милосердии, о жизни, Боге и любви?

Как бы оплеухой не заткнул...

Погрузившись в свои мысли, она даже и не заметила, как Васильев легко поднял ее с кресла и за локоток увел к выходу – от греха подальше.

Зилмат Алиевна Азимова переехала в Россию вместе с сыном Бохтаром, который, как и многие ребята его возраста, стремился в большой город на заработки. Человеком он вырос приличным: мало курил, выпивал только по праздникам, деньги нес домой, с хулиганами не являлся. И вскоре из простого гастарбайтера стал одним из управляющих строительной фирмы – не зря Зилма учила мальчика изъясняться на русском языке! Ох, сколько абстрактных матерей дочиста отмыло вымышленные рамы, прежде чем Бохтарик сумел без запинки читать Фета, Северянина, Сологуба... Но все это было не напрасно.

И сама Зилмат в России ждала вовсе не роль уборщицы или посудомойки. Директор престижной гимназии пораженно и с уважением взирал на русскоязычные филологические

исследования Зилмат Алиевны, которые по большей части писались «в стол». По несколько педагогических наград за один учебный год, счастливые объятия выпускников, дополнительные занятия с талантливыми ребятами... Зарплата у учителей, конечно, не царская, но вместе с Бохтаром за десяток лет они накопили на маленькую, со вкусом обставленную квартиру. Чем не жизнь? Да и другим иммигрантам помогать удавалось – как благодарили Зилмат Алиевну молодые парни со стройки, когда та, приезжая проведать сына, вытаскивала из полиэтиленовой «маечки» пирожки! Некоторых ребят поумнее даже удалось устроить в гимназию охранниками, а одна уборщица, вдохновившись примером Зилмат, смогла даже поступить в университет.

Как и в жизни Мятлика, переломным моментом в этой истории стала свадьба. Маруся, простоватая с виду секретарша, звала Зилмат Алиевну мамой и клялась в безумной любви к Бохтару; подносила бульон (пускай и несоленый), когда свекровь подвернула лодыжку, сметала с книжных полок пыль (пускай и вместе со статуэтками)... Но постепенно Зиля краем уха стала слышать шепотки: мол, твоя мамаша, Бохтик, на меня огрызается, жить нам не даст... твоего отца со свету сжила...

Что уж скрывать, пару раз Зилмат Алиевна и вправду невестку поучала. Почему бы своим жизненным опытом с молодежью не поделиться? Умнее будут! А один раз и накричала, когда услышала про «сжитого со свету отца». Сама же потом и прощения просила... Нервы уже не выдержали: мало того что новый директор гимназии, взяв курс на точные науки, до минимума сократил спонсирование филологов, так еще и девчонка эта глупая словами разбрасывается. Потом Маруся, дурочка, полночи плакала, руки заламывала и что-то говорила про начинающуюся старческую деменцию...

В конце концов, услышав, как Бохтар тихонько, неуверенно соглашается с Марусиными словами про некий «неплохой дом престарелых», Зилмат написала молодым короткую записку и ушла сама. Отправки в крохотную комнату с кроватью, тумбочкой и большими подузниками, притом с подачи родного сына, ее сердце бы, пожалуй, не выдержало. Лучше уж самой уходить...

Пару месяцев назад, узнав эту историю от полуживой, голодной, замерзшей, но гордо и

прямо сидящей старушки, Максим Олегович матерился долго и сочно. Валера же пожал плечами, а потом залихватски махнул рукой и протянул Зилмат кусок булки. У него тогда был период очень, очень хорошего настроения, от которого тете Зиле самой захотелось жить – пусть даже и так.

* * *

– Куда ты черти потянули, Алиевна?!

По тону Шереметьева было прекрасно слышно, что свои истинные чувства он вежливо сдерживает. Зилмат нашлась, но обстоятельства этой находки деда совсем не радовали; к тому же по пути куда-то «сдригнул, ять, Валерик», и теперь голова Мятлика болела уже за него.

– Думала, что мне помогут. Не помогли, к сожалению, – скупое и глухо отозвалась Кикимора, спрятав почти все лицо под лоскутами самодельной «паранджи». – Придется идти искать помощь у других людей. Передохну и пойду.

В этот раз Мятлик бабкины закидоны снова вытерпел – вздохнул, заковыристо выmaterился и принялся копаться в карманах, ища остатки вчерашних сухарей. Тут же, будто почуяв съестное, нашелся Валерик – торопливо и как-то испуганно озираясь, он вынырнул из переуллка и, сунув руки в карманы, молча подошел к приятелям.

Теплое приветствие Шереметьева не заставило себя ждать:

– И где ты черти носили?.. А-а, какая разница, на сухарь... Представь, старуха наша пошла рукописи вчерашние в ментовку относить. Будто сама, ять, героиня дедуктива!

Зилмат Алиевна, как это часто бывало, попросту промолчала. Сухарик она доела быстро и почти беззвучно, как мышка; Шереметьев споро всунул в ее узкую ладонь свою собственную порцию, буркнув очередной матерок.

– Мы вот в интернате смотрели мультфильм один японский. – Валера спрятал руки под мышки, быстро оглянулся вокруг и в сотый раз нервно хлюпнул носом. – Там тоже, ну, бомжи были. Но они хоть дитенка домой возвращали! А ты, тетя Зиля? Ну на хрена ты с этой кучкой бумажек возишься?!

– Потому что создатель Арсеньева, Верочка и Максима на днях планирует покончить с жизнью, – кратко и просто сообщила Зилмат, доставая из-за пазухи сложенный вдвое листок.

* * *

«...исполнить изощренный драконий план...
Для того... чтобы...

Бездарность! Безалаберный! Беспольный!
Закончить все это дома, после похода к З.,
в 16.30. Броситься в пролет, выпить яда, курок
над виском нажать.

Я себя ненавижу. Я больше ничего не хочу. Я
очень устал».

– Маяковского цитирует, глядите-ка, – с затаенной гордостью сообщила Зилмат. – Творческая личность. Такие... такие с жизнью счеты и сводят, вы уж мне поверьте.

Троица неапонских бомжей стояла под окнами и смотрела, как на четвертом этаже загорается свет. Обозначенное в записке время уже прошло, а ни машин скорой помощи, ни полиции у подъездов видно не было – это Зилмат отметила с большим облегчением. Несколько больше общему спокойствию поспособствовала добытая Шереметьевым пол-литра водки: бабка Фифа из частного сектора, по выходным побиравшаяся у «Семерочки», внезапно вернула старый должок.

– Вот те был бы номер, Алиевна... – с еле заметным смущением проворчал Мятлик, все пытаясь вспомнить, откуда именно вылетел пакет со смятой фантастической прозой. – Вчера писанину, из окна выпавшую, подобрали, а сегодня б уже самого писателя по двору собирать помогали... Че людям не живется на белом свете...

– А может, он уже помер, – неуверенно проворчал Валера, все порываясь куда-то отойти, хотя по нужде они все по очереди уже успели отлучиться минут десять назад.

На вздрогнувшую из-за его реплики Зилмат он не обращал ни капли внимания.

– Вскрылся, блин... Или висит себе...

– Какое там! Свет на всем четвертом этаже горит, бумажки оттуда скинули, а ментов не видеть, – крикнул Шереметьев, глотая дешевую водку. – Живой, голубчик... Покамест... Тока вот что с этим делать, кто б еще знал! Если сами пойдем, так хорошо, если просто выгонят взащей.

– Дашка бы придумала. – Валерьев сглотнул слюну, печально провожая взглядом бутылку, что после второго круга осела в кармане Мятлика. – Она ж... этот... Психиатр, блин. С самовыпильщиками работает...

Шереметьев тяжело вздохнул, припоминая прошлый разговор с Дарьей Евгеньевной – край-

не слезовыжимательный и ни до чего не доведший.

– Дашка-то Дашкой, да тока мы ж ей обещали выпивши не являться!

– Так, господа, мало ли что вы кому обещали! – строго выпрямилась Зилмат Алиевна, заправляя серебристо-черный локон за ухо. – На кону человеческая жизнь! Мы отнесем ей роман и... Ой! Боженьки мои! Забыла!

– Боженьку-то мы все давно позабыли... – философски протянул Мятлик.

– Максим Олегович, не смейте язвить! Я пакет с романом в отделении позабыла... Ах, старая дырявая голова! Ах, кошелка дряхлая! Все забываю!

– Теть Зиля, не ругайся на себя! Ты же, блин, у нас умница! Я мигом! Вы пока идите к «Койке», я вас догоню!

Валера с нескрываемым и немотивированным счастьем в голосе вскочил. Не дожидаясь согласия или отказа, он рванулся вперед и вверх по поросшему овсяницей склону – гораздо быстрее, чем бежал нынче утром Шереметьев, и к тому же не вытаскивая рук из карманов. Через минуту его фигурка уже исчезла за силуэтами кустов и мигающими шпильями фонарей.

– Перенервничал пацаненок, – по-своему истолковал рвение Валеры Шереметьев, приложившись к чекушке – и тут же сунув ее обратно в карман.

– Зря мы егопустили, – с сомнением покачала головой Зилмат. – Как он этот пакет вернет? Там такой... гражданин недобрый сидит... Да и поздно уже...

Красные от холода грабли Мятлика ободряюще сжали хрупкие плечи узбечки.

– Не бойсь! Валерику если че в голову стукнет, так он своего добьется. Ему как-то раз приспичило у другого недонищого на вокзале сто рублей выцыганить. – На немой вопрос Зилмат Шереметьев почти виновато пожал плечами: – Ну, из спортивного интересу!

– И что в итоге?

– Что-что... Тот бедняк, типа, «одноногий» был, так наша дуралесина гдей-то инвалидную коляску достал, подкатил и давай ныть: помоги, мол, собрату по несчастью... А тот ему: «Не отвлекай, мне из-за тебя сегодня жрать не на что будет!» Люди вокруг собрались, на телефоны снимать стали... В итоге, короче, драка была. – Мятлик помолчал, скovyрнул выступивший на лбу прыщ и закончил: – Но зато им столько соток

накидали, что они их, в обезьяннике сидючи, поровну и разделили. Выходит, добился своего, зараза. И тут добьется!

Часть IV. Даша

В ночлежке для бездомных, носившей незамысловатое название «Койка», сегодня было мало людей.

На вступительной лекции для волонтеров Ирина Георгиевна говорила, что этому есть вполне разумное объяснение: те из бездомных, кто решил к холодному сезону найти себе стабильный стол и кров, непременно придут после самых первых заморозков, а то и раньше. Те же, кто привык переживать холода на теплотрассах и полустанках, начнут приходить, когда зима окажется в самом разгаре. Точнее говоря, когда наступят ее последствия: обморожения, пневмония, сухая гангрена.

Последний постоянный жилец «Койки» пришел к ним шестнадцать дней назад – из интереса Даша даже вела отсчет. Долговязый сорокалетний Володя уже пару лет кружил вокруг «Койки», как нерешительная акула. На выдаче еды он бывал регулярно, один раз помогал волонтерам раздавать листовки, а дважды приходил на восстановление документов, но оба раза сбежал за три-четыре минуты до назначенного времени. В конце концов Сашка Савельев, упрямый врач-стажер «Койки», пошел на принцип: купил две банки любимой Володиной сгущенки, дождался окончания рабочего дня и отправился «ловить акулу». Заставлять силой Сашка, конечно, никого не стал, но после душевного разговора Володя пришел через два дня и практически без ошибок заполнил все заявления. Остался жить... Вчера вон гордо разливал по тарелкам борщ собственного приготовления. Вкусный, даром что почти без мяса.

Жалко, что таких Сашек Савельевых на всех Володь никак не хватит.

Зато словоохотливых жильцов ночлежки, любящих порассуждать вслух, пока ты панически дописываешь конспект по общей психопатологии... вот их, кажется, даже слишком много!

– Понимаешь, Дарья Евгеньевна, кому-то из наших ведь везет! Ведь живут же люди! Вон Виктор Иваныч к бабке одной огород копать устроился. И жрет себе, и пьет себе! А ведь инвалид по уму-то, в дурдоме сидел! – Василий, перебивая всю посуду, по инерции перебил и косточки всем

своим знакомым, после чего привычно переключился на себя: – А я? Математик, программист, два высших образования! Последние деньги на «бесплатное» лечение извел, квартиру заложил... И кому я теперь нужен, весь такой здоровый, а?!

Дарья сочувственно покачала головой и принялась перевязывать светло-русый конский хвост тонкой спиральной резиночкой. Комментаторы Василию никогда не требовались – только слушатели. Когда Дашка по глупости попыталась разобрать его проблемы и даже заикнулась об антидепрессантах, мужчина оскорбленно заявил, что в «эту вашу психологию» он не верит ни на грош. Еще и не разговаривал с ней потом две недели... к тайной радости одной из сторон.

– А вон Татьяна Ефимовна говорит, что это потому, что мы грешили много! Ну, кто ж этой даме слово против скажет? Я, может, и грешил немного, да вот только не вижу, чтобы власти наши – у них, поди, грехов побольше! – у мусорок побирались.

Дверной колокольчик тихонько звякнул, и Даша, не веря своим ушам, подняла взгляд с конспекта на входящих людей.

Лица были знакомые, хотя и с непривычной гаммой эмоций: так, бывший слесарь Максим Олегович по прозвищу Мятлик был мрачен, как туча, а бывший детдомовец Артем Валерьев с блестящими глазами сиял от некоего невысказанного счастья. С ними пришла недавно появившаяся в компании пожилая спутница – кажется, Халимат...

– Василий Викторович, освобождай-ка ты мне сиденье, люди поговорить пришли, – миролюбиво попросила Даша, надевая тонкие прямоугольные очки и доставая блокнот.

Математик-программист с готовностью вскочил и отправился довершать рассказ о несправедливом мире в направлении столовой. Пусть говорит: ему так легче, а большинство уже привыкло.

Посмотрев время на экране смартфона, Дарья на всякий случай оставила его на столе (мало ли, вдруг куда позвонить нужно будет) и снова посмотрела на гостей. Женщина (нет, не Халимат... Зулейха?) села первой, прижимая к груди пухлый, плотно набитый чем-то пакет. Артем плюхнулся на второй, придвинутый им же стул и забегал глазами по стенам, мебели и потолку; он постоянно подергивался, будто распираемый изнутри какими-то важными новостями.

Дарья мысленно поставила галочку в выученном наизусть списке.

Валерьев будто невзначай потер слезящиеся, красные глаза – со второго раза, вначале промахнувшись рукой мимо лица.

В списке появились вторая и третья галочки. Даша развернулась к Шереметьеву, мнущемуся между двумя стульями, и укоризненно принялась.

– Да знаю я, Дарьевгеньна! – тут же принялся оправдываться старик. – Договаривались, что трезвыми придем... Но мы ж не ради себя, хоть режь, мы, это... вот... Зилмат Алиевна, подскази мене!

Зилмат (точно, как можно было забыть!) открыла было рот, зачем-то поднимая мешок, но тут в беседу вклинился Валерьев. Подскочив, как цапнутый клещом, он наклонился над столом и весело застрекотал. Наверное, самому парню эта речь казалась невероятно четкой и внятной, но Даша с трудом разбирала словесную кашу, которая валилась из его рта.

– Дарьвньвна, мы книжк прочитли, а-в-ней-мужик-самовып-ться хочет! Мы его спсать пришли, выжпсихатор! А З-лиевна говорит, что кнга хрша, хотя в ней какая-то фыга, ха-ха!

Громко рассмеявшись, Артем плюхнулся обратно на стул и с улыбкой воззрился на Дашу. Кажется, его шутка ему показалась уморительной.

Даша не улыбалась и не говорила, задумчиво глядя на каждого из бездомных по очереди. А вот Мятлик даже занес было руку для педагогической затрешины, но вовремя одумался и спрятал руку за спину.

– Беда у нас, Дарья Евгеньевна... точнее, не совсем у нас, – медленно, но без малейшей капли акцента произнесла Зилмат, вытаскивая из загадочного пакета аккуратную стопку измятых тетрадных листов. – Честно скажу – не знаю уж, чем вы можете нам помочь. На днях нам довелось прочесть интересную рукопись, в конце которой я нашла записку будущего самоубийцы. Нам неизвестна ни его личность, ни точное место жительства... Только этаж. Но лично мне очень, очень не хочется, чтобы человек – более того, человек интересный, талантливый! – губил свою жизнь понапрасну. – Тут женщина отчего-то смутилась и быстро прибавила: – Да пусть даже и бесталанный – нельзя так жизнь заканчивать... В четыре часа тридцать минут он это сделать собрался. А в какой день – не знаем.

Вот ведь история: бездомные люди пришли спасать жизнь человеку, которого они даже не видели никогда. «А вы, Ирина Георгиевна, все говорили, что в их положении нормально думать только о себе!» – мысленно усмехнулась Дарья. Вот бы услышали об этой ситуации те, кто бомжей за людей не считает! Что бы началось...

Назвали бы «исключительным случаем» и через месяц забыли.

– Есть у меня пара мыслей, ребята, – задумчиво протянула Даша, нашаривая на столе смартфон. – Иногда после самоубийств в домах жертв находят дневники, где они, хотя и не всегда напрямую, рассказывают о себе и о своих мотивах. До четырех часов время еще есть, так что прочту-ка я этот роман – может, найду намек или подсказку.

– А вот, может, в интернете этого писателя поискать по почерку? – неуверенно предположил Мятлик. – А то видел я одно кишишко...

– Максим Олегович, не срамитесь перед державами! – тихонько рассмеялась Зилмат, протягивая девушке рукопись. – Это же вымысел! Вы вот свой почерк на сайты выкладываете?

– Ну а что, молодежь-то, может, и выкладывает! – привычно заупрямился старик, выдирая из желтоватой бороды застрявшую сухую травинку (и как только она там оказалась?).

– В крайнем случае, я сама пройдуся по его этажу. Скажу, что акцию по психологической помощи провожу, Лешка меня подменит на часок.

Даша внимательно осмотрела столешницу, заглянула под стол и в карманы. Потом посмотрела на Артема: тот почти не шевелился, только мелко подрагивал и, глядя в одну точку, очень широко улыбался.

Зрочки у него были размером с две таблетки аспирина.

Дарья кашлянула и снова опустила глаза на стол. Смартфона не было.

– Артем, можем мы с тобой отойти на пару минуточек?

– Зачем? – жизнерадостно осведомился парень, медленно начиная подниматься на ноги. – Вы, это, здесь со мной поговорите! А если про суицидника, так это, блин, З-лмятлик знают лучше!

– Артем, верни, пожалуйста, мой телефон, – спокойно произнесла Даша, глядя прямо на Валерьева.

Тот подскочил, будто собираясь возмущенно отрицать свою вину, дернулся нелепо, как паец,

и начал опускаться обратно... Но неаккуратно завел ступню за ножку стула и полетел на пол. Мятлик успел только ухватить его за рукав, собираясь то ли остановить побег, то ли удержать от падения. Рукав затрещал; половина ниток лопнула, а оставшаяся половина повлекла за собой остальную куртку, обнажая худую Валеркину руку.

На пол из полусдернутой куртки вывалилось три телефона.

– Господи боже мой... – прошептала Зилмат Алиевна, застыв на середине движения.

«И вовсе неудивительно, он же почти незаметно мой мобильник спер. Не в первый раз, видимо...» – подумалось девушке. А потом Даша поняла, что Зилмат смотрит не на телефоны, а на сине-фиолетовые следы уколов на Валеркиных руках.

* * *

Будущий психотерапевт-психиатр, отличница с золотой медалью, вездесущий волонтер, несостоявшаяся балерина – вот неполный список того, кем была Дашка Симонова. Правда, патетику волонтерского движения она считала крайне надуманной, со школой все выгорело только благодаря отличной памяти (которая, будто имея срок годности, до предела притупилась после двух курсов универа), а месяцы в балетной студии Дарья и вовсе с удовольствием заменила бы на карате или курсы парикмахера. Ну, или хотя бы на здоровый сон.

Зато совмещать психиатрическое направление меда с волонтерством у нее получалось неплохо, тем более что Даша выбирала самые проблемные области. Вместо победных маршей и дворовых игр она дежурила в хосписах и играла с детдомовцами; учила язык жестов на практике – и вместе с глухонемыми смеялась над своими ошибками; проводила часы в изучении закона «О миграционном учете», чтобы помочь паре нервных, забитых мужьями восточных женщин обосноваться в новой стране...

Бытовые проекты, связанные со спортом, экологией и творчеством, конечно, тоже были важны для движения, но на них охотников всегда находилось много. А в «Койку», наливать бомзам суп, Даша из всех своих приятелей-волонтеров пошла одна. Так здесь и осталась, коекак упробив ректорат дать ей свободный график обучения. «И это на последнем-то курсе! Что она в этих... гражданах нашла?!»

А находка была очень простой: во всех, кому Дарья Симонова помогала, будь то старики с деменцией или угрюмые интернатовские подростки, она видела в первую очередь людей. Не «несчастливых и обездоленных», которым необходимы слезы жалости; не способ получения очередной грамоты с бонусом в виде чувства собственной важности. Просто людей – не хороших, не плохих. Разных. Матерящихся и до тошноты любезных, антипатриотов и безумных коммунистов, молчаливых и незамолкающих...

Среди волонтеров таких, как она, «человеколюбивых» ребят понемногу становилось все больше. Дашку это радовало. Лично она знала уже шестерых.

Когда-то, еще в детстве, она написала в анкете для девочек, что до начала своей взрослой жизни (то бишь окончания университета) хочет увидеть три Настоящих Чуда. Изначально подразумевались, конечно, принцы на белых конях, феи в платьях из лепестков роз и добродушные трехглавые драконы. Потом, уже в подростковом возрасте, – Вера, Надежда и Любовь. Потом Даша дала своей мечте карт-бланш, разрешив выбрать «свободную тему».

Про себя она твердила, что уже увидела очень, очень много чудес к своим двадцати трем годам. Настоящую дружбу и настоящую веру, десятки сказочных, удивительных людей, почти что магический прогресс медицины...

Вроде как гештальт был закрыт.

Однако ни одной галочки на обрывке анкеты, висевшей над ее кроватью, пока поставлено не было.

* * *

Когда троица зашла в ночлежку, бутылка, едва заметно торчащая из кармана Шереметьева, была почти полной. Теперь, полчаса спустя, она стояла на подоконнике у всех на виду; из-за сквозняка жалюзи то и дело сталкивались с ней, разнося по помещению тихий стеклянный стук. На дне бутылки плескались жалкие остатки жидкости, в фойе разлился тягучий спиртной дух, а Максим Олегович сидел, обхватив руками голову, и шатался из стороны в сторону.

Валерьев забился в угол и дрожал, громко всхлипывая.

Зилмат Алиевна сидела прямо и почти не шевелилась. Глаза у нее были блестящие, но на морщинистые щеки не капнуло ни слезинки.

Дарья разминала руки и напряженно думала. Потом вышла из-за стола и присела рядом с Артемом.

– Как долго ты употребляешь, Тем?

– Три месяца, – глухо всхлипнул тот, вяло отползая в сторону. – Нюхаю три... Колоть недавно начал... Деньги попросили...

– Много ты уже... денег им отнес?

– Три ноутбука и моноблок... Телефонов штук пять... – Артем тонко захныкал, забиваясь в угол: – Дашка, блин, я думал, мне легче будет... Дашка, не сдавай меня... Да-аша-а-а...

– Замолчи ты, утырок, ять! – Шереметьев разъяренно подскочил к Валерьеву, заноса руку для удара; Зилмат тут же оказалась рядом, но прикасаться к старику не стала, вместо этого заслоня парня собой. – Опозорил нас, мать твою! Ты какого... натворил! Мало того что на голову шизанутый, то сидишь унылый, сопля, то скачешь, ять, с лыбой бешеной! Еще и колоться начал, и вещички здить! Нас же вместе с тобой загрести могли! Сказали бы: все вы, бомжатня, проворовались! Ах ты, гнида эдакая!!

Валера глухо зарыдал, дрожа всем телом, и шмякнулся лбом об пол. Потом, будто бы уверившись в своей вине, он забился все сильнее и сильнее, невнятно шепча и подвывая. Даша обхватила его сзади, не позволяя совсем размозжить голову. Мятлик махнул рукой и сел прямо на пол, отвернувшись от новоявленного наркомана, как от пустого места.

Зилмат опустила рядом и тихо сказала:

– Наркоманы – это не всегда злодеи, Максим Олегович. Он не смог жить иначе. Помните, он говорил, что жизнь – тяжелая штука? Вот наш Артем и не справился, да мы и сами недосмотрели. А ведь он молодой, он под нашей с вами опекой! Мы же все-таки достойные люди...

Дашка знала Мятлика уже год. При каждой встрече она видела, как боль внутри него распухает, колется. Боль была по привычным поводам: от несправедливости мира, как у «дважды образованного» Василия, от невозможности помочь себе и другим, от лишения простого человеческого достоинства.

Некоторые привыкают жить с этой болью – и тогда им становится почти невозможно помочь. А боль Шереметьева за последние часы разрослась, натягивая кожу, так сильно, что для детонации требовалось всего одно слово.

Оно было произнесено – и Мятлик взорвался.

– Алиевна, ять! – Он стукнул кулаком по стене. – Хватит быть такой тупой, слепой, глупущей дурищей!! Не люди мы! Ты посмотри на нас: вонючие, обросшие, трясущиеся твари! Посмотри на нас как надо! На нас, мать твою, все так смотрят – как на кучу навоза! И никому мы на хрен не сдались! Ни ты, глупая старуха училка! Ни Валерик, псих обдолбанный! Ни я, пьяный кусок матраса! Все мы... – Мятлик затих, пряча лицо между дрожащих пальцев, и глухо закончил: – Бомжи ссанные...

Валера дернулся и затих. Даша ничего не говорила, хотя ей хотелось плакать и тоже биться головой об пол. Такая боль сейчас вырвалась наружу и повисла в воздухе, что жить с ней в одном мире казалось невозможным. Невыносимым. Неправильным.

А Зилмат молчала по-особенному. Она молчала привычно, кротко вынося и крики, и ругательства. Дашка знала: так их терпеть может только тот человек, который считает это заслуженным.

Потом Зилмат Алиевна придвинулась к Мятлику и положила руку ему на плечо. Старика мелко затрясло, и на секунду Даше почудилось, что он вот-вот упадет...

Но тонкая рука узбечки, казалось, держала его крепче любого троса.

– Конечно, Максим Олегович, – с доброй, почти материнской грустью произнесла она. – Мы бомжи. Маргиналы, люмпены, мизерабли, бичи. Среди нас пьяницы, наркоманы и проститутки. Среди нас много даже тех, кто уже не может жить по-другому. Но, скажите, почему мы не люди? Человек – это не обязательно что-то хорошее или плохое. Чтобы быть человеком, нужно всего-то им себя почувствовать.

– Не чувствую я, Зилька... – пробормотал Шереметьев тихо-тихо, будто преодолевая себя самого. – Как накричал на днях на девчонку в гастрономе матом – так всё теперь... Не стану я больше человеком. Да и как тут стать, когда ни детей, ни плетей... Ни тела чистого... И не предвидится же! Так и стану шляться призраком, как Вечный жид, как там его...

– Ой, Максим Олегович, вы что, Библию читали? – без всякого ехидства удивилась Зилмат; Дарья невольно улыбнулась, заметив живой взгляд ее черных глаз. – Агасфер его звали. Он Иисусу Христу, когда тот крест нес, не позволил у своей стены отдохнуть. С тех пор и скитается по свету до самого Страшного суда. – Она по-

молчала, теребя ногтями предпоследнюю пуговицу на пальто. – В одном рассказе было сравнение нас, бездомных людей, с сыновьями Агасфера. Мол, мы такие же неприкаянные... Как тот самый Вечный жид.

– Да он-то хоть с Христом говорил! Про него хоть в Библии написано! – горестно махнул рукой Мятлик, залпом допивая капли со дна бутылки. – А мы? Я вот даже... даже певца никакого известного не встречал, веришь? Так себе из нас потомки, нас и Агасфер этот твой послал бы... Пасынки, недоноски хреновы... Нелюди...

Пьяные слезы пережали ему горло; Мятлик закашлялся, как чахоточный, и снова задрожал. Зилмат гладила его по шапке и по сальным вихрам, будто потерявшегося ребенка.

– Я встречала один раз Аллу Пугачеву, – насмешливо заметила она. – Что-то не слишком я себя после этого человеком почувствовала. А про всяких там преступников знаете сколько всего написано? Так что же, они после этого – больше нас люди, что ли? Ну, так хотите тогда, я про вас что-нибудь напишу? А после мы подкараулим Пугачеву и заставим дать автограф. Вот тогда, полагаю, заживем!

Даша поймала себя на том, что тихо, почти истерически хихикает. Фыркнул, подавая признаки жизни, Валера. Даже угрюмый, измокший в слезах Мятлик прыснул, представив, наверное, как эстрадная дива испуганно расписывается на мятой бумажке – и все бомжи на свете мгновенно становятся чистыми, выбритыми и культурными.

– Да ну тебя, Алиевна, как че придумаешь...

– А вы что себе выдумали? Что человек – это обязательно тот, кого все любят и кто не грешит ни в коем разе? Вы хоть помните, с чего Библия-то начинается? – Зилмат Алиевна фыркнула, подходя к Валерику и садясь рядом с ним на пол. – А если хотите себя человеческим почувствовать, так у вас еще все шансы есть!

ПокOLEбавшись, Шереметьев подошел к остальным и присел на корточки. Вздохнул, глядя на распластанного подопечного. Голубая кофта Даши без всякого страха и отвращения прислонилась к его грязному ватнику.

– Если ты не чувствуешь себя человеком, значит, ты пока что деревянный мальчик Пинокио. Значит, все еще впереди. – Шмыгнув носом, Даша подтянула к себе смартфон. – Сейчас я Белле позвоню, пусть посидит с Артемом. Давно надо было с его болезнью разобраться, клинический же случай, почти как в книжке... Ладно,

успеем еще. Надо нашего самоубийцу спасти. Сейчас почитаю этого «V». И что бы это значило? Вендетта? Вива? Вольтер?

– Вольтер! – Зилмат, успокаивающе гладившая Валеру по плечу, молниеносно встала. – Именно Вольтер, Дарья Евгеньевна. Я уж думала, мои глаза меня подводят... Почерк-то изменился немного, да и подписывался он иначе... Нет, за Вольтером нам все равно пришлось бы к вам идти... Доступа в интернет у нас, к несчастью, нет...

– Зилмат Алиевна, – с опаской уточнила Даша, – Вольтер еще в восемнадцатом веке умер. Или это псевдоним какой-то?

– «Нет, извините!» – явно цитируя кого-то, произнесла бывшая учительница. – «Это имя от мамы с папой!» Откройте свой интернет, найдите тех, кто учился в пятнадцатой гимназии имени Мережковского с девяностого по девяносто девятый. Так ведь можно сделать? – виновато уточнила она. – Сын у меня так как-то одноклассников находил...

– Вольтер Шайнверт? Ну и имечко... – покачала головой Дарья через пару минут поисков. – Ему самому писать, пожалуй, рискованно. Свяжемся-ка с его друзьями. Может, скажут, где живет наш философ-просветитель...

Часть V. Вольтер

Крохотный закуток в офисном здании был даже не овейан, а прокурен насквозь индийскими благовониями, по тошнотворности напоминавшими автомобильную «елочку». Вольтер, правда, морщился только первые пять раз – потом как-то «принюхался». Правда, в одежду запашок въедался знатно – некоторые прохожие в этом районе, увидев долговязого длинноволосого парня с ухоженной бородкой, высказывали по поводу его волос и запаха разные мнения. В основном не слишком толерантные и цензурные.

– Вольтер Рагн... Ранг...

Зиновий вечно запинаясь на его отчестве, что было неудивительно, хотя и неприятно. Вот фразу «С вас три тысячи восемнадцать рублей» он произносил без единой запинки!

– Рагнвальдович.

– Да... В общем, наблюдаю над вами очередного импа, к сожалению, – удрученно покачал головой экстрасенс, белый маг и чернокнижник. – Увы, они к вам только так лезут. Сбой в пранаяма-чакре, не иначе...

Вольтер фальшиво вздохнул, но вполне искренне попытался ощутить пранаяма-чакру. Наверное, она была где-то в желудке, ибо тот забурлил, как приснопамятный волшебный «горшочек-не-вари». Все-таки поесть не помешало бы еще вчера... Жалко, что нельзя было запихнуть в живот еду без всех этих утомительных пережевываний и глотаний.

Он содрогнулся, вспоминая, как вчера открыл холодильник и увидел *бесцветные* продукты. Они вроде как имели цвет с виду, Вольтер даже мог бы с некоторой точностью назвать оттенок, но... Что-то в еде неуловимо поменялось, перестав делать ее привлекательной и аппетитной. Любимые котлеты в собранном мамой «тормозке» казались серыми даже на вкус. Серое молоко через пару минут было превращено в серый кофе, который был наполовину выпит, наполовину вылит в раковину. Раковина была серой уже два года; личная кружка со скандинавским орнаментом, подаренная сестрой, – примерно два месяца.

Не серыми оставались только близкие люди... Пока что. Впрочем, сам Вольтер уже посерел от ног до головы – а «цветное и ч/б нужно стирать отдельно».

Вот он себя сегодня и постирает. Так постирает, что сотрет окончательно.

– Вольтер, сосредоточьтесь! – возвысил голос Зиновий, ради спасения клиента даже вставший на ноги.

Особой разницы, правда, заметно не было: тумбочкообразный «шаман среди йогов», сверкая залысынами, вырос в стоячем положении всего сантиметра на два.

– Вы же понимаете, что, если не избавиться от импов, у вас пойдет влияние на всю жизнь! Неизлечимые болезни, проблемы в отношениях, финансовые неурядицы вплоть до лишения всего имущества... Вы что, хотите стать каким-нибудь бомжом?

– Не очень. Они несчастные люди, – пожал плечами Вольтер.

Чародей махнул рукой и достал из-за пазухи ловец снов.

– Ручная работа тибетских шаманов, – гордо сообщил он, старательно не замечая торчащую сбоку этикетку. – Сейчас я приманю некоторых имеющих бесов, но на седьмой день обязательно появятся еще! Если не прийти снова, они просто загрызут вашу карму и пропустят через мясорубку дьявольской сансары! Итак, начинаю читать мантру! Ом...

Плясь на пластиковую бусину в центре ловца снов, Вольтер тоскливо подумал, что даже у жуликоватого экстрасенса, к которому он ходит по совету суеверных друзей, получаются выражения куда лучшие, чем у него. «Мясорубка дьявольской сансары»... Он бы до такого не додумался.

Хорошо, что вся эта дрянь сегодня закончится. Больше не нужно будет притворяться писателем, хорошим сыном, понимающим братом и другом... Ничего больше не будет становиться серым из-за него, Вольтера Шайнверта, бездарного и не способного «перестать грустить».

Узнать бы только перед концом ответ на один дурацкий, но очень важный вопрос...

– Зиновий Борисыч, – подал голос Вольтер, когда пришло время оплачивать жизненно необходимые услуги шамана. – Подскажите, как специалист по сверхъестественному. А драконы существуют?

– Драконы – всенепреренно! – авторитетно заявил экстрасенс, складывая деньги в аккуратную стопочку. – Так зовутся демонические правители импов! Они насылают их на незащищенных людей, в результате чего только сильнейшие, дипломированные белые маги могут избавить людей от страданий... Следующий, пожалуйста!

– Сам ты имп, шаман недоколдованный, – проворчал Вольтер, выныривая из закутка и косясь на часы.

До назначенного времени оставалось сорок семь минут. Зайти в магазин и купить сигарет? Даже в этом смысла нет, а на большее времени не хватит. Не успел завести собаку, не женился, не съездил на Байкал, даже ни разу не играл в компьютерные игры...

Все это и не нужно. Все это рано или поздно станет серым, как и он сам.

Единственный серый человек на планете. Как иронично, Вольтер. Ты писал свои несчастные «Записки людей и драконов» о человечности, хотел завершить их мыслью о том, что человек – это не вид и не образ жизни, а состояние души. Это состояние, как ты писал, имеет свойство меняться; значит, люди на протяжении жизни бывают и людьми, и зверьми, и совершенно удивительными сверхъестественными существами.

Собачья преданность, лисья хитрость, совиная мудрость. Частичка русалочьей магии – в пловце, преодолевавшем границы своих возможностей. Гены великанов – в отце, который

удерживает на весу машину, чтобы его ребенок успел отползти в сторону. Память драконов – в творцах, чей огонь выплескивается на холст, становится музыкой, рождает стихи.

В тебе ничего этого нет, Вольтер Шайнверт. Ты серый человек. Ты не можешь быть никем другим – значит, лучше тебе вовсе не быть.

Только в последнем полете ты почувствуешь себя живым.

А потом полет превратится в падение.

* * *

Что еще можно сказать о Вольтере Шайнверте, если не считать его творческой философии и «серости», которая в психиатрии зовется рекуррентной депрессией? Он был обычный молодой писатель, каких на свете много. Предки иммигрировали откуда-то из Германии; отец – ландшафтный архитектор, мать – филолог и преподаватель. Старшую сестру Урсулу родители взяли из детского дома, сейчас она стала авиаконструктором и вышла замуж за строителя. Все живут в любви и согласии, проводят семейные праздники и вместе ездят сажать картошку. Разве у таких людей все может быть иначе?

Наверное, может быть. По крайней мере, Вольтер был в этом почти убежден. Он довольно часто смотрел в окно, под которым по вечерам жгли костры бездомные люди. Сказать честно, Шайнверт немного их побаивался: выбрасывать мусор подходил, например, только убедившись, что бомжей нет рядом. В целом Вольтер им, конечно, сочувствовал, но подходить и спрашивать, не нужна ли помощь, было как-то неловко. Пошлют еще на три веселые буквы или врежут по интеллигентной морде... Вот если бы кто объяснил, как и им помочь, и себе не навредить!

Один раз, в возрасте семнадцати лет, у него даже получилось: мужик просил у магазина денег на еду. Пару минут тогдашний студент-журналист шевелил извилинами, а потом просиял и сам купил бомжу то, что он просил. Как же потом тот благодарил его, уплетая десятирублевый хлеб...

Вольтер после этого от возвышенных чувств даже написал стихотворение. Все по заветам классиков – с рифмами, ритмом и даже библейской отсылкой:

«Наш грязен лик, но пламенны сердца,
Так нашу не обманывайте веру:

Пусть будет хоть скамейка у крыльца
Для пасынков бродяги Агасфера...»

Его учительница литературы, Зилмат Алиевна, которой он прочитал это стихотворение на встрече выпускников, похвалила Вольтера, хотя и указала на пару небольших огрехов. «Наш лик – нашу веру», слово «грязен» для возвышенного тона не слишком-то уместно... Все по делу, все так, как она и говорила на дополнительных занятиях. Всего два года у нее довелось проучиться, а помнится все, будто было вчера. «У вас храбрые мысли мечтателя, Вольтер Рагнвальдович»...

Жаль, что стать волонтером у него не хватило храбрости. Наверное, они и бездомным тоже помогают... А так все, что он может сделать для людей, – писать умеренно красивые слова.

Что же, кто-то должен заниматься и таким. Должен был.

* * *

Уже на подходе к подъезду Вольтер выключил телефон и вытащил из него сим-карту. Толик, сосед из двадцать пятой, приходит домой примерно в восемь; у него на двери можно будет оставить вежливую просьбу «передать родителям записку» и «позвонить в полицию, если этого еще никто не сделал». При мысли о родителях внутри парня заворочалась глухая тоска – но тут же опала, когда мимо, весело хлюпя изгвазданными в слякоти сапогами, пробежал серый мальчишка.

Нет уж, ни шагу назад. Сам виноват, что не можешь жизни радоваться и все проблемы отпустить. Поплачь еще... Тоже мне, мужчина...

Около подъезда, на кое-как покрашенной кривой лавочке, сидели трое. Вольтер поневоле поморщился: спиртом и мочой от них разлило за тридцать шагов. Две женщины, один мужчина; одна даже одета попримечнее, а туда же... Жалко их, но лучше бы скорее пройти мимо.

Краем глаза он заметил, что в подъезд заходит еще кто-то, и ускорил шаг, надеясь придержать дверь.

– Слышь-ка, парень, – подал голос бомж со скамейки, почесывая бороду.

Вольтер оглянулся в тщетной надежде, что зовут не его, но поблизости никаких больше парней не наблюдалось. Для очистки совести он приблизился на шаг и быстро буркнул:

– Сигарет нет, если что, денег тоже. Я спешу, спросите кого другого.

– Не-э, милочка. Про то, что там с профессором Арсеньевым дальше было, нам, кроме тебя, никто не скажет! – Бородач усмехнулся и кашлянул в кулак.

До Вольтера дошло, когда он уже тянулся к ручке двери.

– Откуда вы... Вы что, из издательства?! – в ужасе осведомился он, торопливо вспоминая, куда именно успел отправить ту отвратительную первую рукопись.

Девушка в голубом прыснула от смеха так, что у нее запотели очки.

– Ага, ять, «Бомж-пресс»! Офис ажно у тебя под окном! – заржал мужик, а молчавшая до этого дама с улыбкой поднялась, подошла и протянула руку:

– Рада вас... тебя видеть, Вольтер! Мы тут к тебе в гости пришли... Прости уж, что в таком виде.

– Зилмат Алиевна... – ошарашенно пробормотал Шайнверт, привычно заключая хрупкую учительницу в объятия. – Что случилось? Вам нужна помощь?! Что я могу... Как же это вы...

– Вольтер, мы тебе помочь пришли. – Зилмат мягко, но уверенно отстранила бывшего ученика и заглянула ему в глаза: – Не нужно этого делать. Пожалуйста. Ты ведь талантливый мальчик, я не просто так это говорила.

– Откуда вы знаете? Вы... Бездомные читали мой недописанный роман? – Вольтер нервно хихикнул. – Какая же абсурдная ситуация, господи ты ж боже мой! Практически сюжет для желтой газетенки... Простите, Зилмат Алиевна, но я так больше не могу. Вокруг меня все становится серым... Да и вам нравится моя писанина только по старой памяти!

– Ага, мне-то тоже, я ж тебя с детства помню, – язвительно отозвался старый бомж со скамьи. – Так и вспоминаю: сидит Вольтерка под столом и пишет про большой облом... Я технарь – и то твои рассуждения послушал с интересом. Даже сам задумался над твоею философской заковыкой! А чтобы старый злой дед Мятлик задумался над таким – это талант надо иметь.

– Это еще ничего не значит... Все равно я... Вы вот думаете, что мы похожи, а я вас даже боюсь немного! – краснея, выпалил Вольтер.

Мятлик пожал плечами:

– Ну и что с того? Я вон тоже всю молодость душевнобольных боялся, кругами обходил. А им, оказывается, помощь нужна! Дарьевгеня

говорит, мол, это поломка какая-то в мозгу, ее починить можно. Да она сейчас сама тебе и расскажет.

Дарья поправила очки, поднялась и встала рядом с обескураженным Вольтером. От нее не пахло ни водкой, ни бездомной жизнью; парень скосил глаза и увидел в дециметре от своей щеки бейджик с надписью: «Волонтер».

– Вольтер, эти ребята, – она так выделила слово «ребята», будто Зилмат и Мятлик вовсе не годились ей в дедушки-бабушки, – они правда не хотят, чтобы ты погиб. Я просто им помогаю, потому что знаю, что с тобой происходит. Со мной тоже такое было, и это не просто грусть. Это называется депрессия, ее можно контролировать. Тогда все обретет краски снова, я тебе обещаю. Пойдем лечиться?

Вольтер нерешительно улыбнулся и вдруг сощурился, не веря сам себе.

У Дарьи были зеленые глаза. И ярко-голубая куртка.

Серого в ней не было совсем.

* * *

В кармане Даши зазвонил телефон, надрывно зудя песней какого-то иностранного поп-исполнителя. Зилмат и Мятлик о чем-то тихо переговаривались; Вольтер ходил туда-сюда, пытаясь согреться. Он вовсе не спешил отправляться в квартиру, откуда он должен был... даже думать об этом теперь не хотелось.

Дарья с усталым вздохом приняла звонок:

– Привет, Белка. Да, в фойе должен сидеть, я ему дошик заварила... Куда ушел?! – Девушка стремительно побледнела и с растущим отчаянием в глазах взглянула на бездомных. – В смысле... Какая еще записка?! Господи...

– Люби всех нас, Господи, тихо... – фальшиво и нервно запел парень откуда-то с четвертого этажа.

Вольтер запрокинул голову и увидел, что в оконном проеме, нелепо согнувшись, стоит молодой мужчина в синей куртке. Небо стремительно темнело; Шайнверт взглянул на часы. Время подходило к половине пятого.

– Тема, слезай!

– Артем Валерьев, живо уйдите оттуда!

– Ять, а ну, сдристнул с подоконника!!

Парень молчал, отчетливо хлюпая носом. Даже с земли было видно, как его трясло: Валерка кое-как держался побелевшими пальцами за оконную раму. Его нестриженные локоны торчали из-под капюшона как травинки, бросая тонкие тени на лицо.

Тяжело вдыхая холодный воздух и перекрикивая панические вопли снизу, Валерьев истерически закричал:

– Простите! Простите меня! Из-за меня вы все могли, блин, в дерьме по уши оказаться, потому что я поломанный! Правильно деда Макс, блин, говорил: мне то грустно, то весело... И я никак, никак не могу перестать быть таким неправильным! – Теперь Валерьев не истерил, а всхлипывал, покачиваясь туда-сюда, и орал, казалось, все, что в голову взбредет: – Я не человек никакой, блин! Был мелким, так рисовал самолеты... Я хотел быть, блин, самолетом сам! Он может куда угодно полететь, а воспиталка все говорила, что, если я и полечу, только на дно общества, блин! Вот и долетел... Торчок, блин, конченный! Наркоша хренов! Ворье, тварь, гадюка! Щас и полечу, блин, окончательно!

Носки грязных, изодранных ботинок опасно накренились вниз. Толпа, которая как-то сама собой собралась у подъезда (Вольтер даже не заметил, когда это произошло), охнула...

– Артем, выслушай меня! – Даша повысила голос, закинув растрепанный хвост волос за спину, и сделала из ладоней маленький рупор. – Я знаю, почему ты то грустный, то веселый! Я обещаю – слышишь меня, Артем? – обещаю, что мы сможем вылечить это без всяких... преступлений! Только помни, пожалуйста, что ты сам – не самолет! Ты не можешь полететь!

– Я должен попробовать, Дашка!.. Я ж... Блин, я по-другому и не могу уже! Прости, блин, Дашка, я в курсе, что ты хотела как лучше!

– Эй! Ты меня не знаешь, но я сам сегодня хотел прыгнуть оттуда же! – Шайнверт с удивлением услышал свой собственный голос. – Ты еще все можешь исправить, я тебе помогу! Только... Только скажи как!

Да ты даже себе помочь не можешь, шевельнулось серое в груди. Шевельнулось – и смиренно затихло. Я должен хотя бы попытаться.

– Артем, пожалуйста, слезь оттуда! Я не хочу, чтобы ты стал новой жертвой моего недосмотра! Я и так... – Зилмат Алиевна опустила голову и с явным трудом закончила: – Я уже не спасла одного человека, считая его боль недостойной слабостью! Не смей считать это слабостью и ты! Это беда, а не вина, спускайся к нам!

Парень помотал головой и тяжело задышал, прикрыв глаза и занося ногу над пустотой. Зилмат опустилась на колени и горько, взхлеб разрыдалась.

– От ты, етишкин крот... Слышь, че скажу, Валерка! – внезапно подал голос Мятлик, до этого сердито пинавший пустую пивную банку. – Я тоже ведь наркоша, слышишь?! Я и сам этой дрянью по молодости баловался, потому и озлился так на тебя, дурня! Я сам, сам я старый дурак и все равно человек! И ты человек, паря, с дурной, косяками, но человек же! Слазь, хорош тебе дуришь! Слазь, человеке!

Артем замолчал и пошатнулся. Повисла тишина; в ней Вольтер прекрасно слышал, о чем думал наркоман, бомж, детдомовец Валера.

Он думал о том, кем быть лучше – самолетом, летающим в небе и касающимся крылом облаков, или человеком, у которого могут отобрать детство, отобрать дом, отобрать человечность.

Наверное, все-таки...

Эпилог Неделю спустя

В однушке Вольтера с самого утра было тихо – даже часы не тикали, потому что иногда они бесили писателя в моменты вдохновения и он их останавливал.

Потом зазвенели серебристые ключи, зашуршали прозрачные пакеты, защелкали бежевые выключатели, закипел желтый чайник, зашелестела салатово-зеленая пачка с печеньем. Квартира обрела звуки и цвета.

– Ну, так что там с ним?

Вольтер поежился, натягивая рукава свитера на ладони, и обнял импровизированными варежками кружку. Кружка была теплая и цветная – с оливковыми, охровыми, оранжевыми узорами.

Даша пожалала плечами, глотая чай:

– Я, кажется, говорила уже. Биполярное аффективное расстройство. Раньше его называли маниакально-депрессивным психозом, но все, конечно, стали думать, что это что-то про маньяков. – Девушка печально улыбнулась. – Валерьев и наркотики-то стал принимать, потому что началась депрессивная фаза. Ну и натворил дел, конечно... Сидит в диспансере. Будем добиваться лечения вместо тюремного срока, шансы высокие, у нас юрист хороший, а парень в аффекте был. Ну, пока он, по крайней мере, в тепле, кушает хорошо, самолетики собирает. Литий помогает... Ты-то, кстати, пьешь свои антидепрессанты?

– Глотаю я твои синие таблетки, – вздохнул Вольтер. – И терапевт у меня хороший. Хотя лично я бы предпочел, чтобы меня лечила Дарья Симонова. Говорят, очень многообещающая молодая специалистка. – Лукаво улыбнувшись, парень погладил Дашку по щеке.

Та отмахнулась, дожевывая пирожок с капустой:

– Извини, но ходить на свидания с пациентом неэтично. К тому же я недоучка. Лучше я тебя дома поддерживать буду, ладно?

– Куда деваться, – философски покачал головой писатель. – Жалко Артема. Не знаю, повезет ли ему, как повезло мне. У него ситуация куда запущеннее. Если парня все-таки отправят в тюрьму...

– Мы же с тобой не в сказке, где все в конце мгновенно начинают жить «долго и счастливо», – пожала плечами Дарья.

Ее зеленые глаза при словах Вольтера было потускнели, но тут же наполнились решимостью.

– Что будет, то будет. Решим проблемы по мере их поступления.

– Мудрые слова. Заберу-ка я их в свою новую книжку. – Парень ехидно подмигнул, но взгляд Даши оставался задумчивым. – А что остальные?

– А, точно! – Дашка мгновенно оживилась и даже сделала пару глотков из кружки. – К Зилмат Алиевне вчера, прикинь, сын приходил с женой и внуком. На колени при всех вставал... Наша тетя Зиля, конечно, его вроде как отбрила, но ты бы видел, как она на внучонка смотрела! Думаю, помиряются они. Я ему сказала, чтобы потом еще раз зашел. А уж невестка как плакала! Говорила, что не знала про мужа Зилмат, иначе бы язык не повернулся так сказать – хотя я не в курсе, что она там наболтала. Правда раскаивается девчонка, видно. Она даже уходить не хотела...

– А что дед Мятлик?

– Максим Олегыч-то? Да как-то... У нас вот лужайка не обработана, унитаз в подсобке сломался... Еще у нас тетя одна затеяла цветы продавать, а все деньги с продаж в «Койку» отдавать, так он, представляешь, тоже этим делом увлекся! Говорит, мол, первые три букета подарит мне, Зилмат Алиевне и какой-то Кате из супермаркета. Он, когда руками что-то делает, прямо оживает...

Даша осеклась на полуслове и взглянула на разбитый, но работающий экран смартфона:

– Ешкин кот! Воль, мне бежать пора, сегодня пару поставили по клинической. А мне до нее еще кое-где галочки надо поставить... Тебя на субботней раздаче листовок ждать?

– Если допишу репортаж и добыю главу «Арсеньева», то еще суп приду разливать, – кивнул Вольтер, допивая чай, и потянулся вверх, чтобы открыть окно – к счастью, для вполне обыкновенного проветривания.

Даша молча наматывала на шею шарф и натягивала смешную ушастую шапочку с помпонами.

Каждый думал о своем. И оба – может быть, совсем чуть-чуть – думали о троих бездомных, благодаря которым их свела судьба.

Наверное, одна из них сейчас смотрит на фотографию сына и вспоминает его телефон – чтобы как бы невзначай позвонить, «ошибиться номером» и милостиво ответить на второй звонок.

Другой, матюгаясь, кладет удобрение в горшок («Это, ять, кашпо!») и прикидывает, где бы найти тетрадку для новых конспектов по ландшафтному дизайну. В конце концов, много нового за эти годы появилось, старые записи неактуальны... Да и нет их больше.

А третий собирает маленький картонный вертолетик в комнате отдыха ПНД, с удивлением чувствуя себя... нормально. Не слишком, до безумия, хорошо и не ужасно. Просто нормально. Долго это, конечно, не продлится, лечение пока идет всего неделю, может вернуться ломка, магия, депрессия, но...

Но все же три человека почувствовали себя на своем месте.

И будем надеяться, все они смогут принять свою человечность заново.

– Слушай, Воль, я все хотела спросить, – задумчиво протянула Даша, застегивая куртку посреди крохотной кухоньки. – Откуда ты все-таки взял идею этого дракона Арсеньева? Почему именно конфликт «люди-нелюди»? Я так поняла, что это метафора национализма... Это о том, что человек сам решает, чем и кем он должен быть, верно? Простая метафора?

– Да, конечно. Почти так, – тихо улыбнулся Вольтер.

И Даше показалось, что его глаза в свете заходящего солнца наполняются живым драконьим огнем.

Марина
БРЮЗГИНА

МУЗА СПРЯТАЛАСЬ
СО МНОЙ



ГОРДЫНЯ

Гордыня над миром
Моим занималась,
Гордыня кумирам
Моим улыбалась.

Гордыня губами
Моими алела,
Гордыня словами
Моими владела.

Гордыня хмелела,
Хотела смеяться,
А я не умела
Совсем притворяться

И всем рассказала,
Что бедной Марине
Спасенья не стало
От этой гордыни.

* * *

Вечерний ветер осторожно
Меня погладил по плечу,
И стало грустно и тревожно.
К тебе хоч.

Та неожиданная встреча
Была, как перышко, легка,

Теперь пишу, что грусть, что вечер,
Что облака,

Что нужен друг – для вдохновенья,
Что за разлукой – встреча вновь
И что мое стихотворенье
Не про любовь.

НА ОСТАНОВКЕ

От небрежности и фальши
Не осталось и следа,
Словно и не знали раньше
Мы друг друга никогда.

Изменило все мгновенье:
Пара слов и добрый взгляд.
«Прочитай стихотворенье», –
Попросила наугад.

Позабыв про нездоровье,
Он читал мне в полумгле.
И еще одной любовью
Стало больше на Земле.

* * *

Я этот город знаю наизусть.
Зачем еще по городу бродить...
Но я брожу и ощущаю грусть,
С которой нас нельзя разъединить.

* * *

*«Не вещи красят человека...»
Не вещи красят, а дела.
Прошло едва ли не полвека,
Пока я это поняла.*

*И стало многое неважно.
А важно – как я говорю,
И что веду себя отважно,
И что я близких не корю.*

В ДОМЕ ПОЭТА

*Мне кажется, я здесь жила,
Но это лишь виденье.
Я здесь ни разу не была,
В чужом стихотворенье.*

ДРУГУ ПОЭТУ

*Не распаяй мою гордыню,
Не восхваляй мои стихи,
Все изменилось, и отныне
Они наивны и тихи.*

*Еще я помню шум вокзала,
Над Томью робкую зарю,
Но и в провинции немало
Того, что я боготворю.*

*Не оставляй меня и верь мне,
Хоть взгляд бывает ледяной.
И пусть я спряталась в деревне,
Но муза спряталась со мной.*

* * *

*Случаются вещи, которые нам помогают.
Встречаются люди, которые, сами не зная,*

*Такие слова говорят нам от чистого сердца,
Что мы оживаем и можем душой отогреться.*

*И я повстречала недавно совсем человека,
Который зашел к нам негаданно в библиотеку,*

*Меня приобняв, он такие поведал мне мысли,
Что жизнь встрепенулась и новым
наполнилась смыслом.*

* * *

*Я молчу. Немножечко полегче
Стало мне. На улице тепло.*

*Время успокаивает, лечит
Так, как ничего не помогло.*

*Я спала, и что-то мне приснилось
Горькое, похожее на дым.
Господи, во что я превратилась
С этим сочинительством своим!*

* * *

*Господи, спасибо за цветы
И за птичье утреннее пенье.
Господи, надеюсь, это Ты
Написал мое стихотворенье.*

* * *

*Может быть, и нужно было
По ночам писать стихи,
Только что-то уводило
От подобной чепухи.*

*Ну, вернее, я считала,
Что вот это чепуха,
И небрежно покупала
Мебель, золото, меха.*

*От любви друзей бежала –
Тех, кто радость приносил.
Часто близких обижала –
На общенье мало сил.*

*И теперь не стала умной.
Только прежние грехи
Заставляют ночью лунной
В телефон
писать
стихи.*

* * *

*Я аскет. Антон смеется,
Говорит: «Ну что ты, нет!»
Мне, аскету, остается
Верить в то, что я аскет.*

*Мир мой радужный и хрупкий:
Мысли, творчество, дела.
Достаю свои покупки,
Говорю: «Я мимо шла!»*

* * *

*Кто хочет
Славы –
Тот очень
Слабый.*

Анжелика КОСМИДЕР-ГРУШЧИНСКИ

СТЕНОГРАФИСТ

Рассказ



И
Чуть больше года назад я увлекся стенографией. Было начало июля, тогда мне исполнилось девятнадцать лет; тетка по линии матери привезла из-за границы учебник, основанный на системе Леопольда Арендса. В тот теплый лиловый вечер я открыл эту книгу впервые, разворот ее встретил меня подписью: «Дорогому Леве Осапину». Дни напролет я изучал сокращение многосложных слов, их начальные и конечные сочетания. Меня это действительно увлекало.

* * *

В первой половине августа мне удалось поступить в Императорский университет, учеба в котором для меня была по-настоящему важна. Отец мой, Николай Степанович, чувствовал себя неважно последние две недели. Анна Сергеевна, мать, словно наседка, ухаживала за больным, не оставляя его одного ни на минуту. И новость о моем успешном поступлении на филологический факультет одного из ведущих учебных заведений Российской империи обрадовала и в какой-то мере оживила отца. «Мой сын! А вы уже слышали? А вы, Аксинья?» – повторял он чуть ли не каждый день, излучая воодушевление.

Ко второй половине сентября мое положение в университете утвердилось. Учился я хорошо, трудностей с занятиями у меня не возникало. И вот однажды произошло событие, которое несколько вы-

било меня из привычной колеи и повлияло на всю дальнейшую жизнь. Как-то прямо во время очередной лекции, прервав свое повествование, профессор богословия Полисадов задал вопрос, который заставил меня вздрогнуть: «Может быть, кто-либо из вас владеет основами стенографии?» Я вспомнил о своем горячо любимом увлечении, которое пришлось оставить из-за занятости в университете. Но тогда Полисадову ответила только тишина. Я не хотел объявлять о своих умениях в присутствии других студентов, так как посчитал, что окружающие могут подумать обо мне плохо, мол, захотел обратить на себя внимание. Поэтому я решил лично подойти к профессору по окончании занятия, чтобы выяснить, с какой целью он задал данный вопрос. И время до конца лекции показалось мне целой вечностью.

Наконец Полисадов произнес заветные слова: «Занятие окончено» – и я, схватив свои вещи, буквально подбежал к нему.

– Извините, Василий Петрович, – сказал я, запыхавшись, – зачем вам понадобился стенографист? Я, конечно, не профессионал этого дела, но довольно неплохо разбираюсь в данном способе письма...

– Неужели? – произнес он, смерив меня блестящим взглядом с ног до головы.

Я невольно поправил скюртук.

– Знаете ли, Лев... Николаевич! – с трудом вспомнив мое отчество, воскликнул Полисадов. –

КОСМИДЕР-ГРУШЧИНСКИ Анжелика Альбертовна родилась 31 июля 2003 года в Кемерове. В 2021 году награждена медалью «Надежда Кузбасса» за успешную сдачу ЕГЭ. Обучается в КемГУ на филологическом факультете по специальности «зарубежная филология». Дипломант первого регионального молодежного литературного фестиваля-конкурса «Оперение». Живет в Кемерове.

Один мой знакомый писатель, Лоскутников, возможно, вы даже слышали о нем, ищет себе в помощники стенографиста для записи нового романа...

Мое лицо покрылось легким румянцем. «Разве это может быть то, о чем я думаю?» – выражал сомнение мой внутренний голос. Дело в том, что я с самого начала своего увлечения мечтал попробовать себя в настоящем рабочем процессе. Но тут же мне стало стыдно, ведь я не тренировал письмо уже более месяца!

– Не трудно ли вам, уважаемый, помочь моему приятелю? – закончил свое предложение Полисадов.

– Боже мой! – воскликнул я. – Меня? В качестве стенографиста? Быть не может!

На лице Василия Петровича расплылась добрая улыбка.

– Но когда же я должен приступить к работе? – спросил я.

– Так вы поможете? Очень рад! Алексей Андреевич будет ждать вас в четверг после полудня.

– Уже в этот четверг?! – спросил я в растерянности. (Было ясно, что теперь придется срочно повторять весь изученный материал.) – Что ж, я обязательно приду!

– Благодарю вас, Лев Николаевич! Вас будут ожидать на Литейном проспекте; над входом в дом, находящийся на первом повороте, вы заметите выделанную в камне розу со сломанным шипом, а уже там вас встретит Никодим, слуга Лоскутниковых, – это были последние слова профессора, которые я смог удержать в голове.

В легком беспамятстве я вышел из университета и побрел в сторону дома. Мы жили на Гороховом проспекте. Обычно я брал извозчика, так как путь до дома занимал достаточно времени, но сейчас, после предложения Полисадова, мир вокруг замер для меня, и я сам не заметил, как прогулочным шагом достиг родного двора. В голове моей рисовался образ розы со сломанным шипом.

II

Весь следующий день я посвятил практике письма, ведь до этой, как я чувствовал, судьбоносной встречи оставалось так мало времени. За месяц моего пребывания в Императорском университете это было впервые, когда я намеренно пропустил занятия. Мне было необходимо уделить все свое время повторению пройденного материала: я не хотел ударить в грязь лицом перед петербургским писателем, чье имя было на слуху.

На этот раз время летело быстро, казалось, что я ничего не успеваю. Волновало меня и то, что вообще представляет собой этот писатель Лоскут-

ников. Будет ли мне с ним комфортно работать? И оправдает ли этот опыт мои ожидания относительно профессии стенографиста?

Наступил четверг. Я дождался полудня, надел студенческий сюртук, взял свои записи и с детским волнением вышел на улицу. На углу я поймал извозчика и велел ехать на Литейный проспект. Набережная Фонтанки в этот день оказалась перекрыта, и проехать через нее было невозможно. У меня не оставалось выбора, я заплатил извозчику, сошел на перекрестке и отправился пешком от набережной до нужного места. На удивление, погода в Петербурге была замечательной для конца сентября: солнце ласкало своими лучами прохожих, легкий ветерок играл опавшими листьями, стремительные птицы скользили по гладкому небу. Отголоски лета в этом году все еще звучали и никак не могли уступить место осени. Эти времена года не враждовали, они словно объединились между собой и творили окружающий мир.

Я дошел до церкви Симеона и Анны. Моим глазам открылась поразительная картина: храм утопал в солнечном свете, будто ангелы спустились с небес и беззаботно хлопотали здесь. Я был готов смотреть на это чудо весь день, но меня уже наверняка ждали, так что, перекрестившись, я продолжил свой путь.

Выйдя на проспект, я повернул направо и, волнуясь, начал искать взглядом каменную розу со сломанным шипом. Вскоре я ее нашел. Дверь в парадную была приоткрыта, но я все же решил постучать. Когда я услышал, как кто-то быстрым шагом топает по лестнице, у меня сперло дыхание. Дверь отворилась полностью, и я увидел мужчину небольшого роста лет шестидесяти. Его приятное выражение лица и улыбка набок слегка успокоили меня. По его фракку с бархатным воротником, отделанным галуном, я понял, что это Никодим.

– Добрый день, Лев Николаевич! Проходите-с, вас уже ждут, – сказал слуга и взял мои вещи.

Я поднялся по лестнице и увидел лишь одну дверь, стальная ручка которой была обернута в латунную фольгу. Скорее всего, квартира Лоскутниковых занимала целый этаж. Осторожно войдя в помещение, в конце прихожей я увидел высокого мужчину в жилете с вышивкой, с белым шейным платком и в собранных панталонах. На вид ему было за сорок, на его висках проступала легкая седина. Услышав, как дверные петли захрипели при закрытии, хозяин поспешил мне навстречу. На лице Алексея Андреевича играла улыбка, но глаза его оставались тусклыми. До этого момента я представлял, что увижу человека, уверенного в себе и в своих действиях, однако передо мной пред-

стал мужчина, чьи движения были хаотичны, а взгляд говорил о тяжелых переживаниях; он, впрочем, тщательно старался скрыть их глубоко внутри себя, не позволяя вырваться наружу.

– Добро пожаловать, Лев Николаевич! Спешу поблагодарить вас, за то что согласились мне помочь. Знаете ли, в наше время сложно найти хорошего стенографиста! Я было уже отчаялся, но, когда ко мне пожаловал Василий Петрович и сообщил приятнейшую новость, что один из его студентов знает толк в стенографии и готов работать со мной, я вновь воспрял духом! – говорил он воодушевленно, пожимая мою руку.

– Ох, я глубоко польщен, но не сказал ли профессор Полисадов, что я лишь любитель? – переходя на шепот, спросил я.

– Что вы, не переживайте, уважаемый, такой-то помощник мне и нужен! Настоящий стенографист относится к своей профессии именно с любовью. Пройдемте в мой кабинет, я ознакомлю вас с текстом и объясню, как мы будем работать.

Пройдя по коридору и завернув направо, я попал в настоящую творческую мастерскую. Кабинет Лоскутникова открывал мне глаза на его внутренний мир. Стены темно-зеленого цвета были пропитаны запахом английского табака, по восточной стене растянулась библиотека, состоящая из европейской литературы, в середине комнаты стоял огромный лакированный стол, рядом с ним располагались два кресла; кожаная софа занимала западную часть кабинета, соседний деревянный шкаф был приоткрыт, в нем я заметил футляр от скрипки, а на стене висел портрет неизвестного мне генерала времен кампании 1812 года.

– Садитесь, Лев Николаевич, – сказал Лоскутников, указав на одно из обитых жаккардом кресел возле стола.

Заняв предназначенное мне место, я с любопытством осмотрел рабочий стол писателя. Здесь располагалась керосиновая лампа, чернильница, папиросница, листы бумаги и портреты двух женщин. Та, что была помоложе, имела ярко-изумрудные глаза и здоровый румянец на щеках. «Довольно мила!» – подумал я.

Не успели мы приступить к обсуждению деталей нашей работы, как в дверь постучали. Это был Никодим, он принес чай со свежееиспеченными вафляшками. Уходя, слуга не затворил дверь до конца, и через пару минут в проеме появилась дама с портрета (та, что была постарше).

– Алексей... Андреевич, – заметив меня, смущенно дополнила она имя Лоскутникова его отчеством, – в прихожей вас ожидает Евгений Андреевич по личному делу...

– А-а! Вера, познакомься с моим стенографистом – Львом Николаевичем Осапиным. Лев Николаевич, это моя жена – Вера Михайловна.

Она легким кивком поприветствовала меня и тут же скрылась, не желая более отвлекать супруга. За силуэтом Веры Михайловны промелькнул стан молодой особы.

– Одну секундочку, Лев Николаевич. Софья! – крикнул Лоскутников.

Через мгновение в кабинет зашла стройная семнадцатилетняя девушка с вьющимися светлыми волосами.

– Будь любезна, составь компанию нашему гостю, пока я побеседую с твоим дядюшкой. Лев Николаевич, – обратился он ко мне, – вы уж простите, что мы никак не можем приступить к работе. Я вернусь, и мы обязательно продолжим.

Сказав это, Лоскутников вышел. А я остался в кабинете писателя наедине с изумрудными глазами.

III

После того как дверь затворилась, лицо Софьи покрылось тем самым румянцем, который я заметил еще при осмотре портрета девушки. Я вновь взглянул на него, чтобы убедиться, что передо мной действительно стояла она, а после перевел взгляд на натуру. «Поразительно!» – думал я.

– Так, значит, вы уже ознакомились avec le roman du père?¹ – внезапно спросила девушка, перебирая шелковый подол зеленого цвета.

– Нет-с, не совсем... – как-то растерянно ответил я.

– А хотите, я вкратце расскажу вам, о чем произведение? – промолвила Софья, и ее изумрудные глаза заблестели так, что на секунду мне показалось, будто темный кабинет Лоскутникова наполнился светом.

– Буду рад, – кивнул я.

– Папенька преследует идеи романтизма, поэтому не удивляйтесь, когда заметите за его героями столь явную отрешенность от внешнего мира. Так вот, – в спешке продолжала она, будто боясь, что дверь вот-вот раскроется и наш диалог оборвется, – главный герой – дворянин, молодой офицер. В один момент разочаровавшись в людях, он готов разорвать все связи с внешним миром, так как не находит понимания в обществе. В целом роман построен на внутренних исканиях и частых разочарованиях героя, – пролепетала Софья на одном дыхании.

¹ С романом отца (фр.).

– Что ж, я тоже нахожу идеи романтизма особенными. Думаю, наше сходство в литературных интересах с вашим отцом – добрый знак.

После моих слов за дверью послышались шаги. Это был Лоскутников, он вернулся, и наше времяпрепровождение с Софьей закончилось.

Уходя, девушка на прощание сказала нечто неожиданное:

– А ватрушки, Лев Николаевич, вы обязательно попробуйте, во всем Петербурге лучше не сыщете!

Дверь вновь захлопнулась. Алексей Андреевич погрузился в массивное кресло и начал знакомить меня со своим романом. Но его слова не задерживались в моей голове, все мысли были лишь о ней: крохотные завитки светлых волос, острые черты лица, здоровый румянец и ключ к ее душе – глаза, ее глаза я был не в силах забыть.

* * *

День близился к концу. Ознакомившись с концепцией романа Лоскутникова и поработав над первыми главами, я осознал, что время пролетело незаметно, пора заканчивать. По словам Алексея Андреевича, на выходе меня ожидал личный извозчик писателя. Я поспешил покинуть дом, в котором провел целый день. Никодим помог мне собраться, за что я в благодарность сунул ему четвертак.

– Ну что вы, сударь, не стоит, – сказал он совершенно спокойно, вернув мне монету.

Меня это до жути смутило, поэтому я поспешил удалиться, выразив благодарность словами.

На улице я увидел крытую бричку, в которую были запряжены две вятские лошади. Кучер сидел на козлах, напевая себе под нос:

*Не для меня журчат ручьи,
Звенят алмазными струями,
Там дева с черными бровями,
Она растет не для меня.*

Увидев меня, он улыбнулся и спросил:

– Куда изволите, сударь?

– До начала Горохового, пожалуйста.

К концу дня погода испортилась. Дождь не щадил город. Мощные улицы блестели от влаги, прохожие искали место, чтобы укрыться, а деревья, словно люди, раздвигали ветки, как руки, и направляли свой взор к небу. Неужели осень все-таки победила? Я понял, что не успел вдоволь насладиться последними мгновениями лета. Моей душе необходимо было спокойствие, которое я мог обрести лишь в погожий теплый день, когда с улиц доносится щебет зябликов и в открытое окно за-

глядывают зеленые листья березы, лаская взгляд. В такой день можно выйти в сад, прогуляться среди деревьев и кустарников, отражающих солнечные лучи, а после сесть в тень и прочесть пару страниц немецкого романа... Тут мои мечтания внезапно прервались, так как бричка подскочила. «На кочку наехали», – подумал я.

– Приехали! – через некоторое время крикнул извозчик, и мы остановились.

Спрятав рабочие бумаги под сюртук, чтобы они не намокли, я неохотно вылез из коробочки на колесах, такой небольшой, но уютной. Подходя к парадной, я заметил, что в комнате отца свечи были погашены. В прихожей меня встретила Аксинья, она забрала мои бумаги. В ее глазах было волнение, которое меня насторожило.

– Госпожа ждет вас, – сказала она, уходя.

В гостиной я увидел мать. Она была бледна. Я понял, что напряжение в доме связано с состоянием отца.

– Теперь с кровью... – прошептала мать, не поднимая взгляда.

Я отвергал плохие мысли, поэтому, не желая вдаваться в подробности, развернулся и ушел в свою комнату. Пару дней назад врач поставил моему отцу *Mycobacterium tuberculosis*². Я прекрасно знал, что эта болезнь поражала многих, случаи бывали разные, но все же хотелось надеяться на лучшее.

На столе у меня был беспорядок, который остался после утренних сборов к Лоскутникову. Я сгреб все ненужные бумаги в одну стопку и зажег керосиновую лампу. Под подушкой лежал Новый Завет. В руки я брал его лишь по праздникам и в те моменты, когда нуждался в помощи, которую окружающие люди были не в силах оказать. В этот вечер я прочел Евангелие от Иоанна, положил книгу у изголовья кровати и закрыл мокрые глаза.

Было поздно. В полудреме я слышал, как Аксинья зашла, чтобы потушить лампу, как обычно, ворча себе что-то под нос, а у меня уже не осталось сил даже пошевелиться. Сон победил.

IV

Мне снилась комната, где я был один. Помещение было пропитано резким запахом ладана. Передо мной стоял стол, на котором лежал молитвослов в синем переплете. В углу, на полке, лежали женские кружевные перчатки. Я сидел на твердом стуле и не мог сдвинуться с места. Внутри была пустота, словно все мои органы незаметно и безболезненно вытащили. Под ногами валялись

² Туберкулез (лат.).

влажные комья земли, в них извивались грязные дождевые черви, пытаюсь зарыться и спрятаться. Они не могли понять, что эта малая часть почвы не способна укрыть и оградить их от ужаса, поджидающего повсюду.

Аксинья разбудила меня в девятом часу. Я чувствовал слабость, но, несмотря на это, был вынужден отправиться на учебу. Я посчитал нужным вернуться к занятиям, на которых не был довольно продолжительный период. Где-то до середины ноября мои будние дни проходили одинаково: в первой половине я посещал университет, а во второй работал с Лоскутниковым над «Особенным» — именно так он назвал роман.

Однажды после утреннего туалета я спустился в *salle à manger*³, как ее любил называть отец. Родители готовились к трапезе, для них каждый прием пищи был особенным, поэтому нередко за столом они появлялись в своем лучшем виде. Со стороны это выглядело довольно нелепо, сам я никогда не надевал свой лучший фрак просто для того, чтобы отведать гатчинской форели.

Я поприветствовал родных и поинтересовался состоянием отца:

— Как ваше самочувствие, рара?

— Готов поклясться, пойду на поправку! — задорно, что меня слегка удивило, ответил он.

После недолгого молчания последовал вопрос:

— А как обстоят дела с учебой?

Я смутился, так как стал часто пропускать занятия из-за стенографической практики, а о работе в доме писателя Лоскутникова я решил пока не говорить. Но отец словно что-то почувствовал. Разочаровывать его было нельзя, поэтому мне пришлось уверить его, что все в порядке. Я уже собирался выходить, когда Аксинья передала мне конверт, на котором синими чернилами аккуратно было выведено: «С. А. Лоскутникова — Л. Н. Осапину».

— Доставили утром, сударь, — сказала она.

Мне хотелось быстрее прочесть письмо, но я решил, что сделаю это по дороге в университет. Я схватил учебные и рабочие записи, которые ждали меня на комодике в прихожей, накинул на свой бархатный жилет черный сюртук, надел боливар и побежал вверх по Гороховой. В воздухе уже чувствовалось приближение зимы. Трава и деревья были покрыты инеем, а тонкий слой льда на лужах отражал холодные солнечные лучи. Природа постепенно готовилась ко сну. Поймав извозчика, я торпливо залез в повозку и развернул письмо. Оно было на французском.

³ Обеденная комната (*фр.*).

«Cher Lev Nikolaevich,

Je suis pressé de vous inviter à notre fête à la maison, qui aura lieu samedi à six heures. Papa invitera ses semblables par lettre, et puisque vous êtes également friands du concept de romantisme, je pense que vous serez extrêmement intéressant. Faites-moi une faveur, n'abandonnez pas, parce que, je suis plus que sûre, vous n'avez jamais essayé les gâteaux au fromage. Vous aurez une autre chance!

Votre Sophie»⁴.

Во время моих посещений дома Лоскутникова с Софьей мы встречались лишь взглядами, и каждый раз мое дыхание учащалось, а сердце билось быстрее. Получив от нее письмо, я несколько не удивился: что-то внутри меня давно ждало этого момента. Теперь мысли были лишь о предстоящем событии. Вернувшись домой после учебы, я приказал Аксинье накрахмалить парадное белье и подготовить мой лучший фрак к субботнему вечеру. В углу, опираясь на книжный шкаф, стояла трость из итальянского дерева, окрашенная в черный цвет. Ее мне подарила тетка на восемнадцатилетие. «Непременно возьму», — подумал я, осмотрев подарок. Этажом ниже отец сиплым голосом читал «Римские элегии», а мать тихонько всхлипывала, не желая тревожить меня.

V

Погода в ноябре чаще всего неустойчива, особенно под конец месяца, ведь на смену осени приходит новое время года со своими правилами. Метель — частая гостья Петербурга в это время. Она заглядывает в город холодными вечерами, когда мелкий морозящий дождик превращается в снежную крупу. Барышни достают из шелковых футляров бархатные салопы с меховыми отложными воротниками, считая приближение зимы отличным шансом покрасоваться в обществе. Мужчины тщательно подбирают пелерину из того же материала, что и фрак, или же делают выбор в пользу пальто на скрытой застежке с отворотами.

Я ехал в бричке на светский прием Лоскутникова и представлял, как там все может пройти. На подобных вечерах я бывал лишь дважды, и в основном они состояли из одних и тех же занятий: прием пищи, курение табака в больших количествах, игра в штос и, конечно, танцы.

⁴ Уважаемый Лев Николаевич! Спешу пригласить Вас на наше домашнее застолье, которое пройдет в субботу в шесть часов вечера. Рара пригласит своих единомышленников по письму, а так как Вы тоже увлекаетесь концепцией романтизма, думаю, Вам будет предельно интересно. Окажите мне услугу, не отказывайтесь, ведь, я более чем уверена, Вы так и не попробовали ватрушки. У вас будет еще один шанс! Ваша Софья.

Извозчик остановил лошадь, я повернул голову направо и увидел розу со сломанным шипом, которая плавала в лунном свете. Я заплатил четвертак и направился к парадной.

Здесь, как я и ожидал, меня встретил Никодим и помог снять пальто. У входа находилось зеркало, я взглянул на свое отражение, поправил завитую прядь, выскочившую из массы черных, уложенных помадой волос, и отряхнул фрак. В конце коридора я разглядел женский силуэт, это была Вера Михайловна. Она умиротворенно плыла мне навстречу; видно, подобные мероприятия доставляли ей настоящее удовольствие. Ее пурпурное платье покрывали узоры, вышитые серебром, талия была утянута корсетом, а тонкие морщинки возле глаз выделялись как-то по-особенному. Когда Вера Михайловна приблизилась ко мне, я почувствовал резкий запах духов Альфонсо Ралле, предназначенных для морозной погоды. Мне нравилось улавливать хрустальные нотки аромата «Парфюм де фурор» на улице среди прохожих дам, но в помещении этот запах показался мне неприятным.

– Bonsoir, Monsieur Léo! Entrez dans le salon⁵, – сказала Вера Михайловна и протянула мне флюте с «Родерер Силлер».

В гостиной расположился струнный квартет. Музыканты играли арию из сюиты Баха D-dur, написанной для двух скрипок, альты и баса континуо. В детстве я получил хорошее музыкальное образование по классу фортепиано; моя гувернантка была немкой, она-то и познакомила меня с творчеством этого композитора. Анна часто исполняла арию для альты из оратории «Страсти по Иоанну». Я до сих пор вспоминаю ее бархатный голос, который мог заворожить любого.

В квартире Лоскутникова было достаточно места, для того чтобы устроить настоящий светский прием. Меня окружали совершенно незнакомые люди, похожие друг на друга. Я подслушивал их разговоры, расхаживая по гостиной с важным видом, и пытался понять род деятельности каждого. Внезапно послышался легкий звон. Это Вера Михайловна стучала серебряной ложечкой для икры по наполненному пустому фужеру.

– Mesdames et messieurs, merci de nous honorer de votre présence. S'il vous plaît bienvenue! Hôte de la soirée accompagné de sa fille Sophie!⁶

Она изъяснялась так громко, что мужчина, стоявший рядом со мной, невольно стал жмуриться.

⁵ Добрый вечер, господин Лев Николаевич! Проходите в гостиную (фр.).

⁶ Дамы и господа, спасибо, что оказали нам честь своим присутствием. Встречайте! Хозяин вечера в сопровождении своей дочери Софьи (фр.).

Тут же гости перевели взгляд на лестницу, по которой спускался Лоскутников и вел под руку дочь. Со всех сторон раздались возгласы восхищения. Однако я заметил, как некоторые дамы в кринолине осматривали Софью Алексеевну с каким-то недовольтством. Алексей Андреевич был одет в элегантный фрак, сшитый из черного крепа, с привлекающими к себе внимание матовыми лацканами. Басонные пуговицы имели резные узоры, что показалось мне несколько излишним. Как только я взглянул на Софью, тут же понял, почему женская часть общества смутилась при ее появлении. Она была прекрасна. Светлое барежевое платье на античный манер подчеркивало тонкую талию под грудью. На руках у нее были белоснежные кружевные перчатки, придающие этой части тела особо изящную форму. Волосы девушки были собраны в причудливый пучок, и лишь небольшие локоны завиты у висков.

– Добрый вечер, Лев Николаевич, очень рад-с, что вы пришли, не терпится познакомиться вас с моими collègues!⁷ – сказал Лоскутников, пожимая мне руку.

Софья прошла за ним, остановилась, увидев меня, сделала легкий реверанс и мягко улыбнулась.

– Прошу всех пройти к столам! – прозвучал голос Веры Михайловны среди общего гула.

Пока гости неторопливо шли в сторону обеденной комнаты, ко мне подбежала Софья и задала довольно странный вопрос:

– Вы голодны, Лев Николаевич?

Я, действительно, не был готов к вечерней трапезе, так как запах женских духов вперемешку с мужским одеколоном напрочь отбивал аппетит.

– Сказать честно, нет, сударыня.

– А пойдемте, я покажу вам наш зимний сад, пока приятели папеньки не пожаловали туда, чтобы выкурить по египетской папиросе.

– Но разве мы вправе оставлять всех? – спросил я с недоумением.

Ничего не ответив, она схватила меня за руку и потащила за собой. На улицу нам пришлось выйти без верхней одежды, чтобы не привлекать лишнего внимания. На заднем дворе дома Лоскутниковых располагалась оранжерея. Как объяснила мне Софья по дороге, построена она была по ее прихоти, так как девушка хотела в любое время иметь возможность насладиться прелестью цветов. Это место, действительно, напоминало сад, лишь ощутимая прохлада, проникающая через щели строения, разрушала этот образ.

В полной тишине мы бродили по мощеным тропинкам среди разных растений. Через некото-

⁷ Коллеги (фр.).

рое время я посмотрел на Софью. Кончик ее вздернутого носа слегка покраснел, а от алых губ шел пар. Она улыбалась, как ребенок, когда замечала цветочные бутоны, которые вот-вот распустятся.

– Так, значит, вы учитесь в Императорском университете? – спросила девушка.

– Да.

– А античную литературу преподают студентам?

– Конечно.

– А что вам больше всего импонирует?

– Из античности? Я не раз перечитывал «Метаморфозы»...

– Овидий – замечательный поэт! – перебила меня Софья. – Мне очень нравится легенда о Пираме и Фисбе в его описании.

– Так и вы знакомы с античной литературой? – удивился я.

– Совсем малость, беру из библиотеки тамап, там довольно много старых книг... История этих влюбленных тронула меня до глубины души. Обстоятельства погубили их, и это ужасно, но любовь их осталась вечной, а значит, на то есть воля свыше... – сказала она и перекрестилась.

Мы снова замолчали, но тут Софья Алексеевна едва не упала. Я успел подхватить ее под руку. Она выпрямилась, отряхнулась и подняла голову. Наши глаза были прикованы друг к другу. В ее взгляде я видел глубину, которая завораживала меня все больше и больше. Я невольно потянулся вперед, и через мгновение наши губы соприкоснулись в горячем поцелуе.

Время остановилось. Я почувствовал, как жар ударил мне в голову. После того как я открыл глаза и сделал шаг назад, я увидел, что лицо Софьи залилось краской, а глаза блестели от собравшихся слез.

– Прошу прощения, Софья Алексеевна! Клянусь, я не хотел... – сказал я искренне – и солгал.

Я желал этого с нашей первой встречи. Чувства захватили меня, и совладать с ними было невозможно.

– Лев Николаевич, не стоит извиняться... Ах, господи! Все в порядке, правда... Я лишь боюсь одного...

– Не переживайте, ваш отец никогда не узнает об этом.

– Я боюсь, что сейчас меня разбудит Никодим, и все это исчезнет, – закончила она мысль и ясно улыбнулась.

Я достал из кармана жилетки платок и вытер слезы, катившиеся по ее щекам. Она засмеялась.

– Думаю, нам пора возвращаться, – сказала Софья.

Весь оставшийся вечер мы танцевали, обращая на себя внимание окружающих. Во время мазурки все взгляды были прикованы к Софье: она легко неслась вперед и громко смеялась. Я кружил ее, падал на одно колено и заставлял девушку танцевать вокруг меня. После финального *coup de talon*⁸ гости начали аплодировать и дружно кричать: «Bravo!»⁹

VI

Я возвращался домой в третьем часу. Улицы утопали в лунных лучах, холодный ветер завывал в переулках и кружил легкие снежинки, покрывающие дороги и тротуары. Чувство глубокого удовлетворения от прошедшего вечера переполняло все мое существо.

Подъехав к дому, я заметил, что не во всех комнатах погашены свечи, а из покоев отца льется тусклый свет. Поднявшись на крыльцо, в ночной тишине я услышал шорохи за входной дверью. Отворив ее, я увидел Аксинью. Она металась из стороны в сторону, не находя себе места.

– Батюшка Лев Николаевич! – завопила она сквозь слезы, увидев меня.

Все было понятно без слов. Я побежал вверх по лестнице, не чувствуя под собой ног. Остановившись у комнаты отца, некоторое время я не решался войти. Когда же наконец отворил дверь, в глазах помутнело и в голову ударил резкий запах ладана. Кровать отца обступили силуэты с огоньками, мне с трудом удалось узнать в них своих родных. На матери не было лица, из ее глаз катились слезы, она стояла безмолвно, глядя на пламя свечи в своих дрожащих руках. Петр Степанович, родной брат моего отца, остановился у нас пару дней назад с Пульхерией Александровной, своей супругой, и тремя детьми, чтобы проведать больного. На их бледных лицах просматривался тихий ужас, младшие девочки пытались спрятаться за подол матери, а старший сын тихонько всхлипывал и смиренно стоял со свечой, которая изредка капала воском на его мягкие руки. За мной зашла Аксинья, она протянула мне свечу и сказала лишь одно слово: «Молитесь».

У изголовья кровати стоял священник. Он читал отходную молитву:

– Приходит игумен, к мирскому же отец его духовный, и вопрошает, аще есть кое слово, или дело забвения ради, или студа, или кая злоба к коему брату неисповедана, или непростена есть, вся

⁸ Удар пяткой (фр.).

⁹ Bravo (фр.).

должен есть изыскивать и вопрошати по единому умирающего...

Внутри была пустота. Не хотелось принимать то, что совершается сейчас, но и умалять значение происходящего было невозможно. Я перевел взгляд на отца. Он тяжело дышал, кожа стала бледной и словно обтянула все кости. Беспокойно осматривая стоящих вокруг него людей, он задержал свой взгляд на мне. Тогда я почувствовал, как холод постепенно начал одолевать мое тело. Не выдержав, я вышел вперед, припал к изголовью и тихо зарыдал.

Священник тем временем продолжал чтение канона:

– Пресвятая Троице, помилуй нас; Господи, очисти грехи наша; Владыко, прости беззакония наша; Святыи, посети и исцели немощи наша, имене Твоего ради.

Отец с трудом поднял руку и прикоснулся к моему лицу. Холод, исходящий от его ладони, пронзил насквозь. Отец смотрел на меня безжизненными глазами и гладил по щеке.

– Прости... – захлебываясь в слезах, прошептал я.

Он слабо кивнул, и его веки начали опускаться.

– Приидите, поклонимся Цареву нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Христу, Цареву нашему Богу. Приидите, поклонимся и припадем Самому Христу, Цареву и Богу нашему.

Петр Степанович помог мне подняться и отвел в сторону. Через мгновение раздался душераздирающий крик матери. Она не была готова его отпустить. Дядя прижал ее к своей груди и что-то шептал на ухо. Дети вонзились в подол Пульхерии Александровны, которая стояла в оцепенении, и начали горько плакать. Маленькие ангелы стали невольными наблюдателями судьбы... Она не спрашивает людей, как будет лучше для них. В жизни человека предопределено все с самого рождения, изменить ничего нельзя, а значит, все происходящее не случайно. Я не чувствовал ничего. В голове крутилась лишь одна фраза, которую произнесла Софья пару часов назад: «Значит, на то есть воля свыше».

VII

Через три дня мы похоронили отца на Новодевичьем кладбище. Был жуткий ветер, который буквально леденил лицо. Процессия медленно двигалась по Забалканскому проспекту в сопровождении мортусов. Они вели лошадей, тянущих за собой катафалк, за подвязанные к уздечкам белые шнуры с кистями. Сзади брела масса народа, среди которого, как мне показалось, я заметил знако-

мое лицо, но из-за своей растерянности, обострившейся в последние дни, я тут же забыл, кого поймал взглядом.

Тогда я был нужен матери. Она сильно похудела, на висках проступила седина, а взгляд стал болезненным и потухшим. Ее сухие губы приходили в движение лишь во время чтения молитвы, в другое время она предпочитала молчать. Принимать пищу тоже отказывалась, из-за чего становилась все слабее. Ее единственным утешением было мое присутствие.

Через неделю я постепенно стал приходить в себя. Как-то, возвращаясь домой после воскресной службы, мы шли в тишине, как вдруг мать спросила:

– Кто это, Лева?

Она сказала это почти шепотом и указала пальцем вперед.

Около нашего дома я увидел женский силуэт. Одетая в отделанный мехом по воротнику и подолу салоп девушка топталась на одном месте. Когда мы подошли ближе, я узнал в ней Софью. Повернувшись, она вцепилась в меня беспокойными глазами и торопливо зашагала к нам навстречу.

– Маменька, это Софья Алексеевна, дочь Алексея Андреевича Лоскутникова, писателя, – спокойно сказал я.

Софья молча подошла к моей матери, обхватила ее шею руками, и они обе тихо заплакали.

На пороге нас ждала Аксинья. В нашей семье она всегда занимала особое место. Теперь, в этот трудный период, она все свое время посвящала матери, присматривала за ней, как за ребенком. Встретив нас, Аксинья отвела мать в ее спальню, а я и Софья прошли в гостиную. Мы остались наедине.

– Лев Николаевич, мне очень жаль. Рара просил передать вам это, – сказала она после непродолжительного молчания.

И протянула мне книгу «Страх и трепет». Ее руки дрожали.

– Работа над романом не возобновится до того момента, пока вы не будете готовы, – добавила она тоже от имени отца.

Я молча смотрел на нее, путаясь в мыслях.

– Я была там, – продолжала Софья. – Мы даже пересеклись с вами взглядами, но тогда я не решилась подойти и посчитала нужным остаться в стороне.

«Так вот чье лицо мне показалось знакомым!» – подумал я. Боль утраты настолько одолела мой разум, что я не смог отличить Софью среди общей толпы.

– Мы уезжаем, Софья Алексеевна, – наконец произнес я.

– Как? Куда? – Ее лицо искривилось от недоумения. – Насовсем?

Я кивнул. Мы приняли решение уехать за границу через пару дней после смерти отца. Вся ответственность за семью легла на мои плечи. Пока мне было сложно справляться с этим в одиночку, поэтому мать предложила оставить Петербург и уехать в то место, где есть люди, всегда готовые нам помочь.

– Я поеду с вами, Лев Николаевич! – твердо заявила Софья.

– Нет, не стоит. Ваша жизнь здесь, вы не обязаны бросать все из-за...

Не дослушав, она подбежала и крепко обняла меня. Я вспыхнул. За последнее время я ни разу не чувствовал такого человеческого тепла, которым дышала Софья.

– Вы нужны мне, а я вам, – шептала Софья, уткнувшись мне в грудь.

Именно тогда я понял: куда бы я ни направился, она будет рядом, она моя опора. Нас связывало нечто большее, чем симпатия. Когда она со мной, моей душе легко, я чувствую тепло изнутри, ощущаю спокойствие. Отец всегда говорил: «Твой ангел-хранитель, Лева, никогда не оставит тебя, так как ваши души навечно связаны». И теперь, мне кажется, я встретил его, своего ангела-хранителя.

ЭПИЛОГ

Осапины и Софья Алексеевна остановились в Дрездене у родственников. Акси́нья при всей своей любви к этой семье не смогла проследовать за ними.

Состояние Анны Сергеевны после переезда не улучшилось. Каждый день она совершала пешие прогулки на свежем воздухе в сопровождении Софьи, которая заменяла ей Акси́нью. Дочь Лоскутникова стала поддержкой не только для Льва Николаевича, но и для его матери. По воскресеньям они вместе посещали церковь Святого преподобного Симеона Дивногогорца.

Через три года Анна Сергеевна умерла от скарлатины. Ее похоронили здесь же, в Дрездене. Лев Николаевич и Софья Алексеевна вернулись в Россию. Они стали жить в доме Лоскутниковых и в скором времени обвенчались, а через год на свет

появился их сын Николенька, которого называли в честь отца Льва Осапина.

За несколько лет Софья очень изменилась. Черты ее лица стали более мягкими, а выражение – более серьезным. Она перестала часто появляться в обществе, почти все свое время уделяя сыну. Материнство украшало ее, она видела смысл жизни в служении семье.

С появлением ребенка изменилась не только Софья. Лоскутников считал своим долгом дать Николеньке все для хорошего образования, поэтому с трех лет мальчик начал знакомиться с основами русского языка и литературы, с четырех ему стали преподавать иностранные языки, а с пяти – естественные науки. А еще, по настоянию Льва Николаевича, Николенька брал уроки игры на фортепиано. Отец умилялся, наблюдая, как маленькие ручки легко скользят по клавишам, создавая музыку. Он видел в сыне маленького себя, который с трудом умещает в ладонку целую октаву, но, несмотря на это, старается изо всех сил.

Начатый роман Лоскутникова «Особенный» так и не был закончен. Писатель многое обдумал за эти годы и понял, что идея текста не соответствует его настоящим убеждениям. Под влиянием всех изменений он принялся за написание нового произведения. Это был автобиографический роман, который подробно демонстрировал жизнь в движении. Стенографиста менять автор не собирался, поэтому за год совместного труда со Львом Николаевичем текст был написан и опубликован по частям в «Русском вестнике».

Сам Лев Николаевич тоже переосмыслил многое. Судьба забрала его родителей, но взамен он получил счастье, олицетворением которого являлись его супруга и сын. В первую очередь он старался делать все для их благополучия. Лев Николаевич вернулся к деятельности стенографиста, а в свободное от работы время уделял все внимание Софье Алексеевне и Николеньке.

Никто на свете не в силах управлять судьбой. Нужно уметь принимать то, что тебе дается. Да, порой это бывает непросто, но время всему судья. Хочет того человек или нет, он не сможет организовать свою жизнь так, как угодно ему, ведь на все есть воля свыше.

29 августа 2021 г.



**Валентина
ПЛЕТТ**

КАФЕ

Рассказ



Я вошел в чистую, уютную комнату, которую наполнял кофейный аромат. За столиком недалеко от двери стояли улыбчивый хостес и милая официантка с хвостиком на голове, которая махала мне рукой еще до того, как я оказался внутри. Я несколько раз приветливо кивнул ей, показывая, что больше нет никакой необходимости махать мне: я уже здесь и заметил ее, я не уйду. Улыбнулся и кивнул хостесу. Парень за столиком редко разговаривал, поэтому никто особо и не старался завести с ним разговор. Официантка быстро схватила какие-то бумаги и поспешила ко мне, по дороге спотыкаясь из-за своей неуклюжести и торопливости. Еще мгновение, и вот она стоит передо мной и смотрит на меня.

– И сегодня в Ягодную комнату? – сразу радостно затараторила она.

– Да, – с улыбкой ответил я и покачал головой: – А чего это мы не здороваемся?

– Здравуются, чтобы человек не болел, а у вас сил и так хоть отбавляй! – выпалила официантка, одернув красный сарафан.

Меня всегда забавляла странная форма официанток: красные и синие сарафанчики хоть и были шиты наскоро, но прекрасно смотрелись на девушках. Мало что переделывалось с самого открытия кафе, вот и эти сарафанчики оставались прежними, ведь персонал с открытия совсем не менялся, разве что я появился позже.

Наряды парней были попроще: черные брюки, такой же черный фартук, белоснежная рубашка и

самые разные галстуки. Все, кроме галстуков, можно было купить в обычном магазине деловой одежды.

– Ладно-ладно, надеюсь, что ты права, – мягко ответил я и направился к двери, расположенной как раз за тем столиком, где стояла она и до сих пор стоял хостес, дружелюбно улыбаясь всем на свете.

33

Официантка вприпрыжку, словно ребенок, который везде следует за своим отцом, устремилась за мной. Недалеко от двери в Ягодную комнату висел указатель: «К сожалению, Фруктовая комната сегодня не работает». Это объясняло, почему я сегодня должен находиться не в ней, как планировалось, а в Ягодной.

Открыв дверь, я сразу увидел, что охрана тащит кого-то к выходу, тот изо всех сил пытается вырваться, но против здешней охраны такое не пройдет. Через несколько секунд красномордого нарушителя общественного порядка проволокли мимо меня. Тот кричал что-то неразборчивое. Я переступил порог и немного посторонился, чтобы не мешать охране. И, уже зайдя в комнату, понял, что это был Томат. Он сопротивлялся и все твердил, что он тоже ягода, но что-то ему не сильно верили.

Когда их фигуры скрылись за поворотом, мое внимание переключилось на посетителей и персонал. Народу было мало, поскольку рабочий день только начался, при этом все мои коллеги уже были на местах. Увидев меня, Черничка спокойно кивнула и продолжила заниматься своими делами,

ПЛЕТТ Валентина Александровна родилась 2 сентября 2004 года в г. Находке. Занималась в литературном кружке «Кипятильничек» городского классического лицея. Учится в школе № 45. Дипломант первого регионального молодежного литературного фестиваля-конкурса «Оперение». Живет в Кемерове.

а Красная Малина сделала вид, что и вовсе меня не заметила, хотя была совсем рядом и почти ничем не занималась; официантка, встретившая меня, Вишенка, тоже сразу вернулась к своим обязанностям. Я направился в раздевалку, чтобы переодеться и взяться за работу, которая заключалась в том, чтобы готовить кофе, наливать напитки посетителям или смешивать их, если это был коктейль.

Переодевшись, я сразу пошел на место. За барной стойкой уже сидело несколько ягод: кто-то энергично что-то обсуждал, кто-то тихо сидел, потягивая свой кофе. Обычно, когда я опаздываю, меня заменяет один из официантов, поэтому мои опоздания не так плохо сказываются на работе кафе.

– Разве сегодня ты не работаешь во Фруктовой комнате? – поинтересовался Изюм, постоянный посетитель.

Обычно он сидел за барной стойкой, я составлял ему компанию. Мы с ним часто виделись, и нам всегда было о чем поговорить.

– Нет, она сегодня не работает, – пояснил я.

– Точно... Кажется, говорили, что там что-то случилось... – произнес он, как-то странно искривив морщинки на своем лице.

– Правда? Ох, надеюсь, что ничего серьезного, – вздохнул я.

– Если бы. Поговаривают, что там произошло кое-что посерьезнее того прошлогоднего инцидента с оливками, – сказал Изюм шепотом, чтобы никто не услышал.

– Как?! Серьезнее того происшествия?! – вскрикнул я.

Посетители, что сидели недалеко от нас, просительным образом посмотрели на меня.

Я помахал руками, дескать, ничего-ничего. А потом, наклонившись к морщинистому лицу собеседника, спросил тихо:

– Так... и чего там?

– От Груши слышал, что в этом замешаны Апельсин с Ананасом. В прошлый вторник там... – Но не успел Изюм договорить, как его тут же обрвали.

– О чем вы тут болтаете? – вмешалась в наш разговор Вишенка.

– Да так, пустяки! – ответил я, не желая вовлекать ее во что бы то ни было, ведь она могла переполошить все кафе.

– Как так «пустяки»? Изюм Сухофруктович, может, вы мне скажете? – Вишенка повернулась к нему и стала смотреть на него заискивающе.

– Ой, как же быстро летит время! Мне уже пора! До свидания!

Изюм надел пиджак, шляпу и поспешил к выходу из Ягодной комнаты. И так всегда: вот происходит что-то непонятное и не очень приятное, а его уже нет. Снова бросил меня одного, но оно и к лучшему.

– Вот так и выходит, прости, – улыбнулся я Вишенке, положив свою руку на ее.

– Да ну вас! – Она выдернула руку и ушла.

– И вот я снова один... – сказал я сам себе и усмехнулся. – Ну, ничего. Продолжим еще не начатую работу.

Некоторое время я действительно пытался трудиться, но было ясно, что такая работа – это не совсем мое. Краем уха я услышал очень любопытный разговор. Два посетителя вспоминали о давнем времени, той поре, когда разделение между фруктами и ягодами было еще сильнее, – о военном времени.

– Сейчас-то уже спокойней, а раньше-то что было, – говорил Крыжовник. – Нас отправили в патруль на окраину одного из самых спокойных городов. Я, друг и еще пара ребят. Ночь обещала быть тихой, но, как ты сам можешь догадаться, она и не собиралась выполнять обещанного...

Крыжовник обращался к Арбузу, который сидел рядом и внимал ему с большим интересом. Я подошел ближе, чтобы лучше слышать, при этом делая вид, что чем-то занят. А Крыжовник продолжал:

– Где-то в три часа ночи послышались выстрелы: враг был уже рядом. Мы достали все оружие, что только у нас имелось, послали гонца с просьбой о подкреплении и приступили к обороне города.

– Сколько их было? Кто это был? Вы выжили?

Арбуз засыпал рассказчика вопросами, в том числе глупыми. Ведь ясно, что нападавшие были фруктами.

– Не перебивай, – осадил собеседника рассказчик. – Поспешишь – только фрукты насмешишь.

Арбуз затих.

– Через час началось сражение с банановым войском, – продолжил Крыжовник. – Помню лицо друга, будто это было только вчера: весь побитый, в царапинах, из которых маленькими струйками выливался сок, он прорубал себе путь к их командиру. Мякоть врагов пачкала темный мундир, но с этим мы не могли ничего поделать: это была единственная форма, выданная нам в ту ночь, ведь в городе был праздник... Оставляя за собой банановую кашу, мой друг наконец добрался до их предводителя, но... У них было оружие, запрещенное по мирному соглашению еще в пятом семидесятилетия! Они превратили голову моего друга в варенье с помощью засахаренного в пыли пулемета!..

После осознания всей ситуации нам пришлось отступить и отдать им город. Победа была на их стороне, и я никогда не сотру из своей памяти ту кашу, которую заварило банановое войско. Подкрепление так и не дошло до нас. А наутро, подав рапорт туда, куда нужно, мы...

– Хей! Ты вообще будешь сегодня работать, бездельник? – крикнула мне Малина.

Я дернулся от неожиданности. Официантка сердито смотрела на меня.

– Но я же работаю. Видишь, протираю, – кивнул я на барную стойку.

– Ага, конечно, ты уже полчаса трешь одно и то же место. Дыра еще не появилась?

– Да вроде нет... – Я поднял тряпку и посмотрел под нее.

– Ха-ха, как смешно. – По ее тону было понятно, что это сарказм. – Ладно, в любом случае займись делом! Два американо с кокосовой стружкой!

– Сейчас же будет исполнено, моя госпожа. – Я немного поклонился ей и пошел к кофемашине.

Почему-то Малина всегда меня недолюбливала, отчитывала – я к этому уже привык. Едва устроившись на работу в это кафе, сразу заметил, какая

она серьезная. Когда я шучу, только она не смеется. Не ходит с нами в караоке, обедает где-то вдали от персонала. Однажды я даже задумался, обедает ли она вообще. И решил последить за ней. Оказывается, она уходит на уличную лестницу и обедает там, а в оставшееся от перерыва время смотрит на облака. Я нечаянно выдал себя: собрался уже уходить, как что-то упало рядом, и она меня заметила. Тут же окликнула и начала отчитывать, а когда закончила, предложила посмотреть на облака вместе с ней. Это было неожиданно, но я согласился.

– Кхххх! – прозвучало из кофемашин: напиток был уже готов.

Я взял два стаканчика кофе, посыпал кокосовой стружкой и отдал Малине.

– Всего-то! – возмутилась она, забирая у меня стаканчики.

С того случая на лестнице прошло уже где-то полгода, и она ведет себя еще холоднее по отношению ко мне. Странная девушка.

Я запрокинул голову, прокричался у себя в голове, а потом громко, на всю комнату, заявил:

– Сегодня скидка на кофе с кокосовой стружкой!



**Вера
ДОРДИ**

ОЖЕЛЕДЬ



ВЫБОР

*Ты говоришь, снега и маябри
забудутся, лишь дверцу отвори,
что видимо-невидимо широких
путей туда, где людям повезло,
и проклинаешь весело и зло
страны моей несметные пороки.*

*А я нарежу сыр и черный хлеб
и не скажу, насколько ты нелеп,
когда кричишь про свой нелегкий выбор.
Послушал бы, как в сумраке густом
стихает лес за стареньким мостом
и гулко отмечает: «выбыл, выбыл».*

*Пока рассвет еще неразличим,
давай на посошок и помолчим.
Остаться – невеликая причуда.
Я, может, и уехала бы, но
зачем же сокрушаться об ином –
что все не то, чем кажется отсюда.*

*А ты, когда истают фонари,
соври мне, обязательно соври,
что где-то там, в своем любимом кресле,
хоть ненадолго станешь уязвим,
когда шепнет залетный серафим:
«А если бы остался ты, а если?»*

*Что нежностью затопит до виска –
почудится, до явности близка,
отчизна. И, простив ее изъяны,
сорвешься перетянутой струной –
увидеть бы не рай свой островной,
а этот лес и мостик деревянный.*

ОЖЕЛЕДЬ

*Неважно, кто из вас перевернул
последний лист, но девочка уходит.
Боишься расплескать свою вину –
ты ей не нужен или неугоден,
как больше не волшебный чипидейл
с наборами непрошенных идей,
как зайка вислоухий на комодке.*

*И все бы ничего, но при любом
раскладе ты уже не лучший папа,
и болеутоляющий альбом
нелепой книжкой покатился на пол.
Ты говорил, позволь себе, позволь
на фото посмотреть, забей на боль,
да только по живому оцарапал.*

*Бывал же этот мир несуетлив
и в гамаке покачивался тонком,
а где роняли косточки от слив,
тянулся сад доверчивей ребенка,*

36

ДОРДИ Вера родилась в Барабинске Новосибирской области, выросла в украинском Мелитополе. Преподавала химию и биологию, занималась предпринимательством. Стихи начала писать в 2018 году. Лауреат международных конкурсов «Русский Гофман», «Чемпионат Балтии». Публиковалась в альманахе «Русский Гофман», журнале «Сибирские огни». Участник межрегионального совещания авторов Сибири и Дальнего Востока. Живет в Новосибирске.

бегущего по дням и по часам.
И кажется, недавно причесал,
поправил белый бант над шейкой тонкой,

а время отзвенело и стекло
неведомо куда с часов настенных,
и абажура желтое стекло
уже не сердце солнечной системы.
И можно все – хоть шепотом завой,
но только не позвать: «пора домой»,
и ты не понимаешь, где же, где «мы»,

слетевшие с намеченных орбит
туда, где даже прошлое не довод.
Прислушайся, там сад с тобой скорбит,
тоскует и протяжно, и медово
которую безликую весну,
напоминая: «точно не уснул?» –
а вдруг она прийти к тебе готова

за непроизносимым «пожалеть»,
за позабытым вкусом урожая?
Так незнакомо злая ожеледь
в ее глазах блеснет, не исчезая
до той поры, пока ты тихо не
прошепчешь то, что мучило во сне:
«Иди же, взрослая, моя чужая,
иди ко мне».

ЖИЛИ-БЫЛИ

Он прижимал меня к груди,
меня и куклу Олю.
Потом стоял совсем один
и на мое «не уходи!»
поморщился от боли.
Он протянул мне пирожок
и с видом виноватым
сказал: «Вот вырастешь большой...»
Еще запомнилось про шок
и про какой-то фатум.

И все казалось не всерьез,
так странно и тревожно.
А поезд нас куда-то вез,
соленным от беззвучных слез
был пирожок творожный.
«Никто не дернул за стоп-кран», –
шепнула мама тихо,
а я смотрела на стакан,
на удивительный стакан
с какой-то уткой дикой.

Еще не ныло день-деньской
невынутое жало.
Был неприкаянный покой
под теплой маминной рукой,
и ложка дребезжала
о том, что «жили-были» – ложь,
запущенная в небо,
и мир нисколько не хорош,
а это – «вырастешь, поймешь» –
очередная небыль.

И смех, звучащий за стеной,
и острые осколки,
и сон, где я бегу домой,
как поцелуй судьбы самой,
спасительный и долгий.

ПОГОВОРИ

Там желтоватая слегка
посуда в трещинах,
и руки в темных узелках
еще не скрещены,
не отдыхают на груди,
не ждут отплытия,

покуда ангел не трубил,
там неприкрытая
недолюбовь глядела вдаль
глазами блеклыми,
а мир, потерянный янтарь,
сиял за стеклами.

Она не помнила числа
и даже имени,
я тихо рядышком росла –
любви, любви меня.
Дарила ей календари
с луной и зебрами –

хоть раз со мной поговори,
и были первыми
ее последние слова:
«меня запомните»,
что, различные едва,
остались в комнате.

Как будто вышла по делам
по снежной кашнице,
а вместо – новенький диван,
зеленый кажется.

Поздравляем нашего автора с 80-летним юбилеем! Желаем здоровья и всяческих успехов в его многогранной творческой деятельности!

Анатолий КУЛЕМЗИН

Рассказы



ДУША ЕСТЬ У ВСЕГО

Однажды в детстве возвращался я с рыбалки берегом реки и увидел, как около зарослей ивняка, затапливаемых в половодье, копошится знакомый – дядя Федя.

– Эй, парень, – окликнул он меня, – помоги мне корягу из завала вытащить. Зацепил ее корнями старый пенек, никак не хочет отпустить. И че им надо было спутаться?

Дядя Федя выворачивал из-под пня, тоже принесенного половодьем, застрявшие ветви коряги, и они при этом издавали не то скрежет, не то стон.

– Ишь ты, жалуется. А че жалиться-то? Радоваться тебе, дуре, надо. Сейчас тебя освободим.

Он обрубил с коряги лишние сучья, мы вызволили ее из плена и погрузили на телегу. Дядя Федя присел на край телеги, снял кепку и вытер полую пиджака лицо.

– Вот теперь ей тут будет хорошо.

– Кому хорошо?

– Коряге этой.

– А почему дереву хорошо?

– Да так, хорошо, и все. Лошади хорошо, нам хорошо, и коряге тоже хорошо. Лежит сей-

час на телеге, а ведь думала, что не вытащу. Совсем тут зазимовать собралась. А теперь вот у меня во дворе полежит, отдохнет немного, и раскряжю я ее к зиме на дрова.

– Дядя Федя, а сейчас она о чем думает? – поддержал я разговор.

– А че ей сейчас думать? Лежит себе спокойно на телеге и гадает, куда мы ее повезем. Наверное, догадывается, что к чему.

38

Когда открывали ворота, те жалобно за скрипели.

– Застонали, старые стали, вот и плачут, – сочувственно пояснил хозяин. – Всему приходит время. Вот и у меня стали ноги скрипеть.

Корягу свалили с телеги, я помог оттащить ее в сторону. Вдвоем мы сели на крыльцо отдышаться. Из дома прямо пахло чем-то вкусным. Дядя Федя зашел внутрь и через минуту вернулся, держа в мозолистых ладонях несколько ватрушек.

– На вот, возьми ватрушки за работу, – сказал дядя Федя. – Тетя Таня напекла. Вон как они на тебя смотрят, ажноль улыбаются. Сам съешь да домой отнеси.

Я жевал ароматную ватрушку и смотрел на старую корягу. Представил, что не всегда она

КУЛЕМЗИН Анатолий Михайлович родился в 1941 году в с. Долгово Новосибирской области в семье сельских учителей. Детство прошло в с. Усть-Серта Кемеровской области. Окончил исторический факультет Кемеровского государственного педагогического института, защитил докторскую диссертацию. Профессор, работает в Кемеровском государственном институте культуры. Создал кафедру музееведения. Имеет около 200 опубликованных научных и учебно-методических работ. Отмечен областными, федеральными и международными наградами. Печатался в журнале «Огни Кузбасса», поэтическом сборнике «Профессорские шалости», «Литературном журнале КемГУКИ». Живет в Кемерове.

была такой. Когда-то, наверное, стояла веселым молоденьким деревцем на берегу реки и приветствовала проплывающих мимо рыбаков, помахивая ветками. Мечтала, что, когда вырастет, поплывет весной вместе со льдинами далеко-далеко, к самому синему морю. И действительно, поплыла, но на пути ее в густом кустарнике встретился пенёк с раскоряженными корнями и ухватил за ветви. Так и пролежала она с этим пнем долго-долго. И теперь уже никогда не побывает у синего моря, не увидит белых кораблей, а холодной зимой превратится в дым, вылетит через трубу и проплывет сизым облачком над берегом, где лежала в обнимку с коряжистым пнем.

ПРОСТО СОБАКА

Она металась между коров, жующих свежую отаву, лая на них залиvisto, но не зло. Я брел со спиннингом в руке по заливному, давно выкошенному лугу. Тем временем собака, обходя с фланга разбредаящееся стадо, поравнялась со мной. Небольшая, невзрачная дворняга, худая, с настороженными глазами. Ушки внимательные – торчком. По привычке дружелюбным жестом я поманил ее к себе. На долю секунды она замешкалась, зыркнула на меня мимоходом и понеслась дальше, обходя стадо с другой стороны.

На следующий день медлительные коровы с грустными глазами вновь разбрелись по лугу. Вот одна из них попыталась отделиться и с шумом вломилась в кустарник. И в тот же миг наперерез беспутной скотине кинулась собачонка, вытравливая ее из лесу. «Умница, – подумал я и опять позвал собачонку к себе: – Иди ко мне, не бойся». Она насторожилась, но не кинулась прочь, видя мое к ней расположение. И вскоре между нами был установлен контакт.

Я спешно полез в рюкзак за угощением. Она с любопытством следила за моими руками, поворачивая голову то на один бок, то на другой. Осторожно приблизилась к брошенному куску хлеба и, давась, проглотила его.

За хлебом последовал кусочек сыра, колбасы, яйцо и на десерт – конфетка. Глядя, с какой жадностью она все съела, я понял, что это было для нее не угощение, а, может быть, первая в ее собачьей жизни настоящая еда. Слишком уж она была худой. К концу лета еще не полно-

стью сбросила с себя зимнее одеяние. Ключья блеклой шерсти были видны на бедрах и у охвостья. «Э-э-э, подруга, – приговаривал я, поглаживая свою новую знакомую, – при таком хозяйне, как у тебя, ты к холодам не запасешься новой теплой шубой, не нагуляешь жиру для долгой зимовки».

Возвращаться мне пришлось без улова. Зато, как всегда, я набрал на берегу Кии шиповника. А еще подарил две блесны местному рыбаку, подростку из ближайшей деревни. Он тут же на моих глазах извлек из светлых вод на самодельные снасти двух небольших щучек. Парень был доволен и уловом, и моим подарком. До деревни мы с ним шли вместе. По пути догнали стадо, которое вела домой все та же дворняжка. Я спросил у своего попутчика, чья это такая умная собака. Оказалось, ничья. «Так, просто собака, – ответил мальчик. – Коров пасет».

Как выяснилось, собачонка эта осталась от пастуха, умершего несколько лет назад. Нашли его в жаркий июльский день на этом самом зеленом лугу, лежащим у ног своей лошади. Был он в фуфайке, резиновых сапогах и зимней шапке. Рядом валялась порожняя бутылка. И лошадь была уже без признаков жизни: видно, не вынесла смерти хозяина, пролежала возле него без воды и пищи несколько дней и издохла. А собака поскулила, поскулила по утрате своих близких и... одна продолжила их общее дело. Каждое утро она выгоняла стадо за деревню, весь день охраняла его, а к вечеру возвращала коров хозяевам, не получая за это от людей ни пищи, ни ласки.

По возвращении в город я вдохновенно рассказал о зарослях шиповника на берегах Кии одному знакомому художнику, которому нужны были эти ягоды для лечения. И сманил его на Кию, в обжитые мною места.

И вот через год я вновь на том же лугу. Вновь тучные коровы пожинаят его зелень. Но не слышно залиvistoго звонкого лая. И умной собачки нигде не видно.

Пока я добывал на уху, живописец писал с природы окрестные пейзажи. Потом, набрав шиповника, мы с ним вернулись в деревню, где оставили у знакомых свой автомобиль. А уже за столом после нескольких незамысловатых тостов я вдруг опять вспомнил про собаку, что в прошлом году самостоятельно пасла стадо. В

ответ хозяин махнул рукой куда-то в сторону и сказал: «А-а-а, тут один, как освободился, в школьной кочегарке работал. Все чахоткой болел. Вот она в кочегарке у него и жила. Пацаны ее хлебом кормили. А как откормили путем, так он ее и съел, от чахотки чтоб. Да все без толку».

Теперь у меня в зале на стене висит картина, подаренная художником. На ней широкий зеленый луг, обрамленный зарослями шиповника. Мне же на нем еще видится стадо пестрых коров и маленькая звонкоголосая собачонка, бескорыстно служившая людям.

В ИНЫХ МИРАХ ВРЕМЯ ТЕЧЕТ ПО-ИНОМУ

В троллейбусе мужчина спрашивает у меня, может ли он этим маршрутом доехать до цирка. Мы как раз только что цирк проехали, и я показал его мужчине. Тот глянул в окно и сказал, что имел в виду не этот цирк, а деревянный, который около универсама в центре города. Я сообщил ему, что тот цирк сгорел 34 года назад, в 1971 году.

Мужчина очень удивился.

Я поинтересовался, где же он был все это время, если даже не знает, что цирк давно сгорел.

– Я только вчера освободился, – последовал ответ.

Теперь удивился я и спросил, сколько же он отсидел.

– Дали-то мне сразу немного, всего пятнадцать лет, а потом понемногу добавляли...

СОКРОВЕННОЕ СКАЗАНИЕ

Спросил я как-то пожилого мужчину в Осинке, почему заброшенную деревяню неподалеку называют Ермаки.

«Краевед» начал издавека: и что баня его раньше не на этом месте стояла, и что на месте бани никак огурцы толком не росли, и что ровно через его огород раньше на мельницу дорога проходила, и что современный мост мимо мельничной дамбы построили, и много чего другого наговорил. Я долго выслушивал его увлеченный рассказ.

Но когда, потеряв терпение, поставил вопрос прямо, собеседник мой так же прямо и ответил:

– Когда Ермак-то Колчака отсюда попер, то там, за деревней, его со своими ребятами-то и разбил. Ленин за это Ермаку свою шубу подарил и орден дал. А как наши-то Колчака разбили, то делать им больше стало нечего. Вот они там себе деревяню и поставили. И в честь своего атамана назвали Ермаки.

А под конец старожил наклонился ко мне и шепнул на ухо, прикрыв рот ладонью:

– Ты только никому не говори. Ты знаешь, Колчак-то с Катериной путался...

ГЛАВНОЕ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

В эпоху моей молодости, когда я работал директором сельской школы, борьба с буржуазной идеологией и культурой доходила порой до абсурда.

Однажды в одной из радиопередач были озвучены результаты эксперимента с коровами. Оказалось, буренки повышали надои молока после прослушивания русских народных мелодий и резко снижали их после западных «рок-н-роллов».

В ту пору появились первые портативные магнитофоны, а в культурную жизнь советских людей неожиданно ворвалось творчество Владимира Высоцкого. На моем подоконнике тоже стоял магнитофон и хрипловато орал непривычные для села песни: «Страшно, аж жуть...», «Порвали парус...», «Мой друг уехал в Магадан...». Те из местных жителей, что постарше, проходя мимо моих окон, бранились, плевались, матерились. А кто помоложе – заходили послушать этот отчаянный надрыв. А вечером навеселе после трудового дня так же орали на всю деревяню пропитыми голосами:

– Па-а-арвали парус!

И вот однажды меня вызвал к себе секретарь парткома совхоза Сергей Александрович и назидательно заметил: нехорошо получается, официально не признанного певца Высоцкого крутите, народ плохому учит.

И тут я вспомнил радиопередачу про буренок и надои.

– Сергей Александрович, но ведь после пещен Высоцкого у учеников успеваемость повышается! – соврал я.

– Ну, если повышается, тогда ладно, – отпустил мне грехи партийный секретарь.

НА СЕЛЕ СВОИ ЦЕННОСТИ

После окончания педагогического института меня как молодого специалиста направили работать директором восьмилетней школы в село Калиновка Мариинского района. Чтобы завоевать авторитет среди селян, я сразу стал проводить родительские собрания, пропагандируя достижения педагогической науки – от Песталоцци, Локка и до современников. Но особого уважения так и не мог добиться. Мешала моя молодость и неопытность в житейских делах.

Помог один счастливый случай. Мне необходимо было съездить в сельский совет, чтобы поставить печать на какой-то документ. До села, в котором находился наш местный глава советской власти, было около пятнадцати километров проселочной дороги. Автобусы туда не ходили. На конном дворе мне дали коня по кличке Громобой. Это был высоченный иноходец, видимо потомок английских скакунов, захваченных здесь после разгрома белогвардейских отрядов генерала Унгерна и полковника Олиферова. Я едва взобрался в седло.

По дороге в сельсовет конь неохотно слушался нового неумелого седока и едва тащился, постоянно норовя ухватить пучок травы с обочины. Но как только дело было сделано и мы повернули назад, он буквально наметом хватил к родному стойлу.

Влетев в деревню, Громобой, не разбирая дороги, мчался напрямую к конюшне. Селяне, сидевшие на скамейках у своих палисадников, внимательно наблюдали, как их новый школьный директор пытается усидеть в седле на неукротимом скакуне, и покачивали головами. И тут мое «транспортное средство» свернуло за угол какого-то совхозного сарая, намереваясь пролететь под свисающими с кровли досками. Я вовремя заметил грозящую мне опасность (моя голова была бы снесена этими досками) и совершил поистине невероятный поступок. Мгновенно высвободив из стремени правую ногу и вцепившись обеими руками в седло, я

повис с левого бока коня. А когда опасные доски остались позади, тут же снова запрыгнул в седло, как это делают мастера джигитовки. Прежде я видел такое только в цирке и искренне восхищался ловкостью наездников.

Сдав Громобоя на конный двор, я возвращался к себе домой. И опять на меня были устремлены взгляды со скамеек у палисадников. Но теперь я был удостоен высшей чести со стороны местных жителей – родителей моих учеников. Бабы улыбались мне, мужики сняли кепки. А один, самый старший, встал и, приветливо поклонившись, сказал: «Здравствуйте, директор!»

Теперь я был в авторитете!

С ИМПЕРИАЛИСТАМИ ЛУЧШЕ НЕ СВЯЗЫВАТЬСЯ

Дед Гурулев из села Новоалександровка рассказал в 1963 году:

– Тут раньше, до революции, артельщики золото мыли. Я тоже с ними подвизался. Стали рыть шурф – жилу, значит, искать. Глубоко уж вырыли. Тут моя очередь подошла в колодец лезть. Спустился я, значит, рою, рою, а бадьей ребята вверх накопанное поднимают. Вдруг что-то твердое под лопатой стукнуло. Думал, самородок большой такой. Давай руками разрывать. Раскопал. Смотрю, огромный камень лежит. Отвернул его – дыра. Голову туда засунул – свет. Высунулся я оттуда посильнее. Глядь – мать честная! – Америка! Завалил я этот камень назад. Думаю, ну их на хрен, связываться с этими империалистами...

НИРВАНА, ЧТО ЛИ?

Тогда не было ни смерти, ни бессмертия.

Не было различия между ночью и днем...

Тогда не было ни сущего, ни несущего.

Не было воздушного пространства,

Ни неба над ним.

Ригведа

Если священные книги утверждают, что смысл жизни верующего состоит в стремлении к Богу, то для меня таковым является Природа. Вот и живу мечтой: прийти в конце лета на берег Кии – самой лучшей реки в мире, ополоснуть ее брызгами лицо, сесть у воды и забыть-

ся, глядя на тихие вечные струи, постигая тайны бытия, или лечь на роскошь душистого луга и глядеть в бесконечное небо.

...Вот и еще один год позади. И вновь я на любимой реке, посередине бескрайних просторов, и тону взглядом в бесконечной небесной глубине. А вокруг меня ароматная, никем не тронутая благодать, тот же куст у воды, то же самое небо... Только я старше на год.

Где-то вдали едва уловимый шум какой-то машины. Его заглушает щебет лесных птах, звон кузнечиков, шуршание насекомонок в траве. Но постепенно все это как будто исчезает, и остается лишь одна небесная синь да тишина. И я – один посреди тишины. И не чувствую я более ни себя, ни земли, ни неба, ни границы между ними, между сущим и несущим. Будто никогда ничего и не было. Только одна мягкая тишина. Вечное безмолвие, очаровавшее древних ариев еще пять тысяч лет тому назад.

ОБ ИСТОКАХ СИБИРСКОГО БУКОЛИЧЕСКОГО ФОЛЬКЛОР

В своих путешествиях по Сибири я всегда обращаю внимание на художественную сторону народного языка и пытаюсь найти исторические истоки современного фольклора. В исторической антропологии не все проблемы решены, и вполне естественно, что практика общения с живым языком народа довольно часто ставит интересные вопросы. Один из них состоит в том, как возник буколический фольклор русских сибиряков.

В науке давно установлено, что европейская буколическая литература сложилась на основе античной идиллической поэзии. Она очень сентиментальна и лирична. Эту литературу, рисующую умиляющие сцены, называют еще пасторальной, так как поэтизирует она простую и мирную сельскую жизнь, и пастушок, играющий на дудочке красивую мелодию, – один из самых распространенных ее образов. А как же у нас?

...Утренний эфир, спокойно дремавший над озером, вдруг лопнул, как от выстрела. Всполошившиеся собаки забрехали перекатами от одного края деревни к другому. А следом так и посыпались громкие раскаты, словно Божья

колесница загромычала по небесным колдобинам...

Выстрелами оказались щелчки многометрового кнута, громовыми раскатами – тяжело-весная брань пастуха, выгонявшего стадо за деревню Утинку, что в Тисульском районе. Щелчки бича рикошетом отскакивали от зеркала озера в небесную синеву, где жаворонок уже занялся песней на музыку Глинки. Слова сочных ругательств, в которых печатными были только соединительные союзы, пулеметными очередями прочерчивали окрестности и эхом металась над озером. Встревоженные гуси хлопали крыльями по воде, устремляясь подалее от богохульного берега. Густым хрипловатым голосом пастух с ненавистью перечислял все земные и потусторонние пороки и скверны. Наблюдая за этой сценой с противоположного берега озера, я не видел оратора – было слишком далеко, полкилометра, не меньше, – но отчетливо слышал каждое его слово. С мастерством диктора Центрального телевидения, пощелкивая бичом, пастух четко и выразительно произносил каждый звук нескончаемых тирад. И от каждого взрыва его ненависти к бедным животным, веером рассыпавшимся от его бича, я вздрагивал, будто меня, а не коров полосовали хлыстом.

Стадо скрылось за холмом, но выстрелы кнута и громовые глаголы, медленно затихая, были слышны еще некоторое время. Ошеломленный, я смотрел на чарующую зелень лугов, на белые облака, купающиеся в озере, на всю эту природную идиллию и думал: «А что, если бы не была Греция от Сибири так далеко, то, может, и там не возникло бы никакой буколической литературы. Но, слава богу, все есть так, как есть».

«СТЯПАН, ВЫРУЧАЙ!»

Разговорились мы как-то с пастухом, сидя на берегу речки. На лацкане его заношенного пиджака я увидел орден Красной Звезды и поинтересовался, за что он эту награду получил. Времени у нас было достаточно. Стадо в полуденный зной мирно стояло по брюхо в воде на отмели, помахивая хвостами. И пастух начал рассказывать. Вот его история.

«Война, Михалыч, началась. А я в ту пору молодой был, единственный тракторист в кол-

хозе. Особой охоты сложить голову не было, но и не прятался. Как и все мужики, явился на призывной пункт. Почти всех, кроме калек, забрали. А меня не взяли, потому что трактор за мной закреплен был. А на нем ведь кто-то должен был работать. Я на тракторе то пашу, то бороню, то еще что.

Мужики-то наши воюют, а я, считай, на деревне один мужик кроме председателя да счетовода горбатого. Горбатый-то горбатый, а коров лучше всех резал. Все к нему, как ежели что. За работу говяжьей печенкой брал...

Тут уж похорошки с фронта приходиться стали. Много наших мужиков не вернулось. Вон у конторы на памятнике подсчитай. Там почти всех записали...

Ну, вот и покос подошел. Тяжело было. Что бабы? Баба – она и есть баба. С граблями еще туды-сюды, а копны ставить... Кому? Опять же я. Весь измотался я с этой работой. А тут еще эти бабы...

Вот поехали раз на покос. Подсела ко мне на трактор одна (не буду говорить кто, она и сейчас поварихой в детсаду работает). Не смотрит на меня, отвернулась и все вздыхает. А потом и говорит: «Стяпан, не могу больше без мужика. Выручай!» Ну что тут поделаешь? Пожалел я бабу да отвел ее в кусты.

А другие бабы потом, видать, догадались, что к чему. Через несколько дней опять ко мне по дороге на покос подсела другая: «Стяпан, выручай!» Так и пошло-поехало почти каждый день. То одна, то другая. А что тут поделаешь – война. Измотался под осень совсем, не железный же ведь. Кожа да кости остались. А деваться некуда: один из мужиков, считай, в деревне остался.

Вот поехал я как-то в райцентр за запчастями для трактора да и заглянул по пути в военкомат. Стал проситься на фронт. Долгий разговор был с военкомом. Все впустую – не взяли. А тут один раненый, ветеринар наш, с фронта пришел. Вдвоем-то теперь нам с бабами легче стало управляться. Я его немного подучил и на свой трактор посадил. И снова в военкомат. Теперь взяли. Сбежал я из колхоза, думаю, хоть немного на фронте отдохну. На танке воевал. Тоже ранило. Вишь, ноги-то нету. Вот и получил я за это орден.

А как вернулся в деревню, то кое-кто из мужиков уже тоже вернулся. Кто без ноги, кто без

руки. Теперь нам вместе намного легче стало. Вот до сих пор и не женюсь. Мне эти бабы за войну так надоели: «Стяпан, выручай, Стяпан, выручай». А теперь не до этого... Вот вишь – коров пасу».

ЗНАТНЫЙ ТРОФЕЙ

Спиннинг я начал осваивать рано. Приобрел его еще в 1959 году. Тогда у нас в Кемеровской области такой снастью, пожалуй, никто и не баловался. Но первые мои опыты были неудачными, и вскоре я оставил это занятие.

Заброшенную снасть через несколько лет обнаружил в родительском доме мой старший брат Владислав. Вскоре он уже успешно охотился спиннингом. Жил он в Томске и приобрел там славу знатного спиннингиста, даже прозвище получил – Щучий король.

Как-то мы с ним устроили совместную рыбалку на Кии. Тогда-то пошло дело и у меня. Это было настоящее удовольствие – выуживать здоровенных щук из светлых вод на тонкой, звенящей от натуги лесе. С тех пор никаких других снастей я не признаю – только спиннинг.

Запомнилась мне и еще одна интересная рыбалка с братом. День был пасмурный, и блесна, видимо, не радовала щук своей игрой. Обычно мы с Владиславом во время наших рыбацких встреч не отходили далеко друг от друга, блеснили рядом, ведь нам было о чем поговорить после годовой разлуки. Но тут пришлось разойтись по разным сторонам – в надежде, что в другом месте повезет.

После пары-тройки часов бесполезного блеснения Владислав подошел ко мне разочарованный и без улова. А я в этот момент выудил небольшую щучку. Брат с удовлетворением отметил, что теперь будет из чего уху сварить. Сняв с крючка добычу, я подошел к растущей рядом березке и насадил рыбу на ее ветку. От этого движения на деревце затрепетали и остальные восемь выловленных мной щук. Из-за сырой погоды они все были живы. Брат в изумлении воскликнул: «Как игрушки на новогодней елке!»

Секрет моего успеха был прост. При забро-се блесны у меня случайно свалилось одно кольцо лесе с катушки. Чтобы поправить лесе,

потребовалось две-три секунды. Этого хватило, чтобы блесна ушла ко дну.

Несколько метров проводки у дна, удар – и щука у моих ног! После нескольких забросов ситуация с леской повторилась. И еще одна щучка оказалась на крючке. Рыбацкий опыт из двух совпадений вывел закономерность: в пасмурную погоду рыба не активна и держится у дна. Я стал протягивать блесну ближе ко дну. И тут началось! Я ликовал. Конечно, Щучий король был обескуражен, но потом перенял мой способ и присоединился ко мне. Тут же рыбалка началась и у него.

...Сложилось так, что мы не встречались с братом в этих местах много лет. Но вот мы снова вместе, на том же берегу Кии. Только теперь я не один, а с сыном Денисом, а брат с внуком. Привязали палатку за знакомый сучок значительно повзрослевшей сосны. Развели костер на старом костровище, поставили удилица к тому же кусту боярышника.

Мы были радостно возбуждены долгожданной встречей. Но рыбалка что-то не шла. Через два дня, разочарованные, мы решили, что будем сворачивать лагерь после утренней зорьки.

Но на зорьке у меня клюнуло, да так, что пришлось звать на помощь. Первым прибежал сын. Стали с ним выуживать огромную щуку. Я передал Денису удилице, а сам, более искушенный в рукопашных схватках с крупными экземплярами, встал в позу ястреба над жертвой, готовый при удобном моменте ухватить ее мертвой хваткой. Но, увы, щука не стала добычей: вывернув серебристое брюхо, она сошла с крючка.

Мои друзья, охваченные рыбацким азартом, схватили спиннинги и стали хлестать по омутам. Однако фортуна вновь улыбнулась лишь мне. Опять удар, пулеметный треск тормоза катушки, призывы на помощь... Но пока подоспели разгоряченные рыбаки, я уже сидел убитый горем на поваленной коряге с распростертыми руками – таким горьким доказательством размера сорвавшейся рыбыны.

Две неудачи подряд, когда счастье было так близко, так возможно! Расстроенные рыбаки безнадежно махнули руками в мою сторону и пошли сворачивать лагерь. Я тоже поплелся вслед за ними. Но, не доходя до палатки, свернул к берегу, решив сделать еще несколько за-

бросов. И едва блесна шлепнулась на воду, я почувствовал резкий рывок, а потом – тугое натяжение лесы и мощные зигзаги огромной щуки.

Подтянув рыбину ближе к берегу, я увидел, что зацепилась она едва-едва одним крючком за край губы. Я снова стал кричать, призывая на помощь. Как всегда, первым примчался сын. И совещание по поводу тактики выуживания проводить было некогда. Увязнув сапогами в прибрежной тине, Денис в резком прыжке буквально вылетел из них, плюхнулся своими ста двадцатью килограммами на хищницу и запустил пальцы под шипастые жабры. И вовремя: свободолюбивая бестия уже выбросила крючок изо рта...

На готовенькое-то сбежались и все остальные. И давай фотографироваться с моим трофеем. Да ладно, не жалко. Все же самые большие эмоции при выуживании испытал именно я.

Теперь у меня в альбоме фотографии с громадной рыбиной, в шкафу, рядом с другими сувенирами, – огромная щучья голова, а в памяти – незабываемые минуты рыбацкого истинного счастья.

Я СМОТРЕЛ В ЭТИ ГЛАЗА

Священные книги утверждают: за все злодеяния, которые совершит человек, придется расплачиваться – кому нравственными переживаниями, а кому и на сковородке жариться. Когда-то я, по причине молодости не осознавая этих библейских мудростей, все же вовремя опомнился. Рука судьбы отвела меня от злодеяний больших, чем охотничий трофей.

Еще совсем юношей увлекся я охотой. Стрелял все подряд, что бегало, плавало, летало. В порыве охотничьей страсти не чувствовал безнравственности выстрела. Подстреленные заяц, утка, косуля не осознавались как погубленная божья тварь, живая душа. Охота превратилась чуть ли не в ремесло, а добытые тушки – в «сработанные» вещи.

Да и не я один был таким. Все мои сверстники, а также взрослые дяди, у которых мы учились этому «ремеслу», не задумывались об ином в охоте, кроме как лучше скрасть дичь, побольше настрелять. Кровь жертвы, плач смертельно раненного зайчишки были для нас сигналом к радости по поводу удачи. А чтобы

на подранка не тратить лишнего патрона, его обычно добивали прикладом. Я среди этой ватаги алчущих «любителей природы» слыл еще сентиментальным, что считалось недостойным настоящего охотника. Хотя, чего греха таить, я тоже забывал обо всем на белом свете, если перед моим скрадком садился чирок или еще какая живность.

Однажды морозным зимним днем подранил я косулю. Картечь разорвала ей кожу на животе. До глубокой ночи гонялся я за подранком, распустил все патроны. Но косуля не подпускала к себе, хотя, обессиленная, не могла уже уйти далеко. Спрятав ружье, чтобы оно не мешало, я, тоже измотанный, гнал косулю в глубокий снег пойменных тальников, прижимая жертву к крутому берегу. И такая тактика сработала: обреченная запуталась в кустарнике, увязла в снегу, не могла подняться на берег.

Тут я ее и настиг. По глубокому снегу полз я к затравленному животному, подтягиваясь за ветки тальника. Последними усилиями сделал рывок и со звериным рыком ухватился за заднюю ногу косули, подтянул к себе и стал наносить ей ножом удар за ударом. Бедняга, вырываясь, барахталась в залитом кровью снегу. Но силы уже совсем оставили ее. Распластавшись, она с трудом приподняла голову и с тоской смотрела на меня. В этот момент я в очередной раз занес над ней нож. И вдруг замер. О ужас! На кого я был похож?! На разъяренного зверя. Нет, хуже. Ведь я же человек... Косуля медленно клонила голову и с мольбой глядела на меня. Крупные слезы выкатились из ее красивых, почти человеческих глаз.

Наконец она затихла, и душа ее отлетела. Но карие глаза еще несколько секунд были влажными и невинно смотрели куда-то в пространство.

Остолбеневший, я вглядывался в эти затухающие глаза. И понял, что совершил непоправимое – совершил злодеяние. Нож выпал из моих рук.

Как я возненавидел себя в этот момент! Я смотрел в большие глаза убитого животного и проклинал себя за жестокость. Мне стало жутко, тошно и противно. Совершенно обессиленный и опустошенный, я поплелся домой...

До сих пор я довольно часто вспоминаю этот случай. Похожие на женские, глаза косули, в которых явно светился разум, отражалась ду-

ша, с упреком смотрят на меня. И я вновь испытываю муки совести и не нахожу себе оправдания.

Теперь всем своим друзьям-охотникам, этому безжалостному воинству, накануне каждого охотничьего сезона суетно собирающемуся за очередными жертвами, я вновь и вновь рассказываю эту историю.

Твержу одно: прежде чем поднять ружье и сделать роковой выстрел, подумай и о своей душе. Увы, многие либо хихикают, либо недоуменно пожимают плечами. А иные еще уточняют, притащил ли я тушу той косули домой.

ТРУД СОЗДАЛ НЕ ТОЛЬКО ЧЕЛОВЕКА

Проходя утром рано мимо областного архива, я услышал угрозы и брань из уст дворника, убиравшего снег:

– Убью, все равно пришибу когда-нибудь заразу!

– Ты на кого так осерчал? – поинтересовался я.

– На бабу. Сходил я, значит, за молоком с бидончиком. Вскипятил молоко, а немного оставил, чтобы кашу сварить. А она орет, что я не все вскипятил. Совсем, дура, с ума сошла.

– А почему ты сам-то себе кашу варишь? Заставил бы жену. Вот она бы и при деле была, и не ругалась бы, – посоветовал я.

– Да нет у меня жены. Похоронил уже два года как, – с жалостью признался новый знакомый.

– Ну, тогда бы заставил ту, с которой сейчас живешь.

– Ни с кем я не живу. Нужны они мне... Я со своей всю жизнь прожил душа в душу.

– Так чего же ты тогда ругаешься на нее?

– А на кого мне еще ругаться? На тебя, что ли?

– Да ты вообще не ругайся.

– А ты вот попробуй лопатой помахай каждый день – и не ругайся потом...

СОВРЕМЕННАЯ БАБУЛЯ

1992 год. Едем по Сибири, по федеральной трассе М-53. За деревней на обочине дороги старушонка в драной фуфайке продает колбу, разложив ее на пеньке.

– Бабуля, почему колба?

– Большой пучок по 60, маленький по 30.

Взяли большой и маленький. Сдачи у бабули не было. Торговаться мы не стали. Оставили бабушке сдачу на бедность.

– Спасибо, бабуля! Как вас зовут?

– Баба Маня.

На следующий год на том же месте сидит та же бабуля на раскладном стульчике, торгует колбой.

– Бабуля, почему колба?

– Большой пучок по 100, маленький по 50.

Взяли большой и маленький. Сдачи у бабули не было. Торговаться мы не стали.

– Спасибо, баба Маня!

Еще через год на том же месте сидит та же бабуля на раскладном стуле в широкополой белой шляпе от солнца. На столе под цветным зонтом аккуратно уложенные пучки колбы. Тут же ценники: 100 р., 150 р., 200 р. Из портативного приемника звенят веселые песенки современных эстрадных звезд. Мы опять купили пару пучков колбы. И, как всегда, у бабули не оказалось сдачи.

Через пять лет на том месте уже придорожная торговая палатка с надписью: «Таежные дикоросы». За ней в тени розовая иномарка. Заглянули в палатку. На витрине в аккуратных упаковках грибы, кедровые шишки и орехи, ягоды, целебные травы. За прилавком – почти неузнаваемая баба Маня. Голубые волосы, короткая стрижка, на висках татуировка в виде каких-то драконов.

– Здравствуй, баба Маня.

– Здравствуйте. Только я не баба Маня, а Марьяна Вольдемаровна. Что будете брать?

МОЙ «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» – ОЗЕРО-МИФ

Истину о том, что в жизни всегда найдется место подвигу, я прочно усвоил еще со школьных лет. И, взрослея, только больше ощущал жажду открытий и подвигов. Наверное, поэтому хотел выучиться на геолога, стал археологом. Успел немало пройти, найти, изучить, поведать людям. Но одна картина, увиденная еще в детстве, долго оставалась непознанной, загадочной, манящей.

Более полувека назад (а это даже для археологических масштабов существенный отрезок

времени), будучи шестиклассником, увязался я в туристический поход по Кузнецкому Алатау. И в долгом пути все время отставал от отряда, поскольку был самым младшим. К тому же обут я был не по-походному, в какие-то тапочки с подошвой без протектора – постоянно скользил и спотыкался на вечно влажном таежном суглинке.

И вот в один момент, спеша за ушедшими вперед ребятами, с высокого перевала я мельком бросил взгляд в голубые таежные дали. И вдруг мне показалось, что где-то там, за рекой, за грядой сопок, между гор блеснуло озеро.

Горное озеро! Оно блеснуло и тут же исчезло, заслоненное таежным бурьяном. Догнав ребят, я поделился с ними своим открытием. Но они только дружелюбно надо мной посмеялись...

Наш усталый отряд продолжал путь, подбадривая себя песнями про пионеров, про отважного пограничника, про то, как счастливо нам живется. На привале мы долго сидели у костра, рассказывали жуткие истории, как бы проверяя себя на стойкость к страху. А в моей памяти медленно, как таежный туман в распадке, таяла очаровавшая меня картина...

Прошли годы, и я забыл о горном озере, которое то ли было, то ли нет. Впечатлений от этого похода и так было предостаточно.

Но все-таки правы психологи в своих выводах: то, что когда-то коснулось наших ощущений, навсегда остается где-то в подкорке криptomассой скрытых знаний. В какой-то момент та далекая картина из похода все чаще стала всплывать в моей памяти, грезиться. И я поверил, что это горное озеро существует, что я его видел. И во мне стало крепнуть желание найти его, удостовериться в реальности.

При каждом удобном случае я наводил справки у геологов, топографов, охотников, местных жителей, у всех, кто был или мог быть в тех заповедных местах. Но, увы, никто не видел озера в тех координатах, что я давал. За многие годы я собрал множество карт разного масштаба по Кузнецкому Алатау. Но ни на одной из них озера не было. Мираж, решил я и отошел от поисков. Однако по ночам мое сознание вновь открывало свои тайные сейфы, озеро-миф опять маячило перед глазами. Причем с каждым разом все яснее, все притягательнее. Его красота завораживала.

И вот настал момент, когда я решил покончить с этими видениями. Собрал отряд из четырех своих друзей, отчаянных парней: археологов, рыбаков, фантазеров и романтиков, презревших грошовой уют. С песнями, анекдотами и розыгрышами добрались мы до тех заповедных мест в Кузнецком Алатау. Озеро-призрак было где-то всего в одном-двух днях пути. И вдруг разразился страшный ливень. Два дня мы просидели в палатке, а на третий день река, перед которой мы остановились, превратилась в бешеный горный поток. О переправе через нее без плавсредств и речи быть не могло. В итоге ограничился рыбалкой и вернулись домой. Моим друзьям-романтикам хватило и этого.

А я предпринял еще несколько попыток достичь желанного озера, но «рука судьбы» все время отводила меня от него. И наконец мое терпение лопнуло. Все, решено. Если нынче я это озеро не найду, то не найду уже никогда. Ведь юношеская резвость уходит и мне все тяжелее преодолевать таежные версты...

Желание пойти со мной проявили шестеро, как я считал, романтически настроенных непосед. Но за несколько дней до старта, когда они узнали о подробностях маршрута и незначительной, с их точки зрения, цели предприятия, все почему-то отпали с одинаковым объяснением: «Понимаешь, Михалыч, такие обстоятельства...»

И даже в такой ситуации я решил, что отступать больше не могу. Вдвоем с сыном мы двинулись в путь. Страшновато, конечно, было вдвоем пуститься в такую авантюру – все-таки тайга. Она шуток не любит, слабаков не принимает да и глупостей не прощает. Больше я, конечно, боялся не за себя – за сына. И все-таки решил, что не отступлю ни при каких обстоятельствах. Даже если не даст идти больная нога, все равно буду ползти до тех пор, пока смогу. Знал: здоровяк сын не бросит, из любой беды вытащит. Но он неопытен, многих тонкостей и секретов таежного коварства не знает. А здесь глаз должен быть острый, ухо всегда на чеку, реакция мгновенная, сообразительность интуитивная. В тайге всякое может случиться...

Эти мысли жужжали в моей голове как осы, пока мы ехали по ухабам проселка. Но как только надели рюкзаки и двинули пешим маршрутом, все колебания остались позади. Твер-

дый шаг сына, его уверенный взгляд поддержали меня. Помогал мне и вырезанный осиновый посох.

Два дня пути по маршруту пятидесятилетней давности, мои рассказы о том, что здесь когда-то было... Причем вспомнились такие мелочи и подробности, что сам я диву давался. Поход по старым местам воскресил память. Настроение было хорошее. Оно давало силы. Я даже удивился, как выдерживают больные ноги. Память, мечта помогли победить себя, убедиться в верности и силе сына. А это ведь уже результат, даже если тайна не откроется и я не найду своего озера.

И вот мы поднялись на верхнюю точку той гряды, с которой я когда-то его увидел. Увы, на предполагаемом месте озера не оказалось. И, между прочим, особого разочарования тоже не было. Не первый раз я его теряю... Но теперь уже мой сын хотел увидеть озеро. Он убедил меня, что нужно преодолеть еще один перевал, увидеть еще один горизонт. Как же я был рад, что это не я, а он предложил!

Мы спустились в лог. Поднялись на вершину почти отвесной скалы, и перед нами открылась такая красота, что мы не стеснялись своего ликования. Стояли на высоте, и только ястреб кружился над нами, прогоняя непрошенных гостей. Мы внимательно осмотрелись, «прострелили» предполагаемое место озера с другой точки, под другим углом, но так его и не увидели.

Что ж, решили мы, это наша крайняя точка пути; стали спускаться к реке, готовиться к возвращению. Но, когда дошли до середины спуска, меня взяло сомнение, ведь нашему обзору могла помешать скала, стоявшая в полукилометре от нас.

И вновь подъем – на вершину следующей скалы. Она, к счастью, была не так крута и тянулась дугой. Мы еще не достигли верха, как сын сквозь кустарник, примерно в километре от нас, заметил блеск воды. «Может, показалось?» – боялся я поверить и потому предложил подняться на самый гребень скалы.

До вершины оставалось еще несколько десятков шагов, а мы уже увидели мое озеро. Сын счастливо улыбался, снимал на пленку красоту этого вида. А я кричал, захлебываясь от переполнявших меня чувств.

Перед нами лежало оно – махонькое блюдце, всего 40–50 метров в диаметре. Находилось озеро почти в правильной воронке, было спрятано за высоким кольцом скал. Вот почему его никто не видел, ничего о нем не знал. И тут меня осенило: да ведь это кратер потухшего вулкана! В этом убедил и поднятый из-под ног скальный обломок – застывшая лава, бурая, с розоватыми вкраплениями.

Спуск к озеру мы искали долго: стены кратера оказались почти отвесные. Но вот мы у цели и можем вблизи разглядеть таинственные темные воды.

Глубину озера на взгляд определить сложно, в воде ничего нет. Лишь у края растут какие-то травы, а чуть дальше от берега никакой растительности: ни на поверхности, ни в глубине. Не бегают по его водам никакие букашки-тараканчики, не плавают у берега козявки, не плещут рыбки. Мертвое озеро, решили мы. Мертвое, потому что в нем еще происходят остаточные вулканические процессы.

Набрав в пластиковую бутылку мертвой воды для анализа, повосхищавшись еще немного колдовской красотой озера, мы двинулись в обратный путь, но уже более легким маршрутом.

«Ну вот, сын, мы сделали еще одно открытие», – торжествовал я. А он иронизировал, что у меня, как у Мюнхгаузена, все подвиги и открытия предусмотрены и распланированы...

Пусть так, но мы все же нашли свой «затерянный мир». И никому не скажем, где именно он находится. Пусть останется нетронутым. Не мешать природе-матери – это ведь тоже культура.

ЭМЕРДЖЕНТНОСТЬ ПО-РУССКИ

Эмерджентность – это свойства системы, которые не присущи ее элементам в отдельности, а возникают благодаря объединению этих элементов в единую, целостную систему. То есть если каждая отдельная часть обладает каким-то определенным количеством чего-то, то вместе эти части составляют намного больше отдельно взятых частей, и суммарно количество изменяет качество.

Например. В 1997 году мы проводили совместную российско-американскую палеонтологическую экспедицию. По ее окончании я предложил обмыть это событие. Все согласились, а американец Майкл Моралес, который немного говорил по-русски, спросил, что означает «обмыть».

– Отметить, – пояснил я.

– А что значит «отметить»?

– Это значит, что ты должен взять пару бутылок водки, – разъяснял я американцу прописные российские истины.

– А «пару» – это сколько?

– «Пару» по-русски – это значит шесть штук.



Поздравляем нашего дорогого друга, подвижника русской литературы, летописца Липецкой земли с 60-летием! Желаем новых свершений и крепкого здоровья.

**Андрей
НОВИКОВ**

НА СОЛНЕЧНОЙ ОСИ



* * *

На солнечной оси бегом
Настало утро с чутким носом,
И в доме пахнет уютном
И крепкой, первой папирсой.
Так в детской памяти сквозь
Кипит белье в тазу неловко,
Шарами мыльными скользя
Над белой бельевой веревкой.
Судьбой еще не начат счет,
И дерево скрипит лошадкой,
И я, влюбленный в жизнь еще,
Таскаю пирожки украдкой.
Обычный коммунальный быт,
Где я с кудрявой головою,
Еще родными не забыт,
Живу в согласье сам с собою.
Лица увижу я овал,
И руки матери за пряжей,
И страшный времени провал,
Ничем не объяснимый даже...

СНЕГ УМИРАЕТ

Вдали пасхальный звон трамвая,
Сырой разлет скупых теней,
И в памяти перебираю
Пустую вереницу дней.

Лишь нуют не переставая
Весенней остротой ветра,
Язычески переставляя
Привычный перечень утрат.

Шепчи холодными губами
Слова надежные весне.
Толпится бытие горбами
Над крышами в бульварном сне.

Снег умирает в грязных муках,
Отзывчивость не взяв в расчет,
Запрет смотреть на город звуков,
Где время талое течет.

* * *

Под перевернутую лодкой
Уснуть небрежно на песке,
Где море дышит хриплой глоткой
В великой вековой тоске.

Стихии свежие повадки
Гудят огнем далеких гроз,
Взволнован сон, тревожный, краткий,
И через щели – звездный мост.

Приходит грусть в бессильной злобе
И, отрезвив, уходит прочь,

*И легким холодом свободен
Путь забытья, объяввший ночь.*

СЧАСТЬЕ

*Отдал бы все веселой песне
С кислинкой терпкою вина.
Весной становятся отвесней
Деревья, небо и дома.*

*И в том преображенье шумном
Хохочет счастье, бьет капель,
Погрязнув в мыслях о разумном,
Плутает в слякоти апрель.*

*И все душа опять приемлет,
Пойми, где радость, где беда,
Туманы льют такие земли,
Сырые тащат невода.*

*Здесь счастье улыбнется в грезе
Траве, пробившейся в снегу,
Лучами сыпля на березы,
Слепя на солнечном бегу.*

ГОРОД

*В цейтноте и в чем был уверен,
Презрев молодые года,
На этот мистический берег
Я выброшен был навсегда.*

*Здесь улиц ночное убранство
Гудит и пестрит предо мной,
Легко прорубает пространство
Беспечной своей новизной.*

*Мой город – таинственный остров,
Рекламным неоном сиял,
Наверно, не послан, а сослан,
Коль слово на хлеб променял.*

МИНУТЫ

*Бывает день как первый шаг,
Среди осенних одеяний
С утра твой смех звенит в ушах,
И от окна прохладой тянет.*

*Так нежно трогает рукав
Случайная на сердце строчка,
И в доме соль земных октав
Найдет чувствительную точку.*

*Трамвайный звон, и мир открыт
Его божественным минутам,
И даже коммунальный быт
Здесь совершенней Абсолюта.*

ЗВЕЗДА МОЯ

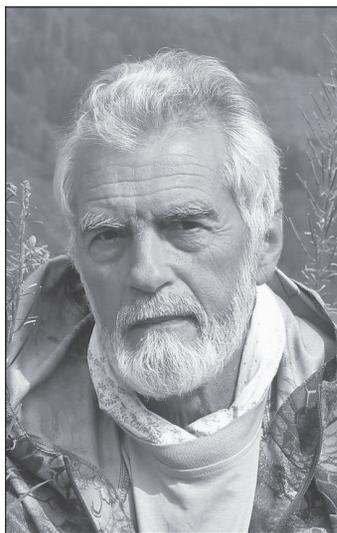
*Порой глаза откроешь ночью:
душа в бесплотности двойкой
Под потолком витает точно,
глухим отгородившись мраком.
В окно ворвется сходство бедное
деревьев тени, тени зданий,
Сон есть броня блестяще-медная
от искушений и страданий.
Косноязычьем страхи выбиты,
признания полны отравы,
Фонарным светом тени выбриты,
видения обманом правы.
Понять бы жизни схемы тайные,
узнать пророческие лики
И эту тишину бескрайную,
небес язвительные блики.
Живой водой, водою мертвою
вливался свет, его развилка.
Рассветной зыбкостью отчетливо
виска пульсировала жилка.
Меж сном и явью, жребий случая,
в моря, в непознанные страны
Лети, моя звезда падучая,
рождаясь с каждым утром заново.*



**Сергей
ЧИНЯЕВ**

КОГДА ПЛЕСО ЗАПИРАЕТ КАЛИТКУ

Рассказ



Всю ночь хлопьями валил снег. «Э-эх, баранья башка! Олух ты царя небесного! – ворочаясь в спальнике, бранил себя Валентин Кулешов. – Вчера надо было отчаливать! Ведь собирался! Ну и охламон же ты, Валентин Петрович!» Потом уж, когда начал засыпать под тихое бормотание реки, в его седеющей голове промелькнула и приятная мыслишка: «Но как азартно вчера хватал хариус... особенно на морковную мормышку!»

К утру снегопад утих, и по тому, как в балагане резко похолодало, стало понятно, что ударил нехилый морозец. Какой уж теперь сон? И чуть только просветлело, Кулешов одним духом вышмыгнул из спального мешка. Откинув брезентовый полог и сощурился от спящей белизны, он стал осматривать берег. Вокруг царил один белый цвет: выбелило и рыже-зеленую еще вчера тайгу, и ржавые от осенней слякоти поляны, и серые галечниковые косы – все позававило пухляком, и лишь река в этом ослепительном пространстве темной, стальной лентой катила свои холодные воды, шебарша на струях уже подмерзающим салом.

– Хе! И корыта моего не видать! Ну и навалило пуху... лебяжьего... – подивился Валентин.

Утопая по колено в легком снегу, Кулешов побрел к берегу. На том месте, где с вечера он

привязал свою лодку, теперь возвышался длинный сугроб, наполовину уходящий в реку. «Хорошо хоть, что мотор укрыл куском полиэтилена», – отметил про себя Петрович и, не мешкая, принялся выгребать из лодки снег.

Надобно ему было теперь поторапливаться: река быстро остывала, тонкий ледок уже двухметровым припаем оковал береговую кромку, но еще не набрал силы и с хрустом, словно тонкое стекло, ломался под ногами. Это вселяло скромную надежду, что тихие омута еще не забились шугой – авось удастся проскочить коварное Старушкино плесо. Хотя, конечно, он осознавал, что при такой погоде ситуация на плесе могла поменяться в считанные часы.

Выгребая из лодки уже примерзший к деревянным бортам снег, Валентин урывками поглядывал на заснеженный балаган: там из-за полога за ним неотрывно следили встревоженные глаза собаки.

– Ну что, Урма, как там твое потомство? – придав голосу приветливость, обратился он к лайке.

От ласковых слов глаза Урмы сразу потеплели: помнит хозяйин о ней, не забывает, не уплывет один, оставив ее здесь с кутятами! Но тут жалобно заскулили щенки, и собака скрылась в балагане.

ЧИНЯЕВ Сергей Викторович родился 3 октября 1953 года в селе Терехино Новокузнецкого района Кемеровской области. Служил в армии. В 1981 году окончил Томский государственный университет. Отработал в полевой геологии более тридцати лет. Прошел путь от маршрутного рабочего до главного геолога. Работал в Монголии. Печатался в областной газете «Край», в журнале «Огни Кузбасса». Живет в Кемерове.

– Угораздило ж тебя вот именно теперь опростаться! – продолжая выгребать снег, мягко укорял Валентин Урму. – Аль не могла погодить до дому? Что вот теперь? Зима к нам пришла...

Как бы то ни было, а приплодом своей лайки Кулешов дорожил, ведь хорошего породистого кобеля для нее долго искал и нашел. А как только собака забрюхатела, так и на щенков охотники тут же сыскались. Уж наобещался он людям, а коли посулил, то все – в лепешку расшибется, но выполнит свое обещание. Вот позавчера и принесла Урма пятерых щенят, да каких – один другого краше! Что тут поделаешь – устроил он в балагане поближе к печурке уголок для кормящей матери...

То, что Урма должна скоро оцениться, Петрович, конечно же, знал, но все ж была у него надежда, что успеют они вернуться домой до щенения. Но – не успели.

А как так вообще получилось?

Этой осенью собрался Валентин на рыбалку уже в конце октября. С первыми морозцами хариус скатывался с малых рек в полноводную Усу, табунился по отмелям, жировал в прибрежных лопухах – ну разве усидит заядлый харюзятник в такое-то время в городской квартире?! Одно его удерживало: собака вот-вот должна разродиться. Хотел он в этот раз один, без верной своей таежной спутницы поехать, да куда там – жена наотрез отказалась смотреть за лайкой.

– Ага, она ж тут без тебя и денно и ночью дурнинушкой выть будет... И опять же, все двери когтями оскребет! – возражала хозяйка. – Да че там говорить-то, ты только рюкзак собирать начал, а она уж не отходит от тебя! По пятам за тобой ходит...

– Ну, Машенька, ну, лапушка ты моя, она ж на сносях уже! А как, если не дотерпит – оценится? Мож, как-нибудь обманем ее?

– Не, Валь, не уговаривай, мне и прошлого раза хватило. Ее, сучку, не обманешь: она чует, что ты не на работу, а в тайгу намылился! Короче, или не ехай нынче вовсе, или, если тебе уж так невтерпеж, бери ее с собой!

– Как же, Машунь, не ехать? Я ж отгулов подкопил... Ты же рыбку-то тоже любишь!

– Люблю! Но нервы мои мне дороже! Мне от ее тоскливого воя по ночам самой выть хочется, я уж про соседей и не говорю. Так что, Валюня, кумекай и решай! Такой вот мой тебе сказ!

Не поддавалась жена на его уговоры да еще такой жесткий ультиматум предъявила – оттого

выбор у Валентина был невелик. Да и не думал долго Петрович: ехать-то шибко хотелось. И отправился он на рыбалку с брюхатой Урмой.

Одним днем добрался Валентин до облюбованных мест в верховьях горной реки. Около сотни километров прошел на своей десяти-упругной плоскодонке, и, как и ожидалось, рыбалка у него удалась: хариус брал отменно! Только вот на пятый день забот у Петровича прибавилось Урма: все ж оценилась. Но рыбалку Кулешов не забросил; каждый день, перед тем как умчаться на моторке к рыбным перекатам, оставлял он собаке густую похлебку, а вечером всегда возвращался на стоянку с хорошим уловом. Уже до самых краев был заполнен потрошеной рыбой двухведерный кан из нержавеющей стали; с последнего улова рыба даже вся не вместились, и вчера под вечер они с Урмой славно попиrowали – умяли аж три «семейные» сковороды жареной рыбки...

Вскоре весь снег из корыта был тщательно выбран, и Валентин, круша льдистые забереги, столкнул посудину на воду. Оставалось только собрать вещи, устроить в лодке лежанку для Урмы со щенками, погрузить улов да и поторавливаться – ходом сваливать в низовья реки. Короб с подсоленной рыбой был схоронен под ближайшим стволом старой талины, и сейчас его совсем завалило пухляком. Отбросив снег, Валентин с натугой приподнял за лямки увесистый кан (ощутив при этом чувство удовлетворения за свои труды), накинул его на плечи и, представляя, как обрадуется женушка Машуня улову, понес рыбу в лодку.

Высочив из балагана, Урма теперь пристально следила за каждым движением Кулешова. Но когда Валентин вернулся на стоянку и, собрав все пожитки, молчком понес их в лодку, оставив ее щенят на голом пихтовом лапнике, собака сильно забеспокоилась. Она догнала хозяина возле реки и, кружа вокруг него, стала звать вернуться обратно – к заскулившим уже кутятам.

– Ну, чего ты, чего? А? Э-эх, дурешка! – для порядка пожурил Валентин собаку, но потом, искренне веря, что лайка понимает его слова, успокоил ее: – Не бойсь, Урма! Неча зря беспокоиться, глупых! Не оставим мы твоих сосунков! Всех с собой заберем!

Распределив нехитрое походное барахлишко по центру лодки, Валентин уже в сопровождении собаки вернулся за щенками. Сразу всех

унести было неловко, и поэтому, прижав к груди парочку, он уже по натеренной в снегу тропе понес их на приготовленную между кокорами лодки подстилку. Урма покрутилась возле оставшихся поскуливающих кутят и затем, не в силах более оставаться безучастной к сборам, ухватила одного щенка за шкуру и потащила его следом за хозяином.

– Вот-вот! Молодец, Урма! Помогай, помогай, умница ты моя! – похвалил Валентин заботливую мамашу.

Когда все беспокойное собачье семейство было устроено в лодке, Валентин занялся мотором. За ним Кулешов всегда следил внимательно (по-иному-то на горной реке и нельзя, а то ведь, не дай бог, подведет в опасном месте, тогда беды не оберешься), потому заводился движок, считай, с первого рывка.

Как следует прогрев мотор, Валентин оттолкнул лодку от берега и шестом вывел ее на стремнину. «Ну, с богом!» – тихо молвил Петрович и добавил газу.

Лодка шустро неслась по реке, огибая мели и торчащие из воды русловые камни, которые уж нахлобучили белые снеговые папахи, словно кавказские чабаны, и оттого отчетливо были видны издали на темной воде. Кулешов хорошо изучил здешний фарватер, помнил, где и под гладью воды таились коварные единцы, на которые он не раз уж на скакивал днищем, – и потому летел не сбавляя скорости по шумливым шиверам и каменным россыпям. Но плывущая по реке шуга так меняла водную обстановку, так преображала русло, что даже он со своим немалым опытом терялся и порой наезжал на подводные камни. Лодку по инерции проносило через скальный выступец, лишь мотор, зацепившись за камень защитой винта, с негодующим ревом и брызгами подскакивал на еловом транце. «Твою ж мать!» – ругался Петрович, обернувшись к движку, и, поправив его, снова добавлял газа. Собака при каждом таком ударе корыта о камни вздрагивала, поднимала голову и вглядывалась в прищуренные глаза хозяина, но, не обнаружив в них признаков волнения, тут же успокаивалась, прильнув всем телом к щенкам.

Валентин торопился – до упора скручивал ручку румпеля, поддавая движку жару, словно выжимал из старенького «Вихря» все имеющиеся в нем лошадиные силы. Мешкать и правда было нельзя: морозец не спадал, река стыла все сильнее; на струях шугу еще проносило течени-

ем, но у берегов в тихих заводях она уже начала смерзаться в крупные лепешки, и это не сулило ничего хорошего. За пороги Петрович не опасался, там сильное течение – он проскочит меж валунов. А вот плеса... И особенно то тихое и глубокое – Старушкино...

Уже около двух часов Кулешов катился вниз по Усе, но так и не повстречал ни одного припозднившегося рыбака, даже ни одной лодки не попало ему на пути. «Все умные-то люди уж скатились давно, один ты, дурень, тут остался!» – снова ругал себя Валентин.

Наконец после очередного переката лодка выскочила на спокойное долгое плесо. «Ну, вот и оно!» – узнал Валентин место и пристально стал всматриваться вперед, туда, где за огромной, нависающей над рекой скалой начинался выход из этого бездонного тиховодья. Тут его внимание привлек едва заметный сизый дымок, поднимающийся из-за скалы. Подкатив чуть ближе, он увидел и две уткнувшиеся в берег деревянные лодки. «Ага, не один я здесь такой папуас, оказывается», – со смешанным чувством радости и беспокойства подумал Кулешов. Однако, когда он подплыл еще ближе, от его легкой веселости не осталось и следа: перед замшелым утесом темная вода плеса на всю ширь реки сменялась оловянно-серым полем сбившейся в сплошную массу снежуры и мелкого льда.

Тем и опасно было в это позднеосеннее время Старушкино плесо (прозванное так по соименной речке Старушке, впадающей напротив него с левого берега). Глубокое и тихоструйное, оно вмещало огромную массу воды, а вот выход из плеса был хоть и стремительным, но широко и узким. Даже воротами его не назовешь, а в малую-то воду, как, впрочем, и перед ледоставом, он вообще сравним был с небольшой калиткой.

Пытались как-то некие ухари с ходу на скорости пробиться через такую же студенистую массу к этой выходной калитке – да куда там! Вляпались! Да так, что ни назад ни вперед: попали словно муха в варенье. А самое интересное, что и за борт из лодки не вылезешь – провалишься тут же в этом мерзлотном киселе. И все, из-под него уж не выберешься: там этого киселя метра полтора, а то и боле. Вот потом и сиди в корыте да жди, когда морозцем мосток от лодки до берега выкует, а когда этот морозец вдарит – одному Богу известно. И по берегу лодку не протащишь, потому как упирается бечевник в отвесную ска-

лу, а под скалой яма огромная – метров этак пятнадцатую глубиной; таймени в ней живут, но теперь-то она вся колтужником забита.

Сбросив скорость, Валентин подчалил к берегу. От компании, что грелась у костра под скалой, отошел человек и с какой-то грустной, натянутой улыбкой направился к нему. Кулешов сразу признал в нем давнишнего знакомого Семена Бредихина: не раз они встречались на причале в Междуреченске да и на рыбалке доводилось с ним пересекаться.

– Привет, Валя! – поздоровался Семен. – И ты до кучи в нашу развеселую компашку угодил!

– Да уж! Только я смотрю, радостью-то от вас так и прет! Че-то возле костра не пляшете и песен веселых не поете... А, Сема?

– Ага... Дела наши – впрочем, как и твои теперь, – не шибко веселые. Видал, как выход запломбировало?

– Видал! Затор, наверное, метров сто – не пробиться! Подгадило нам Старушкино плесо – нехилый заслон сотворило! Чего делать-то думаете?

– Давай чалься да пойдём к костру чайку пошвыркаем. Сообща там миром и потолкуем... – Тут Семен заглянул в лодку и увидел Урму. – Смотрю, ты не один – с собакой. Да она еще у тебя и с прибытком?! Во, блин, дела!

– Такая у нас оказия... А кто там еще в вашей гоп-компании?

– Мой напарник Лешка Пшенник да на другой лодке шорец Косточаков Тибекай с брательником – может, знаешь? Из Сыркашей они.

– Ну-ну, помню его... Давно вы здесь загораете?

– Да только вот – за час где-то до тебя с Тумяса скатились, – пояснил Бредихин. – Вчера клев дюже хороший был, вот и решили до утра задержаться. Кто ж, блин, знал, что к ночи такой морозец вдарит! Хотя шорец-то наш, – Семен кивнул в сторону костра, – вечером беспокоился, все на притихшую тайгу поглядывал, чего-то бормотал, пришептывал – вроде как со своими духами разговаривал. Да, видать, не договорился!..

Валентин иронично ухмыльнулся, перелезая через борт и подумав: «Очень знакомый вчерашний расклад – прям один в один моя проруха». Потом, ломая сапогами ледок, он добрал до середины лодки, ободряюще потрепал по зашивке Урму и направился следом за Семеном.

Люди возле костра неторопливо попивали чаек. Все коротко поздоровались с подчалившим собратом по несчастью, и стали они теперь впятером думку думать да толковать – как из этой ледяной западни вызволяться.

– Тепла, похоже, уже не будет, – начал разговор Семен Бредихин, протягивая Кулешову кружку с крепко заваренным «купцом» из висевшей на перекладине закопченной жестяной банки. – Шуга сплошняком идет! Затор-то вон на глазах прирастает...

– Сильный тыгын, однако! Не пройти! – покуривая трубку, подтвердил шорец Тибекай.

– Попали мы тут, как те черти в рукомоиник! – обхватив голову руками, с отчаянием выпалил Алексей Пшенник. – Че делать-то?! Никакой рации у нас ведь нет! Зимовать тут, че ли?!

– Так! Выходит, что по реке нам путь отрезан, – рассудительно начал прикидывать Кулешов. – Придется пешком добираться до Чексы. Это километров этак... двадцать пять будет – если по берегу идти. Можно и через перевал от Нижнего Кибраса на Левый Иванак перекинуться. Это малость короче, но придется долго ползти в гору...

Валентин представил предстоящую дорогу и призадумался: «Как же Урма с малыыми щенками?» Но, ничего пока не придумав, продолжил:

– И снегу подвалило выше колен, а на перевале-то, поди, и поболее насыпало. По такому снеговалу за день не дойдем...

– Однако, лыжи надо! – вновь вставил слово обычно молчаливый Тибекай Косточаков.

– Это коне-е-ешно: лыжи ему, однако, надо! – передразнивая шорца, с ехидцей отреагировал Пшенник на предложение Тибекая. – А еще лучше скажи: трактор, однако, надо! Ага! Тоже мне, умник нашелся! Ты что – лыжи с собой на рыбалку, что ли, прихватил? Где мы их тут возьмем?!

Косточаков ничего не ответил на Лешкину подковырку, лишь снисходительно улыбнулся в ответ.

Все понимали, что нужно как-то добираться до Чексу. Этот поселок в устье рек Иванак и Чексу вырос сразу после войны: управлением лагерей Южжубаслаг на этом месте была организована третья зона лагерей Томусы под кодовым названием Камышлаг. Заключенные валили тайгу и сплавляли кругляк по Усе в строящийся Междуреченск, а позже, когда молевой сплав запретили, в зоне был налажен выпуск тарной до-

щечки. Лишь в конце семидесятых лагерь был ликвидирован, и большая часть работавших там людей, бросив дома, уехала из поселка. Вся инфраструктура лагеря после его ликвидации, конечно, была разрушена, часть зданий и домов потихоньку разбирались и вывозилась. Но через несколько лет в поселке возникла новая жизнь: на месте бывшего лагеря обустроили подсобное хозяйство недавно открывшейся шахты «Распадская» – администрация шахты придумала разводить в Чексу свиней для своих столовых. Поэтому в поселок время от времени по подплатанной дороге ходил транспорт – на него-то теперь и рассчитывали застрявшие на Старушкином плесе рыбаки.

– Мужики, давайте все же пойдём вдоль берега, – решительно предложил Бредихин. – Может, там, за Казырсинскими порогами, какая-нибудь лодка задержалась. – И, широко улыбнувшись, добавил: – Мало ли чудачков на свете... навреде нас.

В сложившейся ситуации этот вариант устраивал всех рыбаков. Начались подготовительные хлопоты: двигатели, бачки с бензином, инструмент консервировали и уносили в лес; там все упаковывалось и подвязывалось к толстым стволам деревьев. Теперь сообщать нужно было выволочь лодки на берег да оттащить подалее от воды – с таким расчетом, чтоб весенним паводком их не смыло в реку. На высоком берегу выбрали места поположе, переворачивали корыта вверх дном и устанавливали их на бревнышки. Работы было много, и она требовала тщательности, ведь весной они сюда вернуться, и все должно сохраниться в рабочем состоянии. А потому старались не торопясь, зная, что в путь они выдвинутся уже не сегодня, а завтра с утрачка.

А еще всех удивили шорцы. С бортов своей вытасченной на берег лодки Тибекай с братом Антисом сорвали деревянные отбойники, идущие от транца по верхней кромке, распилили их на равные дощечки и, приладив к ним кожаные ремешки, смастерили подобие лыж.

– Ну ты мастак, Тибекай! – искренне восхищался Бредихин, рассматривая наскоро, но добротнo сработанные снегоступы. – Смекалистый все же ты шорец! Смотри-ка, каково замастрячил!

– Однако, так быстрее пойдём! – улыбаясь, ответил Тибекай. – Осторожно токо надо ходить: кедр – дерево хрупкий.

Зоркий взор Косточакова скользнул по лицам рыбаков, лишь на удивленной физиономии Лешки Пшенника зрачки его черных глаз, сверкнув колкими искорками, на мгновение задержались.

Находчивость Тибекая побудила и других мужиков взяться за инструменты. Все стали готовить себе лыжи из бортовых отбойников. А у Кулешова забот было еще больше. Он давно переместил Урму со щенятами поближе к костру, нарубил веток, устроил шалашик. Теперь же его особо волновало другое: «Сосунков выхаживать надо, а Урма голодная – как бы молоко не пропало!» Подходили, рассматривали щенков и шорцы, хвалили со знанием дела. И тоже намекали хозяину, что собаку теперь кормить надо. Валентин сунул Урме сухарик, взял котелок и пошел было на реку, но на полпути остановился, подумав: «Есть-то все, наверно, хотят?»

В подтверждение его мыслей раздался голос Семена Бредихина:

– А что, братва, не пора ли уж нам и откусать чего-нибудь горяченького, типа супчика, да понаваристей? Вы как на это дело смотрите? Положительно?

Все тотчас же дружно согласились. И кухаря долго не выбирали, единодушно доверили это дело самому молодому – Лешке Пшеннику.

– Давай-ка, Леха, сваргань похлебку погуще да посытней. И на всю артель вари! – сказал ему Бредихин. – Готовь с прицелом на два раза: утром некогда будет поварничать. Подхарчимся остатками по-быстрому – и в путь!

– Ведро эмалированное подойдет? – уточнил Алексей.

– В самый раз! И не экономь на тушенке, пятток банок заправь! Оно ведь как говорится: сытому-то коню и овраги нипочем.

Пшенник немедленно потащился на реку, там сапогами разбил береговой припай и, начерпав воды с ледяным крошевом, понес ведро на костер. А пока он занимался варевом, рыбаки сообща соорудили вместительный шалаш на всю братию. Потом завалили пихту, наломали лапника для подстилки и вдобавок печурку поставили – создали максимум уюта, чтоб по-людски отдохнуть перед дальней дорогой.

Тут вскоре и баланда у Лешки подоспела. Чего он только туда не намешал: и картошку, и лапшу, и крупу рисовую, не пожалел и тушенки, а еще для смаку и сальца с чесночком добавил. Сытенько-густо получилось и вкусно – мужики ели да нахваливали, об одном лишь сожалели –

что спирт весь уж давно оприходовали. Дождь-лась своей порции и Урма и теперь сытенехонька и довольнехонька млела от сосущих ее цуциков.

Ночи в это время хоть и стылые уже, но еще не жестки по-зимнему, а с горячей-то печуркой да в спальниках рыбакам было и вовсе комфортно дремать. Только Кулешову опять, как и в прошлую ночь, не спалось – он смотрел то на притихшую в уголке Урму с кутятами, то на играющие язычки пламени в печи. Иногда вставал, подбрасывал в топку дровишки и кумекал – как же он завтра с тяжелым грузом и пятью малыми щенками потащится по холодному дикому берегу?

Решение пришло к нему утром. Сразу после завтрака рыбаки стали собирать заплечные коробки с уловом. Валентин же, накормив собаку, вытащил свой кан с рыбой и, ни слова не говоря, вывалил всю ее под берег – серебряными струями растекся хариус по натоптанному снегу. От такого фортеля товарищи его даже слегка опешили. А Кулешов все так же молчком тщательно промыл пустой кан в реке и принес его обратно к костру на просушку.

– Не жалко? – спросил Семен, догадавшись, ради чего Валентин пожертвовал уловом.

– Да как не жалко? Жалко! Но собачки-то мне все ж дороже! – ответил Кулешов. – А рыбку мы еще наловим... потом.

Тем временем Лешка Пшенник, изумленный выходкой Кулешова, все ходил вокруг вороха рыбы и дивился на крупного отборного хариуса:

– Да такую рыбу, если в Междуреченске на базар вынести, в очередь по три рубля за кило расхватывают! – Он приподнял за жабры пару черноспинных рыбин. – У меня таких даже и нет! Наверно, по килограмму хайруза будут! Можно я себе крупняка возьму?

– Да хоть всю забирай, – улыбнулся в ответ Валентин. – Все одно норка схряпает иль какое другое зверье растащит.

– Лопнет та норка! – злоехидно ответил Пшенник и, отобрав экземпляры покрупнее, понес рыбу в свой короб.

Металлический кан у костра просох быстро. Кулешов настелил внутрь него тряпки (даже не пожалел свой самый теплый шерстяной свитер) и под контролем Урмы переместил на мягкую подстилку беспомощных еще щенят. Собака волновалась – кружила вокруг и заглядывала то внутрь кана, то в глаза Валентина, но вскоре по-

няла намерения хозяина и успокоилась. Хорошо утеплив кан, Кулешов всунул его в походный рюкзак.

Шорцы, наблюдавшие за хлопотами Валентина, улыбались и понимающе кивали. Они уже подготовили свои берестяные торбы с рыбой для дальнего перехода и теперь ожидали остальных.

Вскоре сборы закончились, и рыбаки с котомками за плечами, скользнув тоскливым прощальным взглядом по оставленным на берегу лодкам, двинулись в путь на придуманных Тибекоем лыжах.

Идти было непросто. Мало того что лыжи эти были тяжеловаты, они еще и скользили по пухляку плохо, а вот пятка, наоборот, начинала скользить по дощечкам, когда снег набивался под резиновую подошву болотных сапог. Однако двигаться так все равно было легче и быстрее: без этих снегоступов путники просто проваливались бы по колено в рыхлом снегу.

Шорцы ушли вперед. Привыкшие к дальним переходам, они в привычном для охотников ритме семенили лыжами, и хоть не так уж легко было идти на досках без подбитого оленьего камуса, Тибекоем, чувствуя свою ответственность за придумку, старался этого не показывать. Следом шел Валентин: он почти не ощущал за спиной тяжести своей живой, иногда попискивающей ноши; неотступно за ним, принохиваясь и прислушиваясь, двигалась Урма. Далее тяжело ступал Семен Бредихин – здоровьем мужик не обделенный, и потому пер он свой недельный улов, что тот конь, «закусив удила». Чуть приотстав, согнувшись под грузом, тащился Лешка Пшенник. Ополовинить бы ему короб, не по силе ведь взвалил он на себя груз, но куда там: жаба задавила Леху... И это его глупое жмотство понуждало мужика упираться и терпеть.

Первый привал путники сделали на Кибрасской петле под кроной старого кедра.

– Сколько же теперь мы прошли-то? – немного отдышавшись, поинтересовался Лешка.

– Да где-то километров пять, – ответил Кулешов.

– Эт че?! Нам еще двадцатку шлепать?! – возмущенно удивился Пшенник. – Не, я на этих досках не дойду...

– Оставайся, – спокойно произнес Семен Бредихин и, улыбнувшись, добавил: – Весной придем за тобой. Мож, че родным передать?

Пшенника передернуло от такой мрачной шутки, он накинул на голову капюшон штормовки и призадумался.

– Как ни крути, а понятно, что не в лыжах дело, – вслух начал рассуждать Семен. – Не фирменные снегоступы, конечно, но верно и то, что поклажа за спиной тяжеловата... Не зря ж тертыми-то людьми сказано: жадность фраера погубит.

Бредихин посидел еще немного у кедра, затем встал, развязал рюкзак, вынул короб и отошел с ним к стволу поваленного дерева. Там он натоптал площадку в снегу и высыпал на нее рыбу. Но напрасно все подумали, что Семен, следуя примеру Кулешова, решил избавиться от своего улова; поступил он куда хитрее: вынул из ножен широкий тесак и принялся ловко обрубать рыбинам хвосты да головы, а оставшуюся серединку заново укладывать в короб.

Когда Лешка Пшенник понял замысел своего напарника, то прямо-таки воспрянул духом и шустро занялся облегчением и своей доверху набитой хариусом торбы. Он больше всех устал от чрезмерной ноши и теперь с каким-то торжествующим злорадством отсекал рыбины головы вместе с грудными плавниками. Забавно было наблюдать за тем, как Лешка театрально свирепел; сдержанные шорцы и те иронично щерились на этот спектакль, покуривая чуть поодаль свои тонкие трубочки. Даже Кулешов отвлекся от забавы со щенками и тоже стал наблюдать за Пшенником, причем краем глаза он заметил, что его крупных хайрузов Лешка почему-то помиловал. Видно, собирался похвалиться ими в городе.

– А вы, Валентин Петрович, – покончив со своей работой, с хитрой улыбкой обратился Лешка к Кулешову, – совсем домой без рыбки явитесь, как тот гуляка? Ведь вроде как на рыбалку уехали, а к жене нарисуетесь – и без улова?!

– А я удовольствие от самого процесса получаю! – пытаюсь скрыть раздражение, ответил Валентин. – А после того как ты ее выудил, она ведь... рыба-то... всего лишь еда.

Кулешова задел за живое вопрос Пшенника, однако больше он досадовал не на Лешку, а на себя – за то что поддался азарту и протянул до последнего, за то что вовремя не сорвался с верховьев... Ведь снимись он со стоянки днем раньше – мог бы еще вчера быть дома и с Урмиными щенками, и с богатым уловом, жене обе-

щанным. На мгновение он представил удивленно-вопрошающее лицо Марии, ведь раньше с ним никогда такого не случалось, чтоб вернуться с рыбалки – и без хариуса... Нонсенс!

Перекур закончился. Шорцы спрятали трубки, закинули за спины торбы и, надев лыжи, неспешно двинулись в путь. За ними потянулись и остальные.

Шаг за шагом, километр за километром брели рыбаки по занесенному снегом бечевнику. Справа от них стеной высились пихты да кедры с белыми шапками снега на ветках, а слева темной лентой катила свои замерзающие воды Уса. Иногда путь преграждали круто опускающиеся в реку скалы, и тогда приходилось снимать лыжи и поверху облазить эти прижимы.

На Казырсинских порогах, в отличие от привычного летнего шума воды на шиверах, теперь стоял зловещий шелест несущейся по реке ледяной шараша. На крутых изгибах русла эту стылую шубу напором воды иной раз выбрасывало на береговой припай, образуя вдоль берега мерзлые бурты. А в стремнинах порога еще недавно гладкие валуны, выступающие из воды мокрыми блестящими лбами, за минувшую ночь покрылись узорчатыми курчавыми ледышками, словно облачились в дамские каракулевые капоры.

Пороги растянулись на несколько километров, Верхний Кузырсу сменился Нижним, и на всем этом отрезке пути вдоль берега величаво возвышались гранитные скалы, уходящие уступами ввысь – куда-то в лазурное поднебесье. Это, пожалуй, был самый неудобный участок для ходьбы на лыжах: крутой берег был сплошь завален гранитными глыбами, и путникам иной раз приходилось карабкаться, ища проходы меж камней. К тому же теперь, после снегопада, каменные россыпи прикрыло пухляком, и эта сглаженная белизной поверхность могла таить какой-либо подвох.

Первая неприятность случилась у Семена Бредихина: правая лыжа лопнула под его солидным весом. Он глянул вперед: там Тибекай с Антисом, попеременно сменяя друг друга, уверенно прокладывали лыжню. Расстроился, конечно же, Семен из-за своей оплошности – присел на камень передохнуть да с мыслями совладать.

Вскоре подоспел и Лешка Пшенник, но Семен взмахом руки велел ему двигаться дальше:

– Давай, давай... Двигай помалу – я следом за вами по лыжне пойду самотопом...

Сломанную лыжную дощечку Бредихин отбросил в сторону, хотел выбросить и вторую, но, подумав, пристроил ее себе за спину, и, как позже окажется, не напрасно. Такой уж он человек был – и в собственном несчастье мог позаботиться о товарищах. И случай не заставил себя долго ждать: не прошел Семен и километра, как увидел сидящего на снегу Пшенника. В руках тот держал сломанную лыжу.

– Ну что, Леха, притомился? – поравнявшись со своим напарником, спросил Бредихин.

Алексей показал сломанную лыжу:

– Я тоже, как и ты, приехал! Щас вот передохну малехо да тоже потепаю дальше пехом за тобой следом.

Бредихин с едва уловимой улыбкой скинул заплечную ношу и отвязал от короба целехонькую лыжу:

– На, Леша, надевай и тепай.

– А ты? – удивился Алексей.

– Пойдем на лыжах по очереди: километр ты, километр я, – широко улыбаясь, ответил Семен. – Так сказать, для разнообразия... из-за нашего с тобой безобразия. Глядишь, и дохиледем до поселка потихоньку...

У Валентина Кулешова заботы были иного рода – он все время оборачивался и смотрел за Урмой. Собаке непросто было бежать по свежей лыжне: лапы то и дело проваливались в снег и такой рваный темп сбивал дыхание и выматывал лайку. Хорошо хоть, что щенки помалкивали: их, словно в люльке, укачивало во время ходьбы. Однако Кулешов беспокоился: «Как бы цуцки не замерзли!.. А не пора ли уже покормить кутят?» Время от времени Валентин останавливался и проверял щенков – трогал, тормозил и, как только те подавали признаки жизни, укрывал их свитером и, успокоив собаку, шел дальше вслед за удаляющимися шорцами.

По пути ему лезли в голову разные житейские мысли: «Вот съездил на рыбалку, наловил вдовсталь харюзов, а рыбы за спиной нет – это убыток... Но вместо рыбы в кане щенки – это ж прибыль! Лодку в тайге оставил, мотор опять же – снова убыток...»

Кулешов машинально обернулся, в который раз посмотрел на собаку и по-дружески ободрил ее:

– Вот так и перебиваемся... да, Урма? Не зря ж в народе говорят, что прибыли с убытками рядышком живут, и никуда от этого не спрячешься!

Потом еще малость подумал и под нос себе пробурчал:

– Убытки-то, похоже, азартных шибко любят, а разумных людей они стороной обходят...

Через два часа, где-то на половине пути, шорцы остановились для большого роздыха – о том известил легкий синий дымок, вьющийся из ближайшего по ходу пихтача. Кулешов довольно скоро дошел до костерка, где шустрый Антис уже кипятил воду. Но не до чая было Валентину: у них с Урмой самой важной задачей сейчас было покормить цуциков. Выдав собаке пару сухариков, Кулешов занялся устройством подстилки, пожертвовав для этого своей теплой стеганой курткой. Материнский инстинкт довольно быстро подсказал лайке, для чего хозяин готовит лежанку, и, как только Кулешов стал вынимать щенков из кана, Урма была уже подле них и, обнюхав кутят, тут же улеглась для кормления.

Вскоре подтянулись и изрядно притомившиеся Семен с Алексеем. Бредихин еще как-то бодрился, подшучивал над «одной парой дежурных тапочек на двоих», а Лешка совсем измотался и способен был лишь на вымученную кривую улыбку. Однако, чуток отдышавшись, мечтательно вымолвил:

– Как до дому доберусь – сразу в горячую ванну залезу. Час в ней лежать буду!

– Тоже мне, нашел отраду, – оборвал его мечтания Семен. – Вот банька – это да! Я, пожалуй, к тестю в Сосновый Лог наведаюсь. Ох, парок у него в каменке знатный! С пихтовым духом! А в твоей городской ванне-то что толку: голову и жопу в одной кастрюле моешь!.. То ли дело в баньке – душевно отдыхаешь! Вся хворь что ни на есть наружу с потом выходит! После парилки не только тело, но и душа отмывается! Оттого и мысли правильные иногда в башке проступают. Уразумел?

– Ой, прям в бане я, че ли, не был? Пока не остаканишься, никаких путных мыслей в голове не проступает!

– Ну, это как полагается: опосля бани сам бог велел! Только сдается мне, что торопишься ты, парень, самую суть процесса-то упускаешь, а парилка спешки не любит. В баню-то небось ходишь, чтоб по-быстрому веничком отхлестаться да к стакану поближе? А, Леха?

Лешке нечего было на то возразить, и он снова лишь криво ухмыльнулся.

В этот раз отдыхали подольше – успели попить кипяточку с сухариками да и копченого сальца пожевать для пополнения потраченных калорий. Но вот уже неумолимые шорцы вновь засобирались в путь: до сумерек желательнее было бы добрести до поселка.

Братья опять ушли вперед. Им приходилось тяжелее всего, так как они пробивали лыжню, но для них это занятие было само собой разумеющимся, они так по жизни привыкли – в любом деле рассчитывать только на себя. За шорцами следовал Валентин со своими хлопотами и заботами о выживании щенков на морозе. В кильватере по проторенной лыжне тянулись сменяющие друг друга Семен с Алексеем. Когда очередь идти на лыжах доходила до Бредихина, он довольно быстро подтягивался к основной группе и потом долго ожидал еле телепающего Пшенника.

А вконец измотавшийся Лешка уже проклинал тот день и час, когда согласился на эту поездку – это ведь Бредихин соблазнил его легким богатым уловом... И теперь Пшенник шепотом ругал и Бредихина, и эту рыбалку, и эту тяжелую чертову рыбу. Иной раз, совсем обессилев, он садился на снег, и ему казалось, что остальные рыбаки нарочно оторвались от него подальше, оставили одного умирать в этой холодной, угрюмой тайге. Он думал, что все его бросили и никто за ним не вернется... Слезы текли из его глаз, он матюгался и размазывал их по щекам. В эти минуты Пшенник испытывал к себе непомерную жалость. Он снимал с плеч рюкзак, открывал короб, но прежде, чем выбросить часть рыбы, с жадностью обгрызал мясистые подсолненные спинки. Это немного приводило его в чувство. Утерев ладонями слезы, Лешка находил в себе силы подняться и снова идти вслед за другими. Однако зря он без меры наелся подсолненной рыбы: вскоре нестерпимая жажда овладела им. Горячими руками он уже бесконтрольно хватал на ходу снег и отправлял его в рот.

Теперь процессия растянулась более чем на километр. Разрыв между рыбаками мог стать еще больше, но идущий впереди Тибекай время от времени приостанавливал ход, оборачивался и всматривался в береговую кромку. И продолжал путь, лишь удостоверившись в продвижении замыкающего шествие.

За Казырсинскими порогами никакой случайной лодки они так и не повстречали: все лодочники с первым крутым морозом поспешили убраться на свои причалы. Так что зря Семен Бредихин рассчитывал на каких-нибудь им подобных чудачков – таковых на Усе больше не оказалось.

Изнуренные походом, они теперь шли очень медленно – уже даже не шли, а волочились, но все ж мало-помалу продвигались по засыпанному пухляком бечевнику. Иногда, вконец умаявшись, останавливались передохнуть, а то и делали короткие привалы. И снова вставали и шли, шли и шли под опостылевший уже хруст несущейся по реке ледяной шарашаи.

И вот, когда уже вечерние сумерки индиговой пеленой опускались на притихшую заснеженную тайгу, вдруг потянуло издали дымком... Как же сладок и желанен был этот запах! Ведь он оповещал, что близок уж конец их мытарствам, что скоро доберутся они до жилья и смогут наконец-то отдохнуть в теплой избе. От этого прибавилось сил даже у тех, кто уж отчаялся добрести до поселка до наступления ночи (особо это касалось Лешки Пшенника).

Вечер не совсем еще затушеввал поблекшие краски тайги непроницаемой ночной чернью, как бредущие в сумерках рыбаки вышли к устью Иванака. На том берегу реки, где раньше был лагерный поселок, еще сохранились крепкие срубы домов, в которых доживал свой век уже корнями приросший к этим местам таежный люд.

Вброд переходили Иванак с опаской: река тащила с верховьев мерзлый колтужник сплошной ледяной лавой, и комья ее предательски били под колени, норовя свалить и унести людей вместе с собой. Кулешов же боялся еще и за кормящую Урму: собака и так вымоталась в пути, проваливаясь по брюхо в снег, а тут и вовсе могла подморозить соски. Валентин готов был даже перенести лайку на руках, но сначала нужно было перетащить щенков. Приказав собаке сидеть, Кулешов побрел на другой берег. Но когда он был уже на середине брода, Урма занервничала, сорвалась с места и, взвизгнув, ринулась следом.

– Урма, назад! Назад, дуреха! – взревел Кулешов, но было поздно: собаку напором шуги уже потащило вниз.

Лайка сопротивлялась давящей колючей массе мелкого льда и отчаянно гребла к противоположному берегу. На твердую поверхность

ей удалось выбраться лишь метрах в пятидесяти ниже по течению. Валентин как мог быстро перебрел реку, сбросил с плеч рюкзак и поспешил Урме на помощь, но та, уже отряхиваясь от воды, семенила ему навстречу.

Пожурил Валентин собаку – не злосердно, а так, для порядка – за то что ослушалась команды. Но лайка, не уловив в его голосе угрозы да и вины за собой особой не чувствуя, смотрела на хозяина безвинными глазами.

Последним переходил брод Пшеник, и здесь его опять угораздило отчебучить номер: споткнулся уже под конец переката, окунулся по пояс и набрал в болотники ледяной воды. Переобуваться Лешке было лень, да, наверно, он и не смог бы сделать это быстро: его всего колотило от нервного перевозбуждения.

Поэтому, завернув сапоги, он, поочередно сгибая ноги в коленях, просто вылил воду из болотников и прохрипел:

– Погнали скорее к Степану, труба-то в его доме вон как дымит! У него щас там натуральный Ташке-е-ент!..

А пока товарищи молча взирали на него, Лешка, сверкнув на них какими-то обезумевшими глазами, добавил:

– Да, поди, в загатнике-то у него и согреться есть чем?

Изба престарелого, давно отмотавшего на зоне свой срок и теперь уж по привычке бедосирого Степана – давнишнего знакомого почти всех усинских рыбаков – стояла на взгорке и видна была со всех сторон. Степан всегда радушно встречал заезжих: скучно ему было одному, а так, глядишь, и рюмашку-другую опрокинешь за встречу, и с людьми пообщаешься – о жизни, о судьбинушке своей горькой побалакаешь. Или иной раз, если кто из гостей охоту проявит, так и по хозяйству поможет.

В этот раз гостевали рыбаки у деда Степана аж три дня, пока в поселок не прочистили дорогу да следом за трактором не подъехала крытая брезентом шишига с кормами для свиней.

...И вот наконец-то Кулешов в неотступном сопровождении исхудавшей, измызганной Урмы объявился на пороге городской квартиры. На заросшем почти двухнедельной щетиной лице Петровича гуляла насильно вымученная для жены улыбка, да и собака, интуитивно чуя что-то недоброе, попыталась изобразить на морде веселость. Однако, как ни старались вернувшиеся произвести на женщину приятное впечатление, ничего не получилось.

Давно уж прошли все сроки их возвращения, оттого хозяйка встретила их, мягко говоря, не очень радушно:

– Прибыли, гулены? Ох и заждалась я уж тут вас! Ох заждала-а-а!.. Извелась ожидаючи-то, прям вся на нервах! Исхудала ажно... Где вас черти-то носили? А?!

И поскольку муж как-то вяло реагировал на ее упреки, нанесен был удар еще по одному больному месту:

– С работы тебе уж звонили! Вот уволят тебя!

Измытарившийся Кулешов, ни слова не говоря, снял с плеч рюкзак, разулся у двери и неспешно, немного вразвалочку, прошел в комнату – даже не глянув на слегка опешившую от такой дерзости супругу. Проводив взглядом мужа до дивана, Мария решила пока отстать от него и в предвкушении любимой снеди заглянула в оставленный у порога рыбацкий кан. И вместо наобещанного малосольного хариуса увидела там щенков...

Тут уж и вовсе оторопел, она перевела взгляд на притихшую в углу собаку и как-то отрешенно вполголоса задала мужу вроде бы вполне уместный вопрос:

– А где ж рыба-то, Валь?



**Виктор
ЛИХОНОСОВ**

**НЕНАПИСАННЫЕ
ВОСПОМИНАНИЯ.
НАШ МАЛЕНЬКИЙ ПАРИЖ***

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ОТБЛЕСКИ ВОЙНЫ

*– Ну что ж: значит, быть по сему...
Из разговора*

Официальный отдел

...И случилась эта несчастная война.

«Братья, творится суд Божий. Терпеливо и с христианским смирением в течение веков томился русский народ под чужеземным игом, но ни лестью, ни гонением нельзя было сломить в нем чаяния свободы. Как бурный поток рвет камни, чтобы слиться с морем, так нет силы, которая остановила бы русский народ в его порыве к объединению.

Да не будет больше подъяремной Руси!

Достояние Владимира Святого, земля Ярослава, Осмомысла, князей Даниила и Романа, сбросив иго, да водрузит стяг единой, великой и нераздельной России, да свершится Промысел Божий, благословивший дело великих собирателей земли русской, да поможет Господь Бог царственному своему Помазаннику Императору Николаю Александровичу всяя России завершить дело великого князя Ивана Калиты, а ты, многострадальная и братская Русь, стань на сретенье русской рати.

Освобождаемые русские братья, всем вам найдется место на лоне матери России.

Не обижая мирных людей, какой бы они ни были народности, не полагая своего счастья в притеснении иноземцев, как это делали швабы, обратите меч свой на врага, а сердца свои к Богу с молитвой за Россию и за русского Царя.

Верховный Главнокомандующий
генерал-адъютант
Николай
5 августа 1914 года».

...За слезами и плачем забылось воззвание великого князя Николая Николаевича, но ясно было одно: иди и умирай за Отечество. И был поначалу великий патриотический подъем. Извозчик Терешка отдал армии вороного жеребца за вексель в полторы тысячи рублей. Купцы братья Тарасовы и Черачев одели на войну своих служащих на собственные деньги и платили их семьям по пятьдесят процентов зарплаты. Даже в «Союзе Михаила Архангела» отрекались от брани с инородцами, закупали на взносы соленое и свежее сало для фронтовиков. В день объявления военного положения многие станции выслали конокрадов.

Любопытно то, что блестящий хвост кометы появился на небе в безлунную ночь под выстрелы первых боев. В начале августа комета находилась в созвездии Рыси, приблизительно в том же месте, где распускала сияние комета в Отечественную войну 1812 года. В начале сентября комета скрылась, а в октябре она перешла в созвездие Большой Медведицы.

Уже первые сводки выкрикивали мальчишки с газетками в руках, уже лица убитых и раненых замелькали на полосах быстрых журналов. Черноморская станция все провожала и провожала новобранцев.

- Прощайте, прощайте на земле и на небесах.
- Не журитесь, раз стрельну и вернусь...
- Возвращайтесь с Георгием!

Неделя белья

Разъезд начался в четыре часа утра. У второго общественного собрания Терешка поджидал молодых господ. Рюмка водки в обжорке Баграта да гусачок подкрепили его, и он тепленько сидел на козлах, раздумывая, каким повышением цен на рынке грозит война. Пока все шло, слава богу, так же, как и всегда: базары были окружены возами с хуторов и станиц, фунт баранины не подскакивал выше 15 копеек. Переваливались на возах из станицы в станицу ярмарки. Но и богатая публика так же, без тревоги, ездила на курорты в Минеральные Воды, и балы (правда, под видом благотворительности) не прекратились. Только разве мадам Бурсак остепенилась, не заезжала за бриллиантами в банк и не мечтала больше о Париже.

Терешка по роду своего ремесла лучше других знал, кому как обходится война с немцем. Попсуйшапка, например, приостановил в своем дворе постройку каменного сарая. Лука Костогрыз передал ему, что генерал Бабыч отложил празднование своей полувекковой службы в офицерских чинах до полной победы над врагом. В день его рождения шесть пекарей несли к дворцу трехаршинный пирог от Кёр-оглы; полиция задержала процессию: показалось, что революционеры волокут генералу гроб! На Новом базаре Попсуйшапка сорвал со столба объявление: «Нужна интеллигентная немка к детям». Персы спешно продавали свои лавки и уматывали к себе на родину.

* Окончание. Начало в «ОК» № 4.

Заскочил было в Екатеринодар забияка Фосс, поврал, будто едет на Кавказский фронт толкать пушки, но никто, даже Баграт и Бадуров, уже не накормил обжору бесплатно.

4 сентября провели по улицам первую партию пленных; и так же, как в турецкую войну, нижние чины поставлены были на казарменное положение, а офицеров растолкали по квартирам, связав их одним честным словом. Екатеринодарские вдовушки, ветреницы зазывали к себе на постой немцев и австрийцев и жили с ними, наплевав на позор. Никакой наказный атаман не мог бы запретить им. Мало ли когда-то турки увезли на родину русских жен; увезут и эти, если захочется, когда наступит мир. На третий месяц войны Манечка Толстопят записалась в Общину Красного Креста, которую возглавляла супруга наказного атамана. Община выпустила воззвание «Добрые русские граждане!», Манечка прочитала и затрепетала от слов: «Слава наших героев – наша слава, и их беспомощность – наше несчастье и позор». Написала заявление и побежала во дворец. На душе было то же чувство, что и в августе, когда по всем церквам звонили колокола, а на другой день в семьях прощались с сыновьями и внуками, давали на дорогу серебряные рубли и плакали: «Сыночек мой! От ветра я тебя укрывала, от солнца я тебя защищала. От службы царской не упрятаю я тебя-а...» Манечка шла по улицам за конным строем, слушала, как пели новобранцы, и плакала. С детства любимым ее занятием было встречать полки казаков. Они ехали обычно по Котляревской улице и всегда пели. И не она одна выбегала любоваться лихими всадниками. Кто жил поблизости, вставал от трапезы, растворял окна или выскакивал на улицу. Со временем екатеринодарцы избаловались зрелищами шествий и парадов, а в прошлом веке их внимание к родному воинству было воистину родственным. Покойный ее дедушка надевал черкеску и гордо стоял на тротуаре, опершись на кизилковый костыль. Манечка бежала за конными казаками до епархиального училища; там перед черным узорным крестом в оконном стекле наверху песня смолкала.

Еще через месяц Манечку как-то подозвал к себе отец. Его заполошный окрик в первое мгновение ее испугал. В семье и так за него боялись. После горя, причиненного ему сыном Петром, после смерти прапрадеда, в котором так вольно жила душа предков-запорожцев, мало было надежды на его выздоровление. Но вот с марта он, сухой и костлявый, какой-то присмиривший и виноватый даже перед женой, стал похрамывать там и сям на улицах, на базарах, шуметь в городской думе из-за дров, тротуаров и прочего. В письмах к Петру в Персию Манечка с плачем молила братца покрыть позор ревностной службой на ратном поле – иначе отец умрет. Он каждый вечер спрашивал: «От персидского нашего шаха нема звуку?» Ма-

нечка и сейчас подумала, что отец прикажет ей добавить еще одно нравоучение. Петр между тем уже сражался с турками.

– Дитячко, – сказал он. – Клади александрийскую бумагу, садись и пиши.

– Что, папа?

– А я скажу. Такая ты у нас козочка худенькая, маленькая. И война, и ты без жениха до се.

– Ну папа! Вечно вы...

Тут Манечка обратила внимание на то, что отец надел черкеску, на боку у него шашка и к поясу прицеплен посеребренный кинжал.

– На Бабыча имя пиши... – Он поднял голову, вздрогнул плечами, словно подтянулся перед начальством. – Его-о превосходительству господину наказному атаману и... все отличия, тебя учить не надо. Пиши: прошу вашей милости приказать зачислить меня в Первый Кубанский полк на Кавказский фронт.

– Мама вас не отпустит.

– А то я ее послушаю. В своем полку родился как боевой казак, в своем и помру, если убьют. Там девять георгиевских кавалеров... Пиши... Находясь в полном здоровье и силе и желая на склоне своих лет принести жизнь свою на пользу Отечества, я... Чего? Чего смотришь так? Пиши, пиши храбрей. Имею опыт персидского похода, еще не последняя спица в колесе...

– Так не надо, папа, – робко поправила Манечка.

– А как? Тогда напиши, шо есаул Толстопят Авксентий Данилович соглашается идти младшим офицером. Могу нести как строевую, так и административную службу.

– Как же вы, папочка, будете нести строевую службу? С ногой на деревянной колодке.

– Ну! – Отец топнул властно. – Когда в восемьдесят восьмом году приезжал на Кубань с царем граф Воронцов-Дашков, то мой батько, а твой дед стоял в почетном ряду. Воронцов раньше был с ним в отряде против горцев. Узнал батька. Батько раз двенадцать пуль схватил в битве. Воронцов спрашивает: «Что бы ты желал, Толстопят?» Батько прокричал ему: «Снова служить в строю!» А я не в него?

– Куда-а ты надумал? – плачем уговаривала ма-тушка, растопыривая руки, запачканные белейшей мукой (она на кухне готовила благотворительный пирог для «Чашки чая»). – Опять поеду за тобой, как в ту японскую? Ой, боже, ой, лихо... он на турку собрался. Да ты до базара дойдешь и пыхтишь.

– Царю я уже послужил, теперь хочу спасение души заслужить. Ты стряпаешь там и стряпай. Казак не без доли. И никак с бабских языков не счешешь того, шо налипло. Глянь! – показал он на икону Саваофа. – Как Бог на тебя сердито смотрит.

– То на тебя.

– Я, наверно, сейчас за палку возьмусь.

– Та есть у тебя ум?

– Я с тобой живу больше тридцати годов, а ты, кручена овца, так и не вразумила, шо такое есть казак. Казак есть камень. Сколько б на него ни лилось, а он не мокнет. Только стряхнулся, как гусак, повертел крылами – и геть вода с того гусака. Я к тому ж ще и выборный гласный.

– Прямо в диковину! На фронт ему. Бородой трясти. А то молодых нема.

– И уродится ж такая зуда! – рассердился отец. – Ну, я пошел. Давай заявление, дочка. Что ты, моя дуронька, плачешь?

– Папа, – сказала Манечка, – вы нас пожалейте.

– Ничего, дитятко. Я белье буду на фронт возить. Вина в графин наточите, приду, шоб стоял графин.

Он взял палку, перекрестился на выходе и скрылся за дверью.

Над церковной площадью кружились черные птицы.

«Ишь, иродова птица! – сердился Толстопят. – И она сюда! Це плохая примета... О Господи, шо оно дальше станет с нами? Молю – укрепи мои силы».

Бабыч (уже снова военный генерал-губернатор) принял его тотчас же.

В 1905 году между ними прошел сквознячок, они поссорились и девять лет не здоровались.

Бабыч повертел заявление и своего согласия не изъявил.

– Белье с вагоном сопровождать – поезжай! – только и сказал. – Немецкое колбасное войско разобьем, и турки руки вверх поднимут. Война будет короткой. Живи.

– Сколько ни живи, а два века не проживешь.

– Все умрем, да не в одно время.

– К животу припарки ставить, к ногам толченый лук – моя доля?

– Ничего, и без одного цыгана бывает ярмарка. Опять заместо чужого солдата верблюда убьешь. Не пуцу, в окоп упадешь.

«Э-эх... – на кого-то обижался Толстопят на улице. – В девяносто четвертом году, девятого августа, прибыл я в лагерь под Сарыкамыш в Первый Кубанский полк... После закуски в столовой дежурный трубач как заиграл тревогу, казаки выстроились! «Кубанцы! – слышу. – Взять и покачать подъесаула Толстопята». Меня качали, и музыка играла, и казаки стреляли с холостых патронов. Бабыч теперь верблюда вспомнил. Ну, было. На персидской границе на кордоне раз наварил я каши. Стрелял в татарина, откуда взялся верблюд? Может, караван шел? Увидел – татарская шапка с камыша показалась, в нее и нацелился. Как сказали хлопцы, шо я верблюда убил, так меня аж в жар бросило: верблюд двести целковых стоил, где ж деньги брать? И какая могла нечистая сила попутать, колы у меня на шее был крест с распятием? Поскорее закопал верблюда, пока хозяин не нашелся. А Бабыч

и до се не забыл... Ну а папаху ты мне не запретишь сшить! Сейчас же зайду!»

В мастерской у Попсуйшапки он вступил в спор о том, что было бы, если б Тарас Бульба не выронил люльку; потом, когда все ушли, похвастался перед мастером Василием, какая у него дочь Манечка.

– Моя ж она козочка! Она ж у меня и в Красном Кресте, и в «Чашке чая». У них там ктось бросил в кружку кольцо, а один – золотой крест святой Анны. На войну. И записка лежит: «Дай бог перебить всех врагов». Вы почему не на фронте?

– Казакам в армию папаху шьем. Белые билеты выдали.

– И не спите небось?

– Мы, Авксентий Данилович, не так, как в Зимнем театре, – едко заметил Попсуйшапка, разглаживая шкурку. – У них «Веселый роконосец» танцуют.

– А моя Маня в четыре встает, в час ложится. Раненых привезли, она на станцию: надо ж принять в зале, чаем угостить, холодной закуской, порасспросить. Она и комару, который ее вжалит, перевязет ногу. Им, сестрам, воспрещено театры и рестораны посещать. У них в «Чашке» войсковой симфонический оркестр три раза в неделю играет; публика с театра едет к ним кофе пить. За месяц три тысячи рублей собрали. Рука дающего не оскудеет, так же? А утром соскочит, еще не умылась – уже про белье думает. К вашему двору не подъезжали фургоны?

– Труба так гудела, что мы с братом проснулись. Я дал носки теплые, одеяло.

– А наша Маня таскала, таскала от матери и со счёту сбилась. Раненым пять тысяч коек расставили – и в военном собрании, и в «Монплеzure», в епархиальном ведомстве, и так, по домам...

– И как России не везет, – сказал Попсуйшапка. – В несколько миллиардов война с Японией обошлась, а эта во сколько? Ей и конца не видно.

– Побьем... Недаром персюки да турки уже лавки попродавали и на родину кинулись. Чуют.

– Вы не ходили во дворец поздравлять Бабыча с пятидесятилетием в чинах?

– Не. Я сердитый на него с девятьсот пятого года. Я заявление написал на позиции, но не вышло. «Война, – сказал, – недолго будет».

Так бы он сидел в мастерской до вечера, если бы не вскочил пристав Цитович. Попсуйшапка позеленел, думал, что Цитович ворвался с обыском. «Так твою, ты что за рыло? Пуцу протокол и будешь в кордегардии!» – его приемы на службе. Но Цитович сладенько поздоровался, глянул на все стороны и холопом вытянулся перед Толстопятком.

– Просили передать, чтобы вы срочно шли к наказному атаману!

– А я был.

– Просили передать – срочно! Извините, вас ищут через полицмейстера. Извините, господин есаул, муж жену избил – мне на Карасунскую.

Во дворце Толстопят с ходу спросил у Бабыча:

– Чем я провинился?

Бабыч встал и важно зачитал телеграмму.

На другой день Толстопят обошел всю родню, гордо толкался по базару, был в церкви.

Его поздравляли: за героизм в бою с турками сына Петра наградили Святым Георгием 3-й степени.

Через неделю старый Толстопят, Манечка, мадам Бурсак выехали на Турецкий фронт с вагоном белья и подарков. Сопровождали вагон и те три казака, которых осенью 1911 года поручение выпросить у Бабыча племенного бычка завело аж в Тамань. Ехали помочь доброй услугой, а заодно и внуков проведать.

В Царском Селе

В своем письме в Екатеринодар упоминала царица о Толстопятах неспроста – в Феодоровском лазарете в Царском Селе снова его увлекла знакомая нам мадам В.! Он увидел ее в окно. Она была в изящном мантио, в шляпе из черного бархата. Все так же, как раньше, она готова была пользоваться счастьем не совсем открыто, с маленьким риском попасться на глаза мужу, знакомым.

«Хоть и говорят, – думал Толстопят в первые дни, – что *la soupe rechauffee ne vaut rien*¹, но легко простить ту, с которой когда-то хоть немножко был на седьмом небе. Не во сне ли она явилась мне? Она ли это?»

В палату мадам В. вошла в одеянии сестры милосердия. Красные кресты на рукаве, на шапочке, на груди и белизна халата чудесно преобразили ее: как будто с мехами оставила она там, за дверью, где переодевалась, все грешные помыслы, всю обольстительную жизнь свою и пришла воистину сострадать, выхаживать, любоваться героями. Большинство посетительниц-патронесс мелькали в палатах словно затем, чтобы произнести несколько сочувственных фраз, которые, как положено думать, должны воодушевлять больных. У Толстопята все спрашивали: «Вы женаты? Ах, ну так мы вас женим!» Фразы, *toujours des grandes frases*². Царица тоже имела обыкновение навещать лазареты. Едкое остроносое лицо ее становилось приветливым; она касалась больного рукой, склонялась, крестила ему голову, а собиравшимся снова на фронт дарила пояски с молитвой св. Серафима, которые носили солдаты в японскую войну и оттого якобы не были убиты. Мадам В. сопровождала царицу, стояла за ее спиной и на первых порах ничем не выказывала своего интереса к Толстопятам. Глазами она поздоровалась с ним, улыбнулась и как бы пообещала

что-то. Толстопят отвечал на вопросы царицы, но каждую секунду чувствовал, что мадам В. слышит его. Когда царица отошла к другой койке, мадам В. приблизилась к подушке Толстопята.

– С Западного фронта? А были на Кавказском. Я все о вас знаю... Вас, кажется, можно поздравить с Георгием?

– Принимаю с благодарностью.

– Поздравляю даже трижды. Нет, четырежды, чтобы в будущем вам дали все четыре степени.

– Принимаю и четырежды кланяюсь.

– А вы все так же милы, друг мой... – сказала она потише.

Взгляд намекнул ему на темные ночи любви в Петербурге и сцепил его с красавицей надеждой на тайну. Но теперь он был немощный казак, пострадавший в боях. Его надо было жалеть. Вдали от дома и товарищей по полку ему нужна была чья-то ласковая рука.

– Поправляйтесь... Я приду еще...

Неужели она правда воскресла в любви к нему? – так нежна, заботлива была она с ним в поздние дни выздоровления. Истосковавшийся по женщине вояка был благодарен за каждое доброе слово и кокетливый взгляд. Он теперь был зависим от мадам В. гораздо больше, нежели в часы парфорсной охоты в 1910 году. Все нити общения она держала в своих руках и как бы говорила: ну! где же ваша казацкая прыть? Когда ему стало легче, они каждый вечер гуляли по Боболовскому парку, и Толстопят показывал, где казаки его сотни занимали 4-й пост, 17-й и где однажды Дионис Костогрыз в воротах № 9, недалеко от 14-го поста, взял под уздцы лошадь наследника Алексея, ехавшего в санях с доктором и няней и едва не столкнувшегося с автомобилем Суворина-сына. Хотя возвращение в Царское Село на лечение было грустным, хотя в первые минуты кололо сердце от воспоминаний о позорном прощании с конвоем, о скитании по чужой Персии, уже вскорости Толстопят ни о чем не жалел. Что было, то было, и главное – его пощадила пуля: он не убит и опять видел то же, что раньше. Может, права его сестричка Манечка: он родился в рубашке! Его могли отправить на тот свет еще по дороге в Персию. Куда только не закидывает судьба кубанского казака! Где только его нет?! Зачем ему нужна была Персия? Едешь, едешь – то вдоль узкого русла горного ручья, то по долине с горами камней, то берешь перевал, виснешь на краю пропасти (из темных ущелий ползет туман, холодно и сыро) – где ты, кто тебя помнит? Вначале изредка попадались разгонные почтовые станции – помещения с двумя деревянными диванами и табуретками, с картинками на стене да с книгой жалоб на длинном шнуре, припечатанном к подоконнику сургучом (а часто и хлебом). Тут еще, поблизости от русской границы, жена ямщика напоит молоком и намажет масло на хлеб. А потом по чарвардарской дороге все реже встречаются караван-сарай: сзади

¹ Вчерашний суп ничего не стоит (фр.).

² Всегда одни фразы.

Россия, впереди Персия. Вот и персы в цветных длиннополых зипунах нараспашку (вроде наших извозчицких кафтанов), на головах высокие черные барашковые шапки с государственным гербом, в руках палки – знак власти и служебного положения. Вот уже и грязные улицы, ханэ – дома с куполообразными и плоскими крышами, без окон, вместо дверей – узкие низкие дыры, кругом навоз. Слышится странное монотонное пение. По крыше разгуливают персы и тянут свою вечную молитву, поворачиваясь при этом во все стороны. Так вот он какой, золотой Восток! Поневолу вздохнешь и о Царском Селе, и о богоспасаемом граде Екатеринодаре. Загнала его коварная мадам В. в гибельную ссылку! Что ей казак? Его заменит улан. А казака зарежут бахтияры, и не скоро дойдет весть о том на Кубань. Дорога казалась бесконечной, вокруг дикий вид: ни кустика, ни зверя, ни птицы. Фарсах (английская миля), еще фарсах, еще. Как в анекдоте: собрался перс в дорогу, намотал на ноги онучи, обвинил их веревкой, закурил трубку и пошел мерить землю. Вдруг веревка перервалась, сел перс перевязывать онучи – фарсах прошел! Что ей, мадам В., казак, где он скитается? Ей все равно. Вот впереди движутся серые кучи – то идут ослы, навьюченные саманом. Вдали, значит, караван-сарай, чайханэ. Сюда бы мадам В. Вечно не чищенный, с круглыми башнями по углам и по стенам караван-сарай. «Газыр чай вар? (Есть горячий чай?)» – спрашивал Толстопят у сидевшего на кошме перса с плетеным из камыша веером. В такой земле еще оставить свою голову? И чуть не оставил. В караван-сарай села Кохруд едва его голова не свисла на плечи. Их было четырнадцать человек: десять казаков, две женщины с детьми и чарвардарцы, ехавшие с ними в Исфаган. Караван-сарай был у самой дороги, в котловине, и все жилища стояли по склонам гор. Они выставили русский флаг и легли почитать. В двенадцать часов дня горы и крыши жилищ заняли люди какого-то Машал-хана, у которого бахтияры украли сына. Закрылись ворота; персы направили свои ружья на казаков и сказали, что будут сообщать в русскую миссию и просить хлопотать за сына. Если не помогут, казаков постреляют. И все бы так и случилось, но спасло их провидение: прибыл исфаганский консул.

Война вернула его в Царское Село.

– Не зря душа моя так тосковала по тебе, – ластилась теперь мадам В. – Но разве я стою одного твоего мизинца?

– Но и ты тоже что-то пережила за эти годы.

– Да-а, – неохотно соглашалась она. – Господь умудряет младенцев. Боже избави меня теперь умиляться речами, ужимками, вроде: «Нельзя ли поцеловать эти пальчики в перстнях?»

– Разве я тебе такое говорил?

– Я не о тебе.

– А мне можно все-таки?

– Я буду счастлива.

– В Петербурге научат всему. И – amour de ligre³.

– Вы, мужчины, чему не научите! Как это досадно, что нас, женщин, не берут на войну!

– Почему же? – Толстопят был как-то хмур и строг с ней. – Наша казачка Елена Чоба из Роговской станицы бьется в мужской гимнастерке. Георгия получила.

– Одно и слышу здесь от конвойцев: казаки, казаки. Ну что в вас такого? – И она, чтобы исправиться позаметней, приставила свою ладошку к щеке Толстопята, нежно потерла ее, но Толстопят отвернулся. – Полно, полно хмуриться, казак Толстопят. Женщина его любит, а он морщится. Прости меня.

На следующий день гуляния в Боболовском парке Толстопят впервые после разрыва поцеловал ее.

Царица, фрейлина А. с костыльком и мадам В. устраивали в лазарете посиделки, приглашали в комнату и Толстопята с товарищем. Война, Георгиевский крест списали с Толстопята злополучный конвойский грешок. У царицы были еще два любимца-офицера (оба кубанские казаки), о которых она даже пеклась в письмах на фронт к своему Никки.

Царица, по обыкновению, что-нибудь вязала, потихоньку сплетничала, а Толстопят с товарищем играл в карты. Толстопят виду не подавал, что слышит, кому дали орден, как поживает императрица Мария Федоровна на Елагином острове. Куда не вознесет на легких крыльях любовное родство с женщиной! Никакие воинские подвиги, никакая слава не поставили бы его рядом с теми, кто самим родом своим выше его на сто голов. Недаром же бабушка его думала, что царские дети не могут играть в песочек подобно казачатам, а слепой звонарь из Тамани дивился, что царь ест лук и чеснок. Между тем хотелось поскорее выздороветь и уйти на фронт. Пусть они обсуждают, как им властвовать, быть ли царю Иваном Грозным, Петром I, являть силу или милосердие. Участь казака – рубать шашкой. Мадам В. виновата, но это ненадолго, он ее не любит уже, хитрит с ней, греется возле нее в своем лазаретном сиротстве.

Царица порою вздыхала:

– У меня все дни расширено сердце. Трудно быть счастливее, чем мы были. Ночи так тоскливы. Мне, когда гляжу я на нашу Ольгу, тревожно: что ее ожидает? Ах, какие испытания посылает Бог нам. Жизнь же великая тайна: то ожидают рождения человека, то опять ожидают отхода души. Какое было холодное лето, когда родилась моя Мария! До этого у меня были ежедневные боли. Спала плохо. И сейчас плохо сплю, засыпаю после трех, а вчера после пяти; лежу и думаю: что нас ждет?

– То же, что и Россию. Война скоро кончится. Зачем гадать?

– Лучше предугадывать события, чем просыпать их. Мы должны передать беби сильную страну. Как давно, уже много лет, говорили мне то же: Россия лю-

³ Жестокая любовь.

бит кнут! Это странно, но такова славянская натура. Никки очень добр.

– Бог поможет, – пусто утешала ее мадам В.

– Бог над всеми, но я боюсь, что нам придется пережить еще много страданий. Вокруг нас гнездо вранья. Представь себе, О. дала мне честное слово, что никогда ничего против меня не говорила, а старая княгиня утверждает, что говорила, а князь передавал грязные сплетни в Ливадии обо мне своему другу Эмме. Во всем видно масонское движение.

– Колокола звонят...

– Я очень люблю эти звуки, – у меня в комнате окна все раскрыты. Вчера в церкви было чудесно, много народу причащалось: солдаты, три казака. Толстопят, вы нас слушаете?

– Боюсь сказать, ваше величество...

– Никки очень любит кубанцев. Казачки красивее наших петербургских дам?

Толстопят на мгновение замялся: выгодно ли сказать правду? Может, лучше угодить? Но натура: а вот и скажу!

– У казачек наших совсем нет живота, ваше величество. Грудь высокая, но живота нет. Это у кацапок: тут ничего, тут ничего – и вот такой живот!

Царице-немке это очень понравилось.

– А все-таки мы Толстопята женим!

– Ни за что, ваше величество. Мне воевать. Жена ждать не станет.

Захотелось рассказать побрехеньку, но опять он съезжился и замолк. Потом махнул рукой.

– У нас в старое время, когда еще на кордоне сторожевали, такой случай был. Сидят в плавнях, скука, тоска, пьют горилку, салом заедают. Один урядник возьми и похвались: моя жинка целые дни обо мне плачет, а убьют – с ума сойдет. Поспорили и написали записку жене, что урядник убит, «ожидаем вас, чтобы слить наши слезы в одну урну печали».

– Жестоко, – сказала мадам В.

– Так то ж побрехенька. И послали с казаком. Вернулся. «Шо ж ты – отдал барыне? Плакала?» – «Может, плакала, но я не видел, только слышал, как она приказывала, шоб поросся резали. А колы заехал со своего хутора ще раз, то на дворе вашем было много купцов, скотину покупали. «Скажи, – говорит жена, – сотнику, нехай, шо после пана осталось – в город пришет, я еду жить в Екатеринодар». И уже на возы скрины складывают. «Чего ж ты, сто чертей твоему батьку, не сказал, шо пан живой?» – «Как приказали. Назад воза не повернешь».

– А что такое «сто чертей твоему батьку»?

– Ругань.

Царица хмыкнула: побрехенька ей показалась пустой.

– Многовато чудес на вашей Кубани.

– Ну! Индюки были такие здоровые, что как нарежут, бывало, одного, так добудут с него три дежки сыру, коробку масла та сотню яиц.

– И глупостей немало, – сказала царица.

Больше Толстопята в отдельную комнату лазарета не звали, но мадам В. встречалась с ним ежедневно.

С Кубани от Манечки, от Бурсаков шли письма, оповещая о раненых и убитых соседях, о том, что отец покупает свежие газеты, мать вяжет носки на турецкие позиции, и еще о том, как пленный австриец, настраивая у мадам Елизаветы Бурсак фортепиано, сыграл для пробы победный австрийский марш и никто не возмутился. Что было казаку вылеживаться в Царском Селе?

Ему дали короткий отпуск на Кубань.

Процались они с мадам В. в ресторане Кюба.

Шариком остриженные гарсончики бесшумно хлопотали, как и до войны.

– Вы нам подадите, – сказала мадам В., – бульон из ершей и дьябли с пармезаном. Велите только не пережаривать сухарики и нарезать из одного мякиша. Да-а, пармезан взбить с яйцом, и только немножечко кайенского перца. Потом... есть камбала?

– Камбала, устрицы, омары, лангусты ежедневно поступают из-за границы.

– Ну и прекрасно. Или, Пьер, может, соус трюфельный с шампиньонами?

– Мне все равно.

– А может, по котлеточке Мари-Терез? Только, пожалуйста, без дурацкого фарша, а просто разрезать крыло пулярды вдоль, вложить туда тонкий пластик паштета, затем уж обвалить в маленьких сухариках и – в кипящее масло. Будете любезны? А филейчики тогда не надо.

– К котлеточкам что подать?

– Зеленого горошка по-английски.

– К десерту?

– Дюшес и мускатного винограда.

«Война, – думал Толстопят, – а Петербург все тот же...» Все так же, как тогда, в 1911 году, съезжались поздно, после театра, повидать друг друга господ, собрать компанию, чтобы потом поскакать куда-то дальше за город. «Война, братья наши на сырой земле мерзнут, – осуждал Толстопят всех подряд, – а им подай воздушных пирогов...» И он тоже уступал мадам В. потому только, что хотелось напоследок повторить минувшие мгновения и провести ночь в особняке.

– Теперь из гостинных и дворцов жизнь vraie societe⁴ перебралась сюда?

– Жизнь никогда не теряет свое лицо, мой друг.

– В конвое танцы около казармы кончились. А тут – как до войны. Наши казаки в бою.

⁴ Настоящее общество.

– Опять «наши казаки»! Нельзя обо всем судить по казакам.

– Я виноват, что родился казаком?

– Но ты же сейчас со мной...

Он глядел вокруг с раздражением. С лукавым задором велись прежние речи о водах, о чем-то хлебо-сольстве, о кружевах, шляпках и уборах, *marques au coin du gout le plus pur u le plus distingue⁵*, вспоминались чья-то безупречная *tenue⁶* в свете, величавость приемов, вызывавших одобрение самых *collets montes⁷*, и шепотом вопрошала какая-нибудь *tete ardente⁸*: «Есть ли счастье?» – и звучали вялые ответы: «Счастья нет; есть только известное состояние духа, как говорится, при котором тебе только менее скверно, чем обыкновенно», и тот же пылкий голос возражал: «Ты, видно, никогда не любила...»

А там, на фронте, скачут по полю лошади с порванными построюжками, из разоренных деревень бегут спастись в леса женщины с младенцами на руках, на перевязочный пункт приходит старушка с обуглившимися руками. Там в лесу стоят замаскированные австрийские пулеметы. Атака! Придется ли вернуться?

То звонко топает конница, тянутся в несколько рядов обозы с провиантом и фуражом, то бегут лазаретные линейки, скрипит щель под колесами орудий, то медленно, влекомая четверкой дохлых от старости лошадей, тащится щегольская карета с подвязанными к задку чемоданами и корзинами, и в запотевшие окошки глядят лица женщин, то вдруг покажется из-за поворота огромная, как Ноев ковчег, фура с пожитками, и еврей тихим шагом идет рядом, держа в одной руке вожжи, в другой лампу, за ним семят дети мал мала меньше. И тоже видна везде жизнь. Но какая? Спешат занять фланги отряды, мечут искры походные кухни на привалах, и толкутся бабы у сеней уцелевших хат. Вокруг валяется по межам и канавам черт-те что. Какая-то бляха. Лоскут конверта с иностранным штемпелем. Продырявленный чайник и разбитое зеркальце. Из корявых веток крест над свежей могилой, венчик из ельника. Стонет, кажется, сама тишина по полям.

Ты лежишь в дальней дали бесконечного поля, тебя бросили, ты один. В овраге хрипло ссорится воронье. Когда Толстопят очнулся, приподнялся на локте и взглянул на потухающий закат, обиженно подумалось опять, что его забыли, и он бессильно заплакал. Еле еле, опираясь на шашку, встал на ноги, пошел к густым кустам. Далеко-далеко где-то выли волки. И счастье его было в тот день в том, что на него вскоре наткнулся казачий разъезд.

– Какие густые усы у кавалергарда, – сказала мадам В.

⁵ Отмеченные самым чистым и изысканным вкусом.

⁶ Манера держаться.

⁷ Чопорных.

⁸ Пылкая голова.

Из хрустального кувшина с желтым соком Толстопят налил себе немножко и отхлебнул. Мадам В., разглядывая издали кавалергарда, нисколько не завидовала даме, которая была с ним, она втайне гордилась своим казаком, с которым была уже когда-то в самой близкой связи. «Вам не понять, – могла бы она возразить высокомерным, – вы не знаете, как он пленяет, когда мы одни...» Она взяла бокал и томительно подождала, когда Толстопят поднесет свой – чуть слышно торкнуться.

– За тебя, Пьер... за твою дорогу домой. И за Царское Село!

– Благодарю тебя, моя сестра милосердия, – сказал Толстопят игриво.

Глазами, движением губ она выразила ему свою любовь.

– Я и правда хотела быть тебе сестрой. Я справилась?

– Отменно.

– Ты не думал, что я могу?

– Не думал.

– Я старалась ради тебя. Государыня часто говорила: «Ну, тебе пора уже к своему Толстопятау. Благоговлю!»

– Разве она не знает, за что меня исключили из конвоя?

– Могла и позабыть.

– Ну и слава богу.

– Мы не знаем, что с нами будет... Да? Одна госпожа Тэб предсказывает: русскую армию ждут торжества; над головами твоих казаков на турецком фронте она видит сияние. Причем крест будет воздвигнут на Иерусалимских высотах. Русские возьмут Дамаск.

– У нас в станицах бабки лучше гадают.

– У вас! У вас, ты говорил, цыгана приняли за архиерея...

– У нас сидит на хате старый дед без штанов, а голые ноги со стрехи свесил. Баба под ним руки растопырила и держит штаны. «Баба на старости лет штаны мне пошила, так не доберем толку, как их надеть».

– Казаки смешные. Ты куркуль? Опять ты скоро будешь в грязи, в снегу. Мне жалко тебя. Где мы теперь увидимся? Я дам тебе на шею кипарисовый обрзок мученика Иулиана. Никогда не снимай с себя этого образка. Никогда.

– Никогда! – сказал он.

– Появится на небе белая звезда, она раз в столетие бывает. Знаешь? – Аллах превращает женщину, которая сама не знала, чего хотелось, в белую звезду. Взглянешь на нее – теряешь вкус к жизни.

– А ты не гляди-и... Гляди на кавалергардов.

– Противный казак!

– Тебе надо было родиться персиянкой. Ткала бы гильдузи – застилать пол. А? Жила бы на Востоке? Роскошные сады вокруг стен; дворец древних владык,

купол кажется окаменевшей влагой, звезды отражаются. Ты умащиваешь свое тело мазями. Хотела бы?

– Благодарю. Я хотела бы уснуть с тобой в Тамани, в той хатке звонаря слепого, где ты красовался в своем мундире перед какой-то Шкуропатской. Наше счастье с вами. Воюйте и возвращайтесь. Боже, спаси Россию, сохрани ее крепость духа. Еще, кажется, недавно был мир, я ездила в Москву на грандиозный бал. Тысяча двести приглашенных. Съезд в десятом часу. В аванзале роскошно сервированный буфет с чаем и фруктами; тут же ледяные глыбы для прохладительных напитков. В Синей гостиной царские портреты. В Оранжевой – чай. После танцев в первом часу ночи богатый ужин. Кого там только не было!

– И ни одного казака!

– Разумеется.

– Я в это время глотал пыль в Персии.

– Из-за меня... Прости...

– Ради бога, – сказал Толстопят, и сказал с легкостью, потому что его ожидала роскошная ночь с нею.

Мадам В. наклонилась к нему через стол:

– Можно я тебя спрошу? Можно?

– Можно я тебя спрошу?

– Сколько угодно.

Толстопят помолчал.

– У тебя был кто-нибудь после меня?

Мадам В. соображала, говорить или нет.

– Был...

Странное дело: Толстопята, пока она собиралась с духом, хотелось надеяться, что мадам В. горевала без поклонников. По какому праву она должна была страдать за него? Он не рассуждал. Так легче душе, так что-то остается в ней вечное, обманчиво-прекрасное, ведь у него никогда такой женщины из чужого мира не было и не будет. Но он быстро успокоился. Что делать? Никто никого не ждет. Только казачки ждали своих мужей из плавней, походов, с турецких и японских войн. А чего было не сгорать в огне страстей мадам В., когда они так скверно испортили свое начало и скверно расстались?

У мадам В. горело лицо, но не от стыда, а от волнения и воспоминаний.

– Но я во всех церквях ставила свечи за твое здоровье.

– Спасибо.

– Почему ты спросил?

– Я в Персии вспоминал тебя.

– И долго у тебя это будет продолжаться?

– По-моему, все кончилось. Если из-за любви стреляться, мало кто в живых останется.

– А твой друг Бурсак счастлив? Он ее любит?

– Они живут плохо, по-моему. Дементий Павлович слабый человек. Он сердится и быстро прощает. А быстро прощать женщинам нельзя.

– Ой ли?

Толстопят решил схитрить и промолчал. Впереди была блаженная последняя ночь с мадам В. Может, его осенью убьют где-нибудь под Сарыкамышем, – зачем же он будет портить себе часы расставания?

Так проходит слава земная

Все! Все кончено в один миг. Утром генерал Бабыч проснулся, и мысль болью сдавила его: все кончено, власти в руках больше нет. Вчера был наказный атаман, царский слуга, сегодня уже никто, частное лицо, Михаил Павлович Бабыч, казак, муж, отец. В преданиях пишется: «Уже тебя, господина, слуги твои не знают». Но то стряслось с кем-то в оны веки, а зачем пало проклятие на них? И кто бы это мог ожидать? – царь отрекся от престола. Слепыми глазами разглядел Бабыч на столе бланк (его бланк, начальника области) и по привычке заполнил строчкой: «Господи, даруй добрый день!» И перекрестился, крепко придавливая персты.

Жена, маленькие дочки еще почивали; подойдя к иконе, он без прежней торопливости шептал слова, которым учила его мать Дарья Федотьевна:

– ...Избави всех с верою Тебе молящихся от падений греховных, от навета злых человек, от скорбей, бед и напрасныя смерти; даруй нам дух сокрушения, смирения сердца, чистоту помышлений, исправления греховныя жизни и оставления прегрешений...– Пресвятая Богородица, заступница казаков-запорожцев, отвечала ему вечным своим пречистым взглядом. Бабыч помолчал. – Да сохрани мирну страну нашу, да утверди державу благочестивейшего самодержавнейшего государя нашего, императора Ни...– И запнулся, скривил рот, заплакал.

Все кончено. Неужели все? Неужели брат царя Михаил Александрович не наследует трон? Или цесаревич Алексей?

– Господи, даруй добрые дни!

Еще четыре дня назад, 3 марта, Бабыч выезжал для встречи его высочества принца Ольденбургского; нынче все величества и высочества окликаются как простые граждане. 2 марта на ночь читал он воспоминания о коронации Александра II и смеялся: на одной странице писалось, как московские кадеты, развлекаясь с маленькими великими князьями, подложили наследнику (тоже Николаю Александровичу, давно уж покойному) жгут и лупцевали его легонькими ударами. «Как ты смеешь меня бить? Я наследник русского престола!» – прикрикнул великий князь. «А ну-ка хорошенько его, этого наследника русского престола!» – послышался голос отца, государя. Все вскочили и вытянулись перед ним. И даже Бабыч в минуту чтения распрявил в судороге пальцы ног. Беспечные времена, вы уже далеко! В Успенском соборе венчались на царство русские цари, и последний – там же. При великом стечении народа произносил государь

Символ веры, и перед державным супругом преклоняла колена царица. В уединении Александрийского дворца в Нескучном готовились они три дня к принятию Св. Тайн постом и молитвой, слушали всенощную накануне в церкви Спаса Золотая Решетка. И гудел колокол Ивана Великого, и с Тайницкой башни стреляли пушки. В Андреевской зале государь садился на трон. На сколько лет? Оказалось, до 1917 года. С Красного крыльца ступал государь под гимн «Боже, царя храни». И уже заменили гимн пока на «Коль славен». Не бывать прошлому? «Наложи на главу его венец от камне чистого и даруй ему долготу дней, даждь в десницу его скипетр спасения...» – не бывать и сему? Не перед кем будет исполнять кантату Чайковского на слова А. Майкова? В парадной золотой карете станет ездить какой-нибудь хам Родзянко?

Сам царь сложил свой жгут. Сам! И перед кем? Перед горластой Государственной думой. «Да поможет Господь Бог России» – последние царские слова.

Бабыч плакал: Россия – республика! Как это?! Как такое могло случиться?! Разве можно всему царству повалиться в один день? Только что, в январе, феврале, все текло по-другому, по волею Божию укоренившемуся закону. «Казаки! – поздравлял он с Новым годом. – С новым счастьем, родные мне кубанцы! и обыватели высочайше мне вверенной области...» Уже дума почтила вставанием павших в революционной борьбе. Где оно, великое царство? Какая, казалось, твердыня! Какие парады, обеда, сколько горячих молитв в церквях, какие манифестации патриотизма у Зимнего дворца и на площадях российских городов! Какая блестящая свита, гвардия, какие войска! Конца, казалось, нет этому царству и под его рукою содеянному порядку. Даже шнуры балдахина несли 16 генерал-адъютантов. «Благословен, грядый, во имя Господне». Купечество Москвы к 300-летию дома Романовых в ознаменование посвящения государем московской купеческой управы ассигновало 300 000 рублей на благотворительные цели. В Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца и на Боярской площадке накрыли обед свыше чем на семьсот персон, и из внутренних покоев следовал к столу высочайший выход. Кто кричал «ура» на знаменитые царские слова: «Наша поездка по Волге и по древним русским городам доказала, что те единение и связь между царем и народом, которая встарь отличали матушку Россию, нерушимо существуют и ныне»? Почему же они не подают голоса в защиту помазанника Божьего? Не купцы ли то, не жаждавшие ли приглашения к обеду от высочайшего двора предали государя? Где духовенство? При кликах «ура» шествовали с народом через Красное крыльцо в Успенский собор, поклонялись святыням и принимали благословение от митрополита Московского иконы св. Ермогена и в Чудовом монастыре тоже кланялись святыням. Что же они?!

«Старый мир потерпит крах, – гадала как-то госпожа Тэб. – Наступит час для проявления героизма и для героев».

Героями, по Бабычу, могли стать в такой момент несколько генералов, конвойцы, гвардейские полки. Еще один переворот! Но назад.

Дочки пришли из Мариинского института и сказали, что бюст государя валяется на полу, а на портрете у царя проколоты глаза. Между нами всегда живут скрытые ненавистники. Они своего дождались. И это в женском Мариинском институте! Два года назад заворуженно глядели девочки и дамы в глаза государя, на клочки разорвали его носовой платок, пели ему казачью песню. Ну кто же это поколол теперь ему светлые очи? Сторож Бабкин? Как к этому привыкать? Уже проклинают и отрекаются, матом кроют высокородные имена, как крыли в 1905–1907 годах некоторые пьяные казаки, за что Бабыч гнал их в Сибирь на поселение или наказывал крепостью. Тогда можно было в защиту режима вызвать полк из Самарских казарм, а теперь? Сбылось – не единицы лают на власть, а тысячи и тысячи. Рады! Чему? Ведь рухнет само русское государство без царя. Они это понимают? Какой же он слабый, отрекся, оставил в самую бойню войны свой народ на развал, а старым, таким как Бабыч, не дал и на пенсию выйти с почетом. Что теперь будет-то?

69

Последние атаманские распоряжения лежат на столе в стопке: запретить продавать печеный хлеб третьего сорта выше 8 копеек за фунт; три тысячи рублей штрафа или три месяца ареста за нарушение извозчицкой таксы; двенадцать тысяч рублей в год новому городскому голове Глобе-Михайленко; за спекуляцию сахаром арестовать на три дня миллионера Тарасова. Последние жалобы казаков. Последние его слова к депутации из станицы: «Во дни испытаний личность монарха священна». А монарх взял перо, подписал отречение. Как теперь защищать Отечество? Сказал бы как Петр Великий: «У меня есть палка, а я вам отец». Или как прадед его Николай Павлович: «Или я погибну сегодня, или завтра буду императором!» За кого поднимать чарку? 23 февраля, в день приезда царя в Ставку в Могилев, Бабыч, выслушав доклад о дебатах в городской думе (где больше всех чудил старый Толстопят), удалился в домашнюю половину дворца, достал из шкапа бутылку с вином, налил полный чайный стакан и вдруг невольно, с близким чувством, сказал тост: «Пью за здоровье вашего величества и за здоровье государыни! Да продлит Господь вашу драгоценную жизнь». И уже висит, говорят, в приемной доктора Лейбовича царский портрет с надписью на лбу: «Дурак». Детям в глаза смотреть стыдно. Разве он не знал, что его слабости только и ждут? Босаяцкая Покровка выползла на улицы с манифестацией: свобода! Не те ли там дерут горло, кто выносил ему, Бабычу, смертный приговор в списках? А

какая его вина? Наказывал, ссылал, строжился? На то власть.

Три дня не верил, не передавал Бабыч в печать телеграммы о государственном перевороте, скрывал от помощников. Но известие пришло стороной, через телефонисток, и в 11 часов ночи явилась к нему депутация городской думы во главе с будущим комиссаром Временного кубанского правительства Бардижем⁹. Бабыч все сопротивлялся. Присмотрит власть царский брат – и еще кто кого! Он ждал также приказа от кого-нибудь (скорее от великого князя Николая Николаевича) о призвании на помощь армии. Но солдаты Самурских казарм вывесили красные флаги свободы; но приказа не было. Рухнуло! Рухнуло самодержавие в один час. Счастливчик покойный батько говорил в 1881 году, в час известия о покушении на Александра II: «Дал бы Бог не дожидать до того дня, когда народ будет избивать панов дрекольями и оглоблями». Не к этому ли дело идет? Уже арестованы министры, а на Дону – наказный атаман. Что ждет его?

«Смерть и разрушение! Да водрузится будущее!» – вот что всем обещают.

«Третий день весны, – думал он, поглядывая из окна на памятник Екатерине II.– Уже в степи бабак свистнул. Нехорошо, если на первый день Великого поста заходит женщина. А как раз черт принес мадам Бурсак Елизавету. Нет чутья у бабьей породы. А у меня оно было? Привыкли жить так, не думали не гадали, э-эх... Маты Катерина, дала ты нам землю, чего ж стоишь с крестом ко дворцу спиной? Скажи хоть одно какое мудрое слово... Ты на них была мастерица... Не скажешь, ты свое отравила. Ставили мы памятник запорожцам в Тамани, а как гуляли за столами! Думали, конца не будет казачеству... Нема батька, нема дела...»

8 марта при поездке бывшего верховного главнокомандующего кавказских войск великого князя Николая Николаевича через Кубанскую область в Ставку Бабыч передал ему прошение об увольнении от службы, но великий князь считал, видно, не все потерянным и отказал. «Верный слуга Вашего Императорского Высочества», – подписался Бабыч, а Кубанское войско уже в руках временщиков. Не от государя, не от великого князя принесли ему бумагу: «Начальника Кубанской области и наказного атамана Кубанских казачьих войск генерала от инфантерии Бабыча уволить от службы, согласно прошению, – по расстроенному здоровью с мундиром и пенсионом...» Все конечно. Не надо будет ему вызывать на парады по Красной две роты Анапского резервного батальона, Екатеринодарский полк и конную кубанскую казачью батарею. Так проходит слава земная... Почетный старик более тридцати станиц, кавалер почти всех российских ор-

денов, Бабыч должен был выселяться из дворца и искать кров. Только тот, кто держал в руках немалую власть, познает, до чего же трудно с ней расставаться под силою врагов. Привык думать, что твердыню не сломишь. Он ради утешения, ради того, чтобы убедиться, что он был главным на Кубани, листал прошлогоднюю подшивку «Кубанских областных ведомостей» с собственными приказами на первой полосе. Вчера, вчера еще грозой стояло его имя! Вчера же укрепляли порядок каким-нибудь новым зовом к памяти предков: кто-то предложил награждать матерей воинов-георгиевцев орденом Св. Ольги: «Со Святославом начинается наша национальная гордость». Начали подписку на памятник Ярославу Мудрому. Во исправление ошибки Петра Великого хотели перенести столицу на холмы Москвы. Неужели все сразу предали самодержавие: и льготные конвойцы? и станичные атаманы? и мытари черной сотни? И ему, кошевому батьку, никто не пришел выразить соболезнование. Но атаманскую насеку он временщикам не отдаст.

Он подходил к большому зеркалу, скорбно глядел в свои глаза, на чистенькие белые усы, на мундир. «29 января с. г. в Зимнем дворце Его Величеству Государю Императору имел счастье представляться г. Начальник Кубанской области М. П. Бабыч...» Впервые видел он свои глаза в слезах и жалел свою старость. Что ж! – прошла его слава земная...

9 мая Бабыч пришел к Елизавете Александровне Бурсак. Она во флигеле пила за столом под зеленой лампой чай и сердито препиралась с племянником Дементием. Бабыч и прежде хаживал к ней поиграть в карты, послушать о Париже да поворчать на свою молоджавую супругу. Именно ей, когда-то помыкавшей своим мужем, он доверял секреты своего сердца, – таковы странные повороты жизни. Бабыч даже прощал ей дружбу с доктором Лейбовичем, особой знаменитой, но подозрительной.

Елизавета Александровна была в черном платье, у племянника на шее малиновый галстук. Дементий нарочно злил тетушку.

– Не знаю, – сказала она, встречая Бабыча, – не знаю, Михаил Павлович, какую газету взять, чтобы узнать правду. Сколько народу совратили с девятьсот пятого года этими листками. Перепутали, где правда Божия, где ложь ненавистная...

– Господь, Елизавета Александровна, сказал: «По делам узнавать их». Подождем.

– Чьи мы теперь будем? Господи, господаи...

– Ничего, надо привыкать.

Бурсак шлепнул карты на стол.

– Не надо было обманываться и говорить: «За нами стоит народ-богатырь», когда этот народ разут и раздет. Вся эта «безграничная преданность народа своим царям» – на бумаге. Завтра же царя забудут. Они в андреевских лентах шествовали с парада на парад, открывали «польский» и изволили «отбывать

⁹ В 1918 году будет расстрелян с сыновьями и брошен в море. – В. Т.

во внутренние покои». Сколько самоуверенности, самомнения! «Мы, Николай Второй...» Уж так отстать: можно ли это слышать? Нет, просто ничего не бывает. Заслужили.

– Государь чувствовал, – сказал Бабыч тихо; в другой раз он бы разделал этого остроносого племянничка, как тушку. – Во вчерашней газете со слов лейб-медика пишут, как он с семьей встречал Новый год. А мы и не знали. Играл в домино с дочерями, свечи на елке не зажгли. Медик поздравил: «С новым счастьем!» И сам, говорит, почувствовал, что будто странно звучат его слова.

– Война проклятая! – сказала тетушка.

– Воевали и раньше, – поправил Бабыч. – Прозевали опасность крамолы. Плакали по усадьбам, по оранжереям, а оно нынче не о том плакать придется. Интеллигенция отдала свою собственную заботу на пользу иноземца. Взмоглись на ходули западной цивилизации, свои коренные устои ослабляли год за годом. Пропала Россия!

– Что вы хотите, Михаил Павлович... – Елизавета Александровна родственно подвинулась к бывшему наказному атаману. – Уже в десятом году стало заметно, как что-то изменилось у нас. Такой, например, жизни, какая была еще в восьмидесятые годы, никогда, наверное, больше не будет. Даже балы не те. На балах стало больше народу разного. Допускались уже те, кто никогда не допускался. А разве можно было раньше подозревать горничную, что она что-то унесет у господ? Все упростилось, а сердечной простоты, что была, все меньше. Бывало, выйдет человек на улицу, со всех сторон кланяются, а потом? По Красной гуляют проститутки. Казак шел старый по Борзиковской, тяжело. «Доведи меня, деточка, до угла, я тебе и на платье наберу, и копеечку дам». Это надо было видеть!

– Батько мой Павел Денисович, если спрашивали, как поживаете, всегда отвечал: «В спокойствии духа и совести».

– А нынче Сенька выбрал шапку по себе-е...

– Уже «Чашку чая» обругали! – Бабыч усмехнулся. – «Чашка» им не такая.

– Все вырождается, – сказал Бурсак, – и цари, и знать. Сколько духовенство ни осеняло бы путь монарха и сколько раз по десять тысяч рублей ни кинь городам – этого мало: надо накормить всех. Разодрали русское знамя себе на ливреи. Кровь лили.

Бабыч задвигался на стуле, словно чесал зад.

– Государь не подлежит обсуждению. Он не может сделать зла. Что, вся кровь, пролитая в России, пролита по высочайшему повелению?! Никогда!

Тетушка закивала:

– Рано, рано дали свободу русскому народу. Еще будут локти кусать, воображаю, какая грустная жизнь наступит лет через двадцать. И сквозь золото льются царские слезы. Намучаются и поймут, что при госуда-

ре им жилось не так плохо. Государь родился в день многострадального Иова.

– Все вырождается, – повторил Бурсак.

– Уж несут заявления: «...так как я настрадался от действий кошмарного режима...» Делопроизводителю кричат: «Уходи как не соответствующий современному государственному строю!»

– Этот строй еще в люльке лежит, – сказала Елизавета Александровна. – Пусть они сначала юродивого Григория Босого в Екатеринодаре вышлют.

– Кто это?

– Появился на днях на Сенном рынке «Христос». С «апостолами» и «богородицами». Бежал по Красной от городских с криком: «Христоса ловят!» А эти грязные «богородицы» целуют у него ноги и вопят: «Спаситель наш! Спасителя нашего ведут на распятие!» Такая тоска, такая мука. Чем все это кончится? Вам пенсию дали?

– Две тысячи шестьсот пятьдесят пять рублей в год, сверх того из эмеритальной кассы две тысячи сто сорок пять. На службе мне платили пять тысяч жалованья и пять тысяч столовых. Ну, нам хватит. Не в том дело. Сколько уж тут жить осталось? Восьмой десяток догрызаю. А дочка, даст бог, вырастет с матерью. Недвижимого имущества не нажил. Так проконопатил на службе с места на место, и земля отцовская к немцам перешла, – вы ж знаете, колония Гначбау под Нововеличковской, то наша была земля. И под Ахтанизовской. Отец получил наградной участок – тоже немцам перешел, арендовали на девяносто девять лет. И дом отцовский, где ночевал Александр Второй, снесли. Я, Елизавета Александровна, верный служака. Сегодня надень шапку в шесть вершков, завтра трех; сегодня черкеска черная, а завтра красная; сегодня сумы холщовые, а завтра ковровые. До сорока лет был на привязи. Раздайте карты. Посидим, а завтра пойду на могилы. Попрощаюсь, да надо будет мотать из Екатеринодара.

– А куда ж ехать?

– В Кисловодск на дачу Соколовой, что в Ребровой балке. Подальше от греха.

– Рано, рано, – еще раз сказала Елизавета Александровна, – дали свободу. Настрадается русский народ.

Дементий Бурсак не выдержал:

– Может, тетя Лиза, разумней говорить об этом в прошедшем времени?

– Нема батька, нема дела, – ответил за тетушку Бабыч и подкинул ей пиковую шестерку.

Играли они в своей жизни последний раз.

10 марта передал он помощнику печати, бланки, допустил описывать казенное имущество, но почта-льон Евлаш все еще носил письма на его имя. Казак, некогда гонявшийся за ним в Тамань с желанием заполучить племенного бычка, плакался, что в станице нет ни одной мукомольной мельницы, возят зерно за

двадцать пять верст и ждут там по неделям, а потому нижайшая просьба: освободить от военной службы в действующей армии в 6-й батарее единственного хозяина мельницы такого-то. Палач слал ему требование уплатить 150 рублей, по 50 за каждого казненного им в марте 1914 года, – деньги якобы присвоил дело-производитель канцелярии. Пусть теперь отвечает департамент полиции! Заведующий бараками для военнопленных умолял распорядиться о розыске блудной жены, попавшей под влияние «людей старого режима». Из тюрьмы просился домой под честное слово Г. на близящийся праздник св. Пасхи. И к Рождеству, и к Пасхе, и к казачьему празднику Бабыч приказом атамана отделов освобождал всех, кто отбыл треть наказания. «Посидите, голубчик, при новом режиме. При мне вы у стены с цирковым медведем баловались, вот теперь знайте». Вдобавок ко всему прискакал чистить грешников Лука Костокрыз. Быстро наглеют люди! Как у себя в хате ходил Лука по комнате и хватался то и дело за кинжал на поясе.

– Ач! Наказались. Я говори-ил, не послушали меня, я чу-уял, куда ветер камыш гнет. Видите, шо теперь.

– Что тебе от меня надо, Лука?

Костокрыз продолжил ту свою гневную речь, которую он начал в трамвае из Пашковской.

– Христос построил церкву на двенадцати камнях? Та-ак. В старом режиме я правды никакой не добился, и новое правительство осталось на мою просьбу глухим. Нигде не написано, шоб церква делала ограбление. Куда мне кричать? Внуки против немцев и турок кровь проливают, а честным судом свою домашность не возьму. Тогда скажите, бога ради, чего ж мне думать? С коленапреклонением просил – отдайте мое имущество.

– Кого просил?

– Наше кубанское правительство.

– Жди, пока утихнет и власть установится как следует.

– Жди.

– А что такое?

Костокрыз сел, нацелил люльку на Бабыча:

– В тысяча восемьсот шестьдесят четвертом году мой дед построил на церковной площади дом с лавкой, крытый железом. После его смерти поп Геласий самохрапно завладел тем домом, поставил в шестнадцатом году туда вдовствующую попадью, якобы просвириницей. Поп-черносотенец до сего дня служит и молится за царя Николая. Вчера со слезами говорил в церкви: «Нужно молиться за своего царя».

– А ты кому служил? – печально спросил Бабыч.

– Служил, а теперь его уже нет. Настал праздник свободы. Народ изливает свою обиду.

– Где твоя совесть, Лука?

Костокрыз отодвинулся назад, перепугался по старинке атамана, потом сморгнул гнев, устыдил себя

мыслью: «Атаман кошевой несчастный – как с креста снят». И глупо улынулся.

– На Сенном рынке совесть забыл, Лука? Семьдесят лет назад у вас лавку отобрали, ты молчал, а теперь на старый режим жалуешься? Так ты к ним и ступай. Ведь свобода! Нема совести. У тебя от царей награды, ты им в ноги кланялся и ходил за ними как нянька. Отрекся государь-батюшка, и ты ему тоже нож в спину?

– И ходил за ним, и ходил, Михайло Павлович, да шо хорошего от них казакам было? Мало казак той беды принял? Что она, Русь! Бывало, какой черт ни возьмется оттуда, требует казачью лошадь и казачью охрану. Великими князьями не ты ли, батько, казаков отрывал от полка, шоб их, чертей, на охоту везли в Псебай? Ото москали покуражились над нами. Если у русского крестьянина один сын, его в армию не брали. А казаков всех поголовно. Даже слепые на один глаз служили. Вон в Первом Ейском полку казак станицы Копанской слепой на один глаз был. Бисову мать! Некогда и хлеб было посеять, занимались охраной матушки России. Хлеб при недородах покупали в Азове. Я увидел первую сеялку в семьдесят девятом году.

– Интересы казаков всегда были близки царскому сердцу.

– Это так под рюмку балакали по праздникам. А мы помним. Четыре года отбудешь на службе, а лошадь продать не смей, тебя ще во вторую очередь поставят, и не запряги; как найдут след хомута на шее – бракуют. Охо-хо-о. Всю зиму в строевых занятиях, а май в лагерях. На границе в холодное время в буйволятниках жили.

– Чего ты пришел ко мне?

– Та я пришел проститься с тобой, – вдруг смирился Костокрыз. – Старый я, и ты старый. Нам уже до Бога идти. Нехай без нас поживут. Без нас в электробиографе «Тайны гарема» смотрят. Нехай.

Бабыч сидел как каменный; ничто не трогало его. Ему все были противны. Все предатели, все нечисть. Скорей бы закрыл дверь Костокрыз. А тот отпустил ручку двери и вернулся на середину комнаты.

– Я ж не с тем пришел к тебе, Михайло Павлович... Не, не так. Я б не пришел до тебя, если бы сон не увидел. Проснулся, и ото так же, как я тебе приходил рассказывать сон про могилу Бурсака, так же у меня засосало: кому рассказать? Почесал за ухом: чи дома он, батько, чи уже арестован и без оружия? А я как луку с салом поем (ты знаешь по охоте), меня за веревку дергает! Пойду! Давай, Одарушка, черкеску с медалями!

– Что ж за сон такой?

– Разрешите мне присесть.

– Так тогда давай уж я скажу, чтоб нам стол накрыли. Оно, может, правда наш век кончился.

– Та чего я буду вас объедать теперь! Я сытый.

– Где готовится обед для двоих, там и третьему можно не быть голодным. Или Кубань нас не кормит? Хоть ты уже и отпил чай, но хоть чашечку и со мною вкушай, а то мне совестно одному.

– Ну, пожалуй, уж выпью.

Бабыч позвал супругу; она приготовила закуски. На столе появилась квашеная капуста, соленые огурцы.

– Ач! – рассмеялся Костогрыз. – Вспомнилось, как в восемьдесят восьмом году, колы я после крушения царского поезда вернулся на лечение, трубач Шкуропатский угощал. Батько того, шо на Борзиковской сейчас. Понаставил, налил, а сам взял в руки скрипку и туда-сюда ходил, играл со мной и разговаривал.

– Сон...

– Сон! Снится мне под тот день четвертого марта. Будто все то давно, аж при первых атаманах. Поехали наши казаки с Вышестеблиевского куреня за солью в Крым. И я с ними. Уже синичка запела: «Бросай сани, бери воз». И не день и не два идем после переправы в Тамани. Бог миловал: никакой оказии. Допхались до Крыма, натягали на возы чувалы с солью, помолились на заход солнца и – назад. Сплю, вижу сон и знаю, шо сон, а не встаю. Татар миновали, въезжаем в православное село в косарский полдень, – как раз Великая пятница была. За селом стали табором. Перекрестили место, выпрягли своих воликов. Пришла пора кулеш варить. Тот кизяки собирает, тот перекасти-поле, а тот таганки ставит. А я взял будто баклагу на плечи, набил роменским табаком люльку, потянул в село по воду. Ач! – навстречу люди. Я шапку снял, поздоровался: «А то вам, добрые люди, нечего делать, шо вы по улице шляетесь?» – «Мы люди крещеные, – они мне, – были в церкви, сегодня Великая пятница. Сегодня Бог умер». А я будто: «Правда? А где он лежит?» – «От дурень так дурень! Иди в церкву и увидишь». Эге! Пойду ж. Пришел, поставил баклагу под церковь, вынял с пояса кисет с табаком, воткнул туда люльку, положил на баклагу, выкашлялся, обтерся полоу, шапку снял – и ее на баклагу. Вхожу – колы там мертвый человек лежит. Я как об пол ударился!

– Та опять брешешь, – сказал Бабыч недовольно.

– Истинно, батько. Лежит мертвый Бог. Упал я на колени и стал креститься. А из церкви иду, кисет с люлькой запхал в пазуху, забыл и курить. Шапку аж на очи надвинул. Набрал воды, иду и думаю: шо мы теперь на свете без Бога будем делать? Старые люди говорили: без Бога нет дороги. Без Него нас москаль заездит. В таборе сел у воза, подпер голову и молчу. «Шо ты там ходил, – спрашивают, – шо видел и слышал?» – «Бог умер, – говорю будто. – Лежит посреди церкви в селе». Они повставали, посняли шапки: «На шо ж Он нас осиротил? Москали будут нас обижать, и некому за нас заступиться. Ложились до краю!» И стали кричать, кого выбрать заместо покойного Бога. Толстопят-старик поддувает под каганком

кизяки та молвит: «Нехай будет Богородица». А я и говорю: «Не-е. Хоть она и Мати Божия, а она жинка, ей нельзя в алтарь входить». – «Колы Богородица не подходит, – вскричал трубач Шкуропатский, несучи до таганка оберемок перекасти-поля, – так нехай будет боговать Никола». – «Сгодился бы, – отвечаю, – ну одно горе: он дуже с москалями познался». – «Так на кого ж кинем?» – мой внук Дионис кричит. «Та чего тут думать! – это ты, батько, обозвался, громко, как звонница на площади, подал голос. – Нехай будет Георгий! У него своя коняка, и шлях насыпет и уравниет. Оце так! На что змей крылатый был лют, так он и тому попал копьём в глаз и пришил до самой земли. Нехай будет Георгий!» – «Оце так! – и я закричал. – Оце правда». И проснулся.

Бабыч молчал. Жена принесла им чай. Дымок вился над стаканами. Два казака сидели словно в полном одиночестве.

– И знаешь шо, батько? Знаешь, какой то сон? Когда я был маленький, рассказывали старые черноморцы про Сечь. И я забыл на шестьдесят лет целых. И вот оно!

– Они сложили, когда их Екатерина выгнала из Сечи.

– Ясное дело – тогда. Чую, придется переселяться казачеству опять. Потеряем землю черноморскую. То моя душа пророчит.

– Нам с тобой уже мало осталось, – сказал Бабыч. – Переселяться некуда...

73

Ночами Бабыч не спал, думал о том, где доживать век. Дождаться окончания войны, купить плановое место в родной станице Нововеличковской и сиживать сычом на кургане перед заходом солнца. А пока с глаз долой!

– Может, в Эривань поедем? – спросил он супругу Софию, которую там и засватал.

Это был его второй брак, взял моложе себя на целых двадцать пять лет. О чем ни спроси, никогда не знаешь, как она ответит.

– Ради бога! – сказала жена из столовой.

Но как это понимать?

– Что, Сонюшка?

– Поедем, пока не арестовали, в Кисловодск!

– Меня не за что арестовывать. Пенсию винновым не назначают.

– Повыпустят босоту из тюрем – найдут твою вину.

Бабыч отошел к окну, задумался. От памятника Екатерине хромал к двору Авксентий Толстопят. Куда он шел? Бабыч раскрыл окно, Толстопят увидел его и остановился. С 1905 года они дулись друг на друга и даже в Тамани на открытии памятника запорожцам не покорились в праздничном братстве.

– Иди, иди! – крикнул Бабыч и позвал рукой.

О смута, она разодрала отношения старых товарищей. В том 1905 году революции Авксентий Толстопят командовал полком 17-го пластунского батальона.

Бабыч был помощником наказного атамана. В ноябре за его подписью прислали батальону указание выступить из станицы Уманской в направлении бунтующего Новороссийска. Станица провожала казаков угощением; старики, матери, жены ехали за ними на подводах до станции Кисляковской, пели, плакали, кричали; казаки стреляли в воздух. Все были пьяные. «Нам царь-батюшка, – кричали, – в табельные дни отпускает водку, а потому мы пьем и других угощаем. Нас везут охранять купцов, – где такой приказ? Две службы нести нельзя!» Семь дней бездействовали казаки на запасных путях в Екатеринодаре в вагонах-теплушках. Участились массовые самовольные отлучки по харчевням и грязным домам с девицами. Сторублевое пособие нельзя было отправить семьям из-за забастовки почты – оно пошло на веселье. В Новороссийске казаки вдруг отказались грузиться на пароход «Великая княгиня Ксения»: потопят!

– Вас мобилизовали по высочайшему повелению!

– Покажите нам высочайшее повеление. Государь ничего не знает. Нас собрали для охраны купцов, на их средства и содержат. Не поедем в Батум!

Ночью прибыл генерал-майор Бабыч, застал Толстопята в вагоне в одном нижнем белье.

– Они еще в станице решили не идти на погром, – сказал Толстопят генералу.

– А ты где был? Привел оборванцев.

– Я тоже не хочу стрелять в толпу. Стоит, дескать, убить двух-трех евреев, и беспорядки в городе прекратятся. А я так не считаю.

– Тогда подавай рапорт об отставке! – приказал Бабыч и пошел уговаривать третью сотню.

Речь его была гневной:

– Вы позорите свое родное Кубанское войско. Не только войско, но и станицу и свою семью. Что скажут старые казаки, если встретят на улице ваших детей? «Оце сынок позорного батька». Вы с этими вопросами не считаетесь? А оно будет, а может, уже есть... Вы кого послушали? Бунтовщиков, агитаторов? Они вам посулят много, а что дадут, спрашиваю вас? Кроме позора – ничего. Они выкинут вас с честной и святой земли, что добыта вашими прадедами, дедами и батьками. Зачем? Чтобы самим стать хозяевами на вашем месте. А вы их слушаете. И вы возьмете ком грязи и бросите в чистое солнце? Вы замараете войско. Надо помнить, что казак без доброй вашей славы и чести, казак на печи и в кожухе с клюкою не казак. Деда ваши были еще темнее, но лихая слава сопутствовала им до конца. Призываю вас на борьбу с врагом государства!

Третья сотня послушалась Бабыча, погрузилась. Уже был поднят флаг и готовились снять сходни, как вдруг с парохода сошла вся команда. Другие казаки предупредили ее, что перестреляют всех, если пароход тронется с места. 17-й пластунский батальон вернули назад в станицу Уманскую.

«Помните одно, – советовал Толстопят нижним чинам, – будет следствие и суд. Не подводите невиновных товарищей. На меня же вам трудно будет свалить вину, так как я поступал по закону. Я мог быть преступником, но подлецом не был».

Бабыч ему этого простить не мог.

– Читал?

Бабыч сперва не понял, о чем спрашивает Толстопят. Он стоял перед дворцом, задрал голову.

– Читал, шо про тебя пишут?

Толстопят точно флажком водил газетой по воздуху. Постоял без всякого сочувствия и пошел опять к памятнику.

В «Кубанском курьере» публиковали интервью с комиссаром Временного правительства Бардижем.

«Правда ли, что высшая администрация области старалась спрятать под сукно телеграммы о государственном перевороте?»

«Бабыч и др. сделали попытку замолчать. В городе начались волнения. Тогда под моим давлением Бабыч разрешил напечатать в газетах телеграммы. Привычный к бесконтрольной власти, Бабыч не хотел уступать своего места. Тогда население потребовало сместить атамана, а иные требовали его ареста...»

Бывшая прислуга дворца уже выносила в сад красную и мягкую мебель, кровати с сетками, плетеные и венские стулья; супруга упаковывала портреты, образа и иконки. Жалко было мраморного столика, за которым играли в карты с заместником графом Воронцовым-Дашковым, но столик был казенный. Ничего не взяли чужого. Родной сестре Бабыч дарил венецианское зеркало...

– Подушечку, Соня, под ноги не забудь...

13 марта Бабыч посылал за Терешкой и ездил на кладбище поклониться родителям. Так у него было заведено: перед дальней дорогой и по возвращении он навещал семейные могилы. В еще голом кладбищенском лесу постоял теперь у мраморных плит, вспоминая самое дорогое из своей счастливой жизни под кровом отца-матери. Лучший кусочек клала ему матушка на тарелку; а батюшка воспитывал казачонка лихим. Золотую, с бриллиантами, табакерку (подарок отцу от Александра III) он уже носил с собой в правом кармане. Коллекцию старинного оружия супруга сложила в сундук. Что ж, отец повоевал на славу – племена натухайцев, шапсугов и абадзехов произносили его имя со страхом. Три года в походах, в двадцать два года получил орден Св. Георгия и увенчал свои подвиги орденом Белого орла. Скакал казак от Темрюка, Анапы, Геленджика и Гагр до Силистрии в Болгарии. В 1846 году, когда ему, Мише, было два годика, отец начальствовал в крепости Фанагорийской, а в 12 лет он молился за него по наущению матушки – чтоб вернуться живой из битвы с горцами, потом англо-французами на Таманской горе, на косе Чушке и в станице Ахтанизовской. Спи, батько... Он попроцался с трево-

гой, и когда пошел, то несколько раз оглянулся с чувством, будто мать и отец следили за ним.

– Повезешь в Кавказскую? – спросил Терешку. – Там на поезд.

– Были бы вы начальником области, опять бы заработал семь суток аресту – не повез. А теперь повезу.

– Когда я тебя арестовывал?

– Послали за мной казака на биржу, а я отказался. Но я досидел, вы мне три дня скостили, Пасха настала. А чего бы вам не остаться в Екатеринодаре? Вон паньчи хвалились: у нас как в Париже!

– Да, у вас теперь как в Париже – свобода...

Как ни согнули его дни переворота, а в осанке, в важной речи чувствовалась гордость властного человека. Стояла ласковая весенняя погода. Галдели лавочники. Птицы кружили над Александро-Невским собором. Бабыч во спасение свое скоро перекрестился и потом смотрел только вперед. На пожарной каланче краснел флаг. В «Чашке чая» было пусто. Какие обеда устраивали, какие речи текли, сколько воспоминаний! Объехав вокруг памятника Екатерине II, взглянув направо на деревца над могилами старых атаманов, Бабыч встал у дворца и расплатился с Терешкой.

– Завтра подъезжай с утра. Да скажи Евстафию Сухороброву, пускай один экипаж еще прийдет. На дочек. С крытым верхом.

– Хо-о! – крикнул на лошадей Терешка.

У городского сада в фазтон сел Попсуйшапка.

– Как дела?

– Дела будут идти, – сказал Попсуйшапка, – если не спать. На ярмарку готовлюсь. Чего Бабыч говорил? Эх, я думал, опять он закажет папаху из тибетского козла. Кончилось царство. Руби столбы, заборы сами повалятся. Я маленьким был, когда коронавание случилось. У нас в деревне Новая Водолага сколько было у торговцев возле лавок керосиновых бочек (и смола была там, деготь), так все выкатили на площадь и зажигали. А мы, мальчишки: «Пошли на пожар!» Раздавали на коронацию фрукты, чашечки с веззелями... Ну, оно, может, к лучшему?

– А чего нам их жалеть? Они нас кормят?

14 марта Бабыч выезжал за город в степь, по Ставропольскому шляху. Прощай, Екатеринодар.

«Прощаюсь с тобой, батько, не без душевной грусти, – сказал в тот раз Лука Костокрыз, – но на все есть воля Божия». Проезжая пашковские сады, Бабыч позавидовал казакам, которым не надо менять жилищ и которые и при новом правительстве, если не оберут их в правах, будут кричать во все глотки: «Готовы ринуться по первому зову!» За садами скрывалась внизу Кубань; эти места были опасны еще во времена его молодости, и где-то здесь мать Луки Костокрыза захватили черкесы.

Кисловодск не Кагызман на границе Карской области, у реки Аракс, но и не земля родная. Опять Кав-

каз, Азия! Там на службе казаки дружно поругивали Русь. Три тысячи футов над уровнем моря, в 15 верстах город Александрополь, в нем три тысячи турок, армян, татар. Бесконечные строевые занятия, карты, танцы в офицерском собрании по праздникам. Российская казна вечно побиралась и отнимала у казаков суммы на постройку своих казарм. Казаки ютились в казармах глинобитных, тогда как русская драгунская конница, пограничная стража и пехота возделали себе помещения на славу – целые городки. В конце века русская Кавказская армия (в лице командиров) напоминала богадельню, в которой высшие чины доживали свой век на казенных хлебах. В Кагызмане командиры бригад были престарелые, причем один был глухой, а другой слепой. Командующий войсками Кавказского военного округа являл собою настоящие мощи. И в Петербурге был тоже склад древностей с великим князем Михаилом Николаевичем во главе. Только с такой рухлядью можно было выкидывать разные штучки. Один старец (начальник дивизии) требовал, чтобы на постах разводили огороды и бахчу. Догадливый офицер Шкуропатский (дед Калерии) накануне приезда начальника заставил татар вспахать землю, перенести бодылья арбузов, дынь, посадить и попривязывать нитками. Удостоился благодарности! Он же в селении Топаджык, под самым Карском, устроил банкет и пригласил губернатора. Привез за шестьдесят верст из Саракамыша сосен, наткал в землю рядами, и так в один день вырос на голом месте парк. Губернатор диву давался!

75
Россия-матушка! Полный благих порывов и идеалов казачий офицер сталкивался на первых порах с дельцами и мошенниками. Да, Россия гнила потихоньку, признавал теперь огорченный Бабыч, и всю эту гниль прикрывали императорской мантией. В армии пили. Тогда и Бабыч много пил, и дело доходило до того, что офицеры, меняя бутылки, подсовывали ему вместо вина холодный чай. Лошади бежали под горку, словно спускали его на воспоминания в эту самую Азию. Сколько там казаков сложило головы! Не раз, награждая белым крестом, произносил Бабыч речи: «Прежде чем получить белый крест, каждый из вас ждал себе другого креста, – и не на родной стороне, а на далекой чужбине. Вот почему поднимается рука ломать шапку перед вами, и первее всего хочется вспомнить ваших товарищей, что оставили свои кости на чужой стороне». За каким крестом теперь едет он сам? Ехал, и обиды на Русь все разрастались. В 1894 году на перевалах Сенак-Баш и Караван-Сарая завязалась перестрелка с курдами, и на фланге был ранен русский прапорщик; казак станицы Новоминской достал его, лежавшего впереди стрелковой цепи, взвалил на себя и под пулями вынес в укрытие. Русский прапорщик получил золотую медаль 1-й степени за храбрость, казак – ничего.

«Проморгала Русь все! – злился он теперь, потому что кара пала не просто на царскую власть, а и на ее слуг. – Бисовы души! Не парады, не памятники и публичные молитвы были нужны, а... – Он не мог подсказать что.– Говорили же: придет время, и людские слезы камнем упадут на их головы. «Рады стараться, ваше императорское величество!» А кому ж теперь кричать? Выборным? Дулю. Генералы предали Россию. Скрутили государя. Дулю вам, дулю! Все равно России нужен царь, одна рука, а не десять. Дулю вам!»

Когда сели в поезд на станции Кавказской, Бабыч сразу же лег на устроенную женой постель и заснул. Теперь едва ли прицепится кто-нибудь с отмщением. Снилось ему, будто совал ему Лука Костогрыз газету «Новое время» и дергал за руку: «Вставай! Государь ждет расписаться в особой книге в память о посещении твоей хаты». На пустой странице чернело: «ТО-СТЫ БЫЛИ ПОКРЫТЫ ВОСТОРЖЕННЫМИ КЛИКАМИ «УРА!».

Проснулся – на станции красные флаги. Что будет-то?

«Храни нас, Господи, – шептали ему уста покойной матушки Дарьи, – пресвятой ангел мой господь, храни меня. Во все минуты храни меня, во все часы...»

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ТРИЗНА

– Придет время, и людские слезы камнем упадут на их головы...

Из разговора в 1908 году

Эпизоды Гражданской войны

Чьи дневники?

Был ли когда-то этот грозный 1918 год?! Через полвека спокойными слабыми голосами рассказывали о русской сечи ссохшиеся старики, кое-что перепутывая, забывая имена, числа, местечки сражений. С дорог и глухих тропинок невесть куда уйдут озлобленные люди, и со временем составится о них общая Книга их далекой невероятной судьбы. Но не все победы, не все дни и недели, не все летописи войдут в эту Книгу: много листочков выпало, много оставлено себе на память, много валяется в чужих сундуках.

Ровно шестьдесят лет спустя я на улице Коммунаров (бывшей Борзиковской) купил за три рубля чьи-то дневники без начала и конца. У подъезда двухэтажного узкого дома с красивой виньеткой на дверях торговала книжками, поношенными вещами, посудой, вся-

ким ненужным домашним скарбом старушка; торговала каждое воскресенье из года в год. Видно, никто у нее ничего не брал, и она тогда поставила на землю послевоенный патефон с пластинкой Вадима Козина. На тарелке лежала тетрадоочка с обгрызенными углами. Я присел на корточки и не поднялся, пока не прочитал половину. Листик начинался записью от 12 февраля 1918 года. «Господи, благослови. Екатеринодарцы друг друга спрашивают: возьмут или не возьмут?»

– Чья тетрадка?

– Не знаю, – то ли солгала, то ли правду сказала старушка. – В войну кто-то занес в наш дом.

– Имени нет.

– Берите.

– Так вы точно не знаете, чья это тетрадка?

– А зачем вам? Вы все равно не могли знать этого человека. Тетрадь неизвестной...¹⁰

Я ушел радостный, думая, что все равно этой тетрадкой когда-нибудь воспользуюсь.

Из дневника Манечки Толстопят

12 февраля 1918 года. Господи, благослови. Екатеринодарцы друг друга спрашивают: возьмут или не возьмут? Всех ли богатых будут резать или только избранных? Всяду нервозность. Выдержит ли Екатеринодар? Одно ясно: если у города загремят пушки, как и полмесяца тому назад, то такого подъема, как 22 января, уже не будет. Не побегут вновь со всех сторон к «Метрополю» нарасхват разбирать оружие. Казаки по-прежнему спят. Трудно ожидать, что 170 добровольческих штыков удержат 5 красных полков. На улице единичная стрельба. Когда трусят, всегда стараются открыть стрельбу.

14 февраля. Читала в газете и согласна. Все оказалось в России ложью: ея мощь, ея религиозность, ея монархичность, так же как и ея стремление к свободе. Буквально все принципы европейской культуры оказались совершенно непригодными для нас, русских. Все, за что тысячелетиями боролось человечество от века Перикла до последнего билля британского парламента, – все это в России даже не возбудило внимания, простого хотя бы любопытства. Обыватель полагает, что ради него льется кровь человеческая, «аки вода». Дементий Павлович Бурсак сегодня заметил: грядущее потребует от человека таких жертв, которых он еще ни разу не приносил. Оно, это грядущее, выучит его, что такое государство Российское, и выучит раз и навсегда, ибо теперь мы дошли до предела не обывательского мнимого страха, а реального ужаса, распада человеческого общежития.

18 февраля. Ходят всякие провокационные слухи. Жители то ожидают большевиков, то надеются на приход немцев. Якобы из Новороссийска большевики

¹⁰ Позднее установлено, что эта тетрадь принадлежала Манечке Толстопят. – В. Т.

подвезли 8 тяжелых орудий для осады Екатеринодара. После 9 часов на улицах жутко. В «Чашке чая» безумцы пели ультрапатриотического «Олега» (за царя, за Русь) под оркестр.

19 февраля. Говорят, корниловская армия в составе 8 тысяч штыков и сабель с артиллерией пробивается к Екатеринодару.

28 февраля. Тучи сгущаются. Краевое правительство и партизанские войска покинули Екатеринодар. Водопровод перестал подавать воду – забастовка рабочих. Паника охватила, кажется, уже всех. Все советуют уезжать, но куда, и как, и зачем? В садах зарывают драгоценности, вазы, офицерские формы и оружие. Мы спокойны. И только одни мысли: где наш Петюшка и что будет с папой? Он ушел вместе с этой кубанской стихией в степь. Там он надеялся найти Петюшку. Накануне, после совещания Рады и Кубанского правительства, все бросились на базар в «азиатский ряд» – покупать амуницию, но большинство пришло во двор реального училища в том, что захватило на скорую руку. Мы попрощались, и они на заходе солнца тронулись в путь, двуколка за двуколкой, по направлению к железнодорожному мосту и к Траховскому – через Кубань. В учебных тужурках и пальто, с узелками, ушли серьезные гимназисты. Тысячи обывателей спрятались за их спинами. А день теплый, солнечный. Мне как-то было не по себе при мысли о том, что детям придется по необходимости стрелять и убивать. Что их ждало, что станет с их беззащитными родными? Ушли на ночь по дороге на аул Тахтамукай.

Екатеринодар, 1919 год

«И придут времена, и исполнятся сроки». Все изменилось. Раньше, в мирное время, Екатеринодару случалось принимать высоких вельможных гостей; дважды визировали жители на царских особ; наезжали сюда наместники Кавказа, министры, князья, генералы. Но тогда они лишь мелькали, были над народом; их речи, взгляды, приветствия белыми перчатками были величественны и легки, позы уверенны; между народом и ними всегда был забор: цепь вооруженных казаков и офицеров, свита, толпа почетных гостей и местного начальства. Нынче растерянные господа толкались среди обывателя везде и всюду, и было их так много, что можно было коснуться и заговорить. Вся Россия, казалось, сбегала на узкие улицы степного города.

Да! – казалось, вся титулованная и богатая Россия, тонкая ее косточка, перекочевала в маленький Париж. Такое можно было представить только во сне или в нелепых мечтах. Случилось несчастье, и те, кто никогда бы не подумал без гримасы об этой куркульской дыре, были рады, что их приютили и спасают им жизнь. Если бы каким-то чудом успокоилась взбала-

мученная Россия, вернулась на «круги своя» и при- смирилась, Екатеринодар в одну ночь стал бы ее столицей – в нем были все или почти все, кроме царской семьи. Присутствие высочайших чинов кое-кому прибавляло духу: не померкнет держава, которую всегда охраняли от попустительства погоны, шубы, трости, белые воротнички.

С пожарной высоченной каланчи любопытно было наблюдать в теплую погоду за шествиями по Екатерининской и Красной улицам.

Воистину: кого там только не было! И в ресторанах, кафе, в театрах, на лекциях князя Е. Трубецкого, о. Шавельского, о. Восторгова кого только не увидишь! Тут были камер-пажи вдовствующей императрицы Марии Федоровны, и камер-пажи, несшие шлейф некогда юной царевны в тот час, когда она впервые вступила на русскую землю, и камер-пажи, трогавшие во время репетиции последнего коронавания трон Ивана III в Кремле. В квартире на улице Рашпилевской собирал членов Государственной думы Родзянко. Копошилось с планами дворянство и земство. В Управлении продовольствия армии на Кирпичной улице слышалось: «Княгиня, не будете ли вы так любезны достать дело номер 14522 А?» Чванились жены членов Государственного совета. Но бывлые заслуги, звания и отличия не имели больше никакого значения. Лавры оплетали головы участников Ледяного похода и героев последних сражений.

77

Все подходило поклониться памятнику Екатерине II на Крепостной площади, повздыхать и передернуть бранным словом в адрес черни. Памятник высился так же гордо, как и в Петербурге у Александрийского театра, в том Петербурге, где уже нет старой власти и неизвестно что происходит в домах с золочеными ручками. Но неужели?! неужели все погибло?! Ложились спать по екатеринодарскому времени, служащие вставали на работу по петроградскому.

Гусары нанимали извозчика Терешку везти в шашлычные и погребки. Он быстро приноровился к генералам и государевым слугам всех мастей. Его дело везти, а кого, куда и зачем – неважно. Так же возил он и при большевиках. Возил дам в поисках квартир; возил офицеров к ферме Гначбау на символическую могилу генерала Корнилова – это там же, на Бурсаковских скачках, он как-то мок под дождем из-за Бурсака и Шкуропатской. Вокруг могилыросло бурьяну, чуть подальше бросил кто-то телеги, брочки. И кругом кучи навоза. Офицеры ругались матом и клялись, что, когда победят, поставят на берегу усыпальницу, а рядом устроят большой приют-санаторий для участников Ледяного похода и прочих увечных добровольцев. Терешка курил на козлах и слушал, но так, будто его ничего не касалось. Из речей мудрецов он запомнил, что писатель Чехов (которого он никогда не читал и не знал, что он уже покойник) Россию не любил и «замешан на одних разговорах», что народ достоин своей интеллигенции, что Русь погибла из-за масонства.

– Россия – жертва чудовищной провокации. Иудино дело сделано. Я вижу, Россией еще полстолетия можно будет управлять только палкой и виселицей.

– Франция когда-то дала всем игрушку, и мы за ней. У нас были свои светочи. Отплатил нам сторицей русский народ за те чувства, которые мы к нему питали. Походит по нему чужестранная плеть. Пустили свиней в сад, они и деревья подрыли.

– А чем вам плохой русский народ? – вдруг обиделся Терешка и повернул голову. – Он виноват? Значит, довели. Вы в Панский кут едете деньги мотать, а нет чтобы раненым белье купить? У них там, в лазаретах, лоскутки от старых рубах вместо полотенцев.

– Твое дело погонять. Ах, до чего распустили! И правда ведь с именем республики связано все предательство, продажность и бесстыдство. Нужен царь. Монархизм – это склад души. Это подчинение иерархическому началу. Дисциплина. А это что?

– Мне надо лошадей покормить. Я не поеду, – сказал Терешка.

– Да ты большевик проклятый! Немедленно его в полицейскую часть! Полиция!

Так Терешку сдали в кордегардию, и, пока пристав Цитович разбирался с ним, прошла ночь.

С тех пор Терешка возненавидел приезжих всей своей хозяйской утробой.

«Понаехали, еще и недовольны. Из-за вас и цены подскочили. Ничего не купишь по старым ценам. Пора бы вам уже и лоб перекрестить – гром грянул. Только и знаете объявления в газетах вешать: пропала собачка, пропали два кольца с рубинами, нож с рубинами за пять тысяч. Раненых почему некуда девать? А вы ж все позабрали: постоянные дворы, углы у частных, номера в гостиницах. Денег-то много. А пожертвовать обществу жалко? Ну конечно, кое-кто жертвует, так они и не обзывают русский народ. Они понимают: на то вражда. Когда шестого августа прошлого года белые входили, им пели «Спаси, Господи, люди твоя». Ишь, каждый думает, что воюют за него. А сам чего ж сидишь? То называли меня «товарищ», а как вошли отряды казаков с белыми повязками, сразу: «Господин извозчик!» Э-э, люди. Из подворотни вылезли, навязали белых носовых платков на рукава, белые бумажки повтыкали в головные уборы, поверх лайковых перчаток кольца надели, «ура, ура!». То наряжались в оборванные платья, чуть ли не в душегрейки, а то и ну кошельки выворачивать, и забегали по дворам: «Всех drogалей послать к железнодорожному мосту!», «За жечь на всех дверях свет!» И задымили, и задымили толстыми папиросами в первых рядах Зимнего театра. Оперетки им готовы: «Аромат греха», «Счастье только в мужчине». Ну конечно: наелся, выпил, давай бабу. Да мелом по зеленому столу рулетки цифры выводят. И все русский народ виноват им – отобрал Панский кут! Вот и вся статья. Так вашу мать! Сдыхать будешь – мимо пройду. «Родная земля отвернется от

вас, если вы руки свои запачкаете невинной кровью». А вы в руках деньги и рюмки держите. «Печать Каина...» И не проситесь в мой экипаж...»

А кормиться чем-то надо было. И опять подвозил он к «Чашке чая» какую-то даму. Она приклеила к дверям объявление о том, что здесь «дружина памяти учащихся-добровольцев» производит запись желающих собирать портреты погибших, ухаживать за могилами, собирать материалы к описанию героических подвигов и средства на создание памятников. От Рашпилевской и к Длинной довез он как-то дочь генерала Корнилова, худую и молоденькую; она расплатилась и пригласила в городской сад на благотворительное гулянье и концерт в пользу Белого креста. К вечеру Терешка не раз подгонял туда экипаж с пассажирами. Был праздник Св. Троицы и Св. Духа. Чтобы собрать с обывателя денег побольше, устроили шествие по Красной с цветами, что должно означать возрождение России. Для беженцев из столиц уголки сада декорировали под былой Петербург, Париж и Рим. Пригласили самых знаменитых гадалок. Напечатали пятьдесят тысяч билетов к лотерее-аллегри и назначили выигрыши: до пяти тысяч керенскими и николаевскими бумагами, остальные – дарственными вещами. Шла торговля цветами, шампанским, черным кофе и кавказскими сладостями. С американского аукциона продали: бутылку шампанского за 3450 рублей, пять фунтов рафинада за 150 рублей, яблочного поросенка за 2745 рублей и... серебряный самовар Анисьи, подарок от великого князя Михаила Николаевича, тот самый самовар, о котором она хлопотала когда-то перед наказным атаманом. Бурсак был в саду, но не видел этого. Облетевшая столики после своего номера артистка Добротина собрала на тарелочку три тысячи. Она пригубила бокал «в честь самого милого и щедро из гостей», и бокал тут же продали за несколько сотен. Накануне по подписным листам было собрано 65 000 и на 15 000 пожертвовано продуктов и вин. В кабаре, украшенном зеленью и национальными флагами, набросали 10 000.

После 12 ночи стулья из зала Летнего театра убрали, и публика заняла изящные столики. В изобилии подавали шампанское, вина, фрукты. Ели и пили под остроты артистов и музыку столичного оркестра. Есаул Толстопят с блеском танцевал мазурку. Жены командующих Добрармией к 8 утра валились от усталости: они были организаторами. Растроганные российские дамы набросали на прощанье много колец и бриллиантов.

На этом празднике Терешка тоже хорошо подзаработал.

– До родной хаты! – кричали офицеры. – Пусть наши лихие штыки и шашки не покроятся позором измены, пусть наша знамена развеваются над головою казака. Гони, Терентий!

– Хо-о!

Так и жил город: панихидами, благотворительными гуляниями, слухами, хозяйством. Всюду было много глазующих. Осенью 1918 года, когда хоронили вождя, генерала Алексеева, все улицы забились любопытными: на тротуарах, на балконах, в окнах, на крышах и телеграфных столбах все жаждали взглянуть на покойника. Куда один, туда и все. Но и на похоронах – все на плечах армии. Недаром как-то жаловались пьяные офицеры: горькая им досталась участь – нести самый тяжелый крест и погибать. По всей Екатерининской улице, до самого Александроневского собора, – шпалеры войск. Странная армия! Как она одета? В лафете с гробом усопшего вся запряжка офицерская, вся прислуга, все ездовые – офицеры. Целые шеренги пехоты – офицеры разных родов оружия: саперы, артиллеристы, пластуны, моряки. На них гимнастерки, белые и цветные рубахи, сапоги, краги, ботинки, обмотки. И только винтовки русские. Не так пышно хоронили генерала Бабыча. Фаэтон Терешки нанимала семья. Тело Бабыча привезли из Пятигорска зимой 1919 года. Гроб так и не открыли. И опять было одно любопытство: как его убили? Его взяли в Кисловодске, препроводили в вывернутой наизнанку генеральской шинели в Пятигорск и под Машуком на кладбище расстреляли. Другие рассказывали, будто его зарубили шашками и перед тем самого заставили копать могилу.

Лошади Терешки вымотались; клиенты стучали в его ворота день и ночь. Как было отказать тому, кто просил отвезти на городское кладбище поправить чужую могилу? У многих не было на юге родственников, и за гробом шли два-три воинских товарища да сестра милосердия из лазарета.

Никогда не дремлет жизнь. Обыватель пирует во время чумы: хоть день, да мой! За спиной армии, то белой, то красной, укрывались живоглоты, спекулянты, черная свора и просто «милые люди», переживавшие момент. Едва в шесть утра подкатывал первый трамвай, толпа спекулянтов с Дубинки забрасывала вагон чувалами, корзинами, ведрами и спешила на базар в Пашковскую забрать по любой цене все, что выставят казаки на прилавок: молоко, хлеб, сыр, рыбу. Жизнь продолжалась. Открывались курсы по пчеловодству, созывался съезд северокавказских городов. Тучами налетали гастролеры. Продавались подворья, дачи в Геленджике, процветало в Круглике тайное винокурение, выдывались кроличьи шкурки, шла торговля с Италией. На почтамте контрабандисты, ехавшие в Москву, брали за большие деньги письма и поручения: «Беру без политики. С политикой тоже возу, но по тройному тарифу». И как всегда: прошлое забывалось, а будущее было туманно. Забыли, как летом 1918 года бежали в Новороссийск, уже с надеждой взирали на потрепанный турецкий пароходик в бухте. Но и там, чуть заблестела надежда на перемену, екатеринодарская буржуазия осаждала

коммерческий клуб. В Тамани были немцы. Едва прогремел бой под Кореновской, платили Терешке любую цену, лишь бы вывез через Трахов мост за Кубань. Забыли, как вчера еще в белоколонном зале Дворянского собрания перепелами кричали на концерте Д. Смирнова: «Ожили дни прошлого! Снова литургия искусства!» – и несли цветы пианисту Дм. Покрассу. Забыли, потому что не верили в полный крах. Пройдет, пройдет эта смута.

В вагонах на станции лежали полураздетые отверженные воины, чумные. И когда Терешка вез Манечку Толстопят из лазарета князя Вачнадзе, она ненавидела всех, всех, кто шел по городу, кто был жив и здоров. «Явился Спасителю в Гефсиманском саду ангел с небес и укрепил Его. Явись же и ты ко мне, Господи. И укрепи. Я порою ненавижу людей», – думала она. Ее сердца хватало на всех. Когда стонет раненый, грешно думать, на чьей стороне он сражался. Она уже вытаскала из отцовского дома все белье, все рубахи, все братовы кальсоны.

Иногда она забегала к Калерии Шкуропатской.

– Где же общество? Где оно? Разве они не видят?

– Помилуй, Манечка. Такое время.

– Но пройдите по Красной. Всмотритесь в этих сытых людей. Они довольны. Ювелиры еще никогда так не торговали, как сейчас. Берут только валюту, чтобы в крайнем случае не менять в Константинополе московские «колокола». Шестого августа крестились, плакали, целовали офицерам руки. Под копыта лошадей бросали цветы. Не я же прислушивалась к каждому пушечному выстрелу. А теперь? Им жалко разрознить дюжину белья? Я не могу больше. Мне хочется умереть. Мне жалко всех.

Екатеринодар 1919 года! В газетах останется его приблизительная жизнь, и никому не будет дано оглянуть и разом схватить его тогдашний миг и миг каждого. Кто был тогда тут, стерег свою безопасность, торговал, блудил, спорил в кафе, плакал по убиенному государю, одиноко думал, ждал с поля боя своего брата, отца, мужа, таился, лукавил, тихо обменивался мыслями с родственниками, спасал от преследований красноармейцев – сие есть тайна каждого. Пока кто-то писал приказы, стонал после перевязки, Манечка Толстопят молилась о братике Пьере, чтобы он уцелел, и, пока она молилась, братик ее, может, в ту же минуту в издыхании чувств (в сыром поле или в греческом духане за стаканом вина) повторял другую молитву, сочиненную товарищами-офицерами:

*О Боже, святой, всеблагий, бесконечный,
Услыши молитву мою!
Услыши меня, мой заступник предвечный,
Пошли мне погибель в бою!*

*Смертельную пулю пошли мне навстречу,
Ведь благодать безмерна Твоя!*

*Скорей меня кинь Ты в кровавую сечу,
Чтоб в ней успокоился я!*

*На родину нашу нам нету дороги,
Народ наш на нас же восстал,
Для нас сколотил погребальные дроги
И грязью нас всех забросал.*

По дороге на Иерусалим

В 1835 году на этом же месте, где Попсуйшапка нашел раскорякой стоявшего Луку Костогрыза, пахла в предпасхальные дни землю под баштан мать Костогрыза. Прозвонили к вечерней службе, но ей хотелось еще два-три раза пройти с бороной, а то назавтра она бы уже не смогла: она ждала родов.

Ее и соседей захватили тогда черкесы, переправили их за Кубань. Уже стемнело. Мать лежала на возу и стонала. Черкесы развели костер и, когда он перегорел, жар сгорнули в сторону, нагретое место полили водой, сверху застлали соломой, покрыли солому буркой. На этой бурке и родился Лука Костогрыз. В ауле черкешенка взяла младенца в чистую пеленку и понесла в саклю. Через неделю их выкупили за пленных черкесов. Мать поклялась десять раз побывать у киевских святых мощей, что потом и исполнила.

Зимой 1919 года Лука Костогрыз шел ко Гробу Господню в Иерусалим.

У крыльца правления, где старики ругали «москальскую власть» и надеялись на победы генерала Шкуро, Костогрыз жаловался:

– Мало вижу в очках, мало слышу, а зубов осталось только четыре. Хожу тихо и то с одышкой – горе, тай годи!

Уже все предсказывало ему, что скоро вытянется он на койке и будет звать тихим голосом свою старуху.

«А интересно бы узнать, – думал он вечерами, облокотившись на плетень, – чем оно кончится? Долго ли панов будут люшнями бить? После пропажи москальской власти вера и дисциплина распались, но сыны вывели нас с новой москальской неволи, побачили мы снова красное яичко и вздохнули так, как раньше вздыхали. А то было опасно из балагана носа показать, бо сквозь матюкаются новые наши братья и нас тюрьмою стращают. Спасибо вам, паны, генералы и весь начальствующий состав, особо родному батьку Бычу¹¹. Чем кончится? – узнать, а там в лоно Авраамово. Киевского митрополита Владимира расстреляли, а недавно его наперсний крест из Мамврийского дуба, нательный крест отобрали на Красной у дамочки. И Бабыча все же расстреляли, сам могилу себе копал, а я ж говорил, я ж им подсказывал: це добром у вас не выйдет! Где мой Дионис? Вошел в чины и за-

был деда? Живой ли? Убил двоюродного брата и не охнул. Рассыпалась храмина. Подарила казакам царица Катерина землю, а теперь шо? Собираться и грабить? Не взойдет больше святое солнце воли, восстала кара над нами... Не станет Савл Павлом и не будет блудница праведной? Корнилов забрал у меня коняку, его убили, а где ж она, бедная, мотается? На базаре один сказал, шо уже и церкви не надо».

В субботу вышел он к трамваю, взлез на ступеньки и поехал в город. На Соборной площади пугливая мысль поторопила его зайти напоследок своих земных дней в Александро-Невский войсковой собор, помолиться и послушать певчих. Оттуда занесли его ноги к пивоварне «Новая Бавария», где когда-то, в далеком детстве, в большой хате размещалась певческая школа, кем-то окрещенная в «сичь». То было в 1843 году! Дядя привел его за руку к регенту, велели ему тянуть под скрипку «а-а!», но он кричал «не хочу!». Однако его взяли, и жил он сперва с другими казачатами на частной квартире возле реки Кубани, в которую, когда купались, прыгали разом человек по десять, чтобы сом не ухватил. Иногда регент посылал их в степь нарвать клубники. Сичь! Надо ж и правда написать воспоминания, приставал же к нему с мольбою архивариус Кияшко. И, взволнованный подувшим на него ветерком детства, временем, когда по Красной улице бродили свиньи и куры, повернул он было вниз к пристани Дицмана, но ноги пристали, и он махнул рукой извозчику Дятлову: подвези на Динскую к внучке. Там за чаем погадали они с внучкой о Попсуйшапке (где он, что он), повеселил квартирантку (мадам В.) нравами «сичи».

– Оно ж маленькое ще, дитятко, спать ему хочется, а его будят в собор на утренню. А то ще ночью по грязи шли через весь город. Вздумается взрослым ночью повеселиться, то дежурные должны собрать тридцать шесть певчих. Собаки кругом, грязь, лезешь через заборы по садам от Дмитриевской улицы до «Новой Баварии». Пьяное собрание ждет. Да любило начальство слушать «круглый молебен», до того неудобный, шо нельзя при добрых людях ни одного слова повторить. Всякое бывало. Поминки, поздравления с именинами и праздники – певчие! Делимся пополам, одни по правую сторону Красной, другие по левую, и поздравляем. Духаны, трактиры, погребя и даже, прошу прощения, дома терпимости – «Здравствуйте, позвольте пропеть». И все нас угощают. И жил бы себе, да мать забрала в степь.

И к матери потянула его память. Как будто с пашковского кладбища, из-под тяжелой земли зывала она к нему, но взор почему-то видел все пустынное время той казачьей жизни, когда воевали только с горцами и турками. Батько служил на кордоне у берегов Кубани – с зарослями камыша по одну сторону и тучного леса – по другую. Он лежит в секрете, а в это же время мать встает на восходе солнца, кладет Луку в

¹¹ Председатель Кубанского краевого правительства при белых.

торбину вместе с кубышкой воды и краюшкой хлеба и идет жать свою ниву.

Отец скоро придет на льготу – на год, чтобы обеспечить семью, хотя в тот же год позовут его на усиление кордонной службы не на казенных, а на своих сухарях. Они ждали отца, вот он скоро-скоро появится, принесет им маленькую торбочку гречневой крупы, возьмет Луку на руки и скажет: «Расти, сынку, добрый казак будешь...» Отчего это мать сегодня не плачет, чего она бегаёт по всем закоулкам, подметает хату, перестилает на скрыне скатерть, наставляет мисок и пляшек? Лука бегаёт верхом на палочке. Чу, где-то песня; мать как угорелая хватает Луку за руку, и он бежит с ней, не чувствуя колючек в ногах. Вот они и за станицей; вдали казаки залихватски поют что-то; какой-то инструмент издает звуки, словно кто колотит в пустую бочку; у одного казака на длинной палке болтается что-то красное, кто-то пляшет... Потом? Мать вдруг стала прижимать его к себе и кричать... Отца среди казаков нету...

Тем же вечером Костогряз достал из гвардейского сундука, из того ящика, где хранил он всякие бумажки, медаль и кресты (низ сундука был засыпан мукой), тетрадку, в которой начинал писать воспоминания под заголовком: «Досужие минуты кубанского казака». Читал, наверное, когда-то, запомнил сочетание слов, понравилось. «Так, братцы! – брызнул чернилами и точно крикнул. – Понесу свои слова в общую скарбницу. Восемьдесят четыре года моей жизни кануло в вечность; я лишился двенадцати наших казацких атаманов, и ничего не остается мне, старику, как только сетовать о разлуке с птенцами Кубани и молить Бога: да упокоит он мою душу в лоне Авраамовом...»

Было, да быльем поросло, и горько вспоминать...»

Что-то помешало тогда продолжить; как будто на последних словах махнул Костогряз рукой, прослезился и бросил. Может, перебила какая хозяйская мысль, потому что на полях, поперек листа, нацарапал: «Корова перегуляла 22 мая...» Теперь Костогряз задумался: в каком это году принесла корова теленка, сколько раз он водил ее еще к быку, резал с племянником осенью годовалых бычков? Перечитал и раз, и два. Про что дальше?

– «Да позволено будет мне, 84-летнему старику...– диктовал он вслух себе и давил на ручку неподатливыми крупными пальцами,– свято по силам исполнить долг православного...– И надолго задумался.– В детстве своем письменной премудрости наметался я у дьячка, когда был в певческой школе, а поступив в службу и проходя ее, природным умом своим и запорожскую шуткою привлек я внимание сильных местного мира сего и попал в Петербург в гвардейцы... Я недаром потратил свою жизнь. Меня уважали. Характер у меня от предков, пластунский. Жили наши предки бранью, защищали Черноморию. И ни

одна святая личность, долгое время озарявшая горизонт нашей Кубани, не может быть забыта. Я о них расскажу. Что вы, добрые люди, знаете про жизнь казачью?..»

Но он только подразнил сочным своим словом и поставил на этом точку.

Ночами он стал бредить, выкликать умерших родственников, атаманов, войсковых товарищей.

– Пойди, Одарушка, выгони телят, а потом уже принеси воды и замети хату.

Жена в одной сорочке склонялась к нему, клала ладонь на лоб.

– Сетую о разлуке с вами, – бормотал Костогряз,– и молю Бога: да пошлет он вам здоровья на многие годы для блага Кубани. Прощайте. Свято и по силам исполняйте долг православного воина.

Утром ему было легче, сознание прояснилось; он вставал, кушал борщ, спрашивал:

– Шо я там ночью вскакивал с речами?

Снилось ему все старое, хорошее, доброе. Снились умершие малютки – дети. Снился себе молодым, где-то в ущелье, стрелявшим в кабанье око. Снилось, будто подносил он принятому в почетные казаки станицы Пашковской графу Воронцову-Дашкову (уже покойному) кавказское оружие (шашку, кинжал, газыри и проч.); по старинному запорожскому обычаю поднес ему вино в деревянной, точенной из ореха чарке, называемой михайлик. Снилось еще празднование двухсотлетия Кубанского казачьего войска, фейерверки за Кубанью.

– Как же я буду с вами расставаться? – вздыхал он. – Сто рублей, Одарушка, как умру, послать в Ерусалим в пользу Гроба Господня и сто на святую гору Афонскую. Ночью шел я по скорбному пути на Голгофу. Было четыре остановки.

Последнюю неделю он ходил по станице и всем говорил, что собирает на храм и скоро пойдет ко Гробу Господню в Иерусалим, а оттуда на гору Афонскую.

В том помешательстве шел он за пашковскую гроблю в смертный свой час.

– Куда, Лука Минаевич? – спрашивали.

– В Ерусалим.

У правления разорялся отец генерала Шкуро:

– Та який вин Шкуро? Шкура вин, ось хто! Бог его знает – ханцуз який нашелся? Я ему кажу: «Чего ты, собачий сын, в Шкуро перевернулся?» Здравствуй, Лука! Куда ты?

– В Ерусалим.

– А-а, ну давай, це недалеко.

Он шел по снежной дороге на Старокорсунскую, и ему казалось впереди светлое царство. За Киргизскими плавнями он вдруг вздохнул, наклонился на палку переждать и застыл раскорякой. Попсуйшапка побоялся его трогать и побежал к первой хате выпросить сани. Говорили, что это был, наверное, единственный случай такой смерти – стоя.

Лука Костогрыз умер – было известно через день в Екатеринодаре и окрестных станицах. Но до него ли было?

Исход

За сто с лишним лет город еще не знал такого нашествия калмыцких кибиток, телег, верблюдов, пеших скуластых беженцев. Везде попадались брошенные пустые телеги. Калмыки шли через мост на Новороссийск шестой день. Ту ночь 16 марта Толстопят провел без сна. Толстопят лежал у нагретой стены, протянув руку под голову отдохавшей от ласк подруги, ласк каких-то смиренных и горестных, будто оба они просили прощения. «Золотой мой...– все шептала несчастным голосом мадам В.– Любимый...» Никакое другое время не свело бы их больше вместе. Так нареклось. Они даже были счастливее, потому что многие пары уже разорвались: кто-то погиб, отстал, предал. Теперь мадам В. нуждалась в Толстопяте, как ни в ком другом.

Ей приснился сад, необозримый, волшебный. Она, маленькая девочка, заблудилась и попала во владения великой царицы. Робко шла по аллее. То тут, то там возникали грот, ажурный мостик, дальше домик, похожий на пряничный гриб, по сторонам стояли железные скамейки. Она присела на одну из них. Стало темно. Вдруг вдали замелькали огоньки, к павильону приближалась нарядная толпа. Впереди шла дама под руку с высоким смуглым красавцем. Откуда-то, точно с верхушек деревьев, слетела музыка, закружили пары, появились ароматные напитки в граненых кувшинах с длинными горлышками, сласти и лакомства в хрустальных вазах.

Она шевельнулась и обняла рукой Толстопята. Он не спал.

– Болит рука?

– Нет, нет, – ответил он. – Я гляжу, как двор снегом укрывается.

– Который час?

– Наверное, четвертый.

– Ты совсем не спал?

– Дремал.

Кажется, всего на одно мгновение он сомкнул глаза и потерял мир; сразу очутился у себя дома на Гимназической. Читал Евангелие. Дверь на балкон была растворена настежь. Он читал Евангелие на старославянском языке. Вдруг что-то толкнуло его в бок. Он повернулся. О ужас, в дверях стоял покойный уже, царство ему небесное, государь Николай Александрович, точно такой же, каким он входил на молитву в Федоровскую церковь в Царском Селе, но в то же время чем-то похожий на его батька Авксентия. Что делать? Встать и поклониться? Толстопят с непосильным трудом привстал, но двинуться вперед не удалось. Попроситься снова в конвой? «Примите меня, ваше

величество, к себе на службу», – сказал будто Толстопят и тут же пожалел: на кой черт он унижается перед ним? И к тому же его уже расстреляли. Царь вдруг заплакал: «Что же вы меня предали, конвойцы?» И ясный его образ стал тонуть в белом тумане и исчезать. Глаза Толстопята были мокрыми. Он почувствовал, что подруга его тоже не спит. Пасмурной белизной сияло окно. Полосами летел снег.

Он встал, оделся и сел у окна. На сердце не было ничего, кроме предчувствия долгой беды, которая вот-вот разломится над его головой и которую не поправить ничем и никогда. Впереди Голгофа. Почему он глядит на чужой снежный двор, почему не дома, с матушкой, с Манечкой? Уж в этой жизни они больше не встретятся!

Что-то подгоняло его уйти и добраться к родным.

– Я пойду, – сказал он мадам В.

– Постой, я провожу тебя.

Уже одетая в теплое платье, она на прощание обняла его у окна. Она так прижалась, что оторваться от нее – значит обидеть. Пустота какая-то отняла у него все слова; он ее не увидит; если он погибнет, надо было все же сказать ей что-то, что она запомнила бы навеки. А он молчал.

– На всякий случай все собери.

– У меня давно готово.

– Ну, пошли.

Надо же! – за воротами он увидел, как издали едет извозчик. То был Терешка. Он подозвал его рукой, тот остановился.

– Терентий Гаврилович, милый. На Гимназическую. Скорей. И перевезешь ее к Бурсакам. Потом.

С конца улицы он оглянулся. Она стояла с поднятой рукой. Чувствовала? Толстопят виновато махнул ей напоследок.

Утром 17 марта, под глухой звон колокола Александро-Невского собора он выехал на Красную, перекрестился и через полчаса был на дороге за мостом.

В два часа дня в Екатеринодар вступили буденновцы. На гривах, на хвостах их коней позорно висели офицерские погоны добровольцев. Народ ликовал.

...В квартирах, на постоянных дворах, в лазаретах, в сараях ненужными валялись трофеи добровольцев и беженцев: рубахи, кальсоны, английские перчатки, браунинги, кисейные юбки, френчи защитного цвета, полушубки, портянки, седла, кинжалы, телефоны, иголки для шивки ран, щипцы для жеребцов, восковые свечи, книги, меховые вещи, ордена, медали, ленты, румынские, персидские монеты, енотовые шубы и даже золотое кольцо Мефистофель, печати, кувшинчики с армянским сыром...

*И жертвенник погас,
Но дым еще струится...*

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

ЖИЗНЬ ПРОШЛА

– Не сплю, думаю: «Божечко ж ты мой, шо ж я из всех одын остався? Кругом парни та дивчата, це новое племя. А мое племя где ж?»

Казак А. В. С-в

Цифра 7

Ничего нет в жизни случайного, и наверное, так надо было, чтобы в 1956 году приехал я в Краснодар и присох к нему на четверть века почти. Было лето: июль, 27-е. Ни одной знакомой души, я иду с вокзала по улице Мира, по Суворовской к общежитию, поглядываю на пекарню, хлебный магазинчик, аптеку с крыльцом, а сам думаю о тамбовском городке, с которым попрощался позавчера. Нынче я бы много дал, чтобы явился тот день со всеми приметам, но это невозможно. Нет такой волшебной палочки. Все было мне незнакомо тогда, а сегодня даже местные историки не знают о городе того, что знаю я. И мне кажется, что уже в первый день мимо меня прошли все, кто потом рассказывал о своей молодости, и я опять восклицаю: это знак! Наверное, так надо было, чтобы в картинной галерее задержался я у «Портрета неизвестной дамы» дольше всего. И, может, не обманывает меня другой сон воспоминаний: на Новом рынке покупал я к вечеру персики у низенького беленького и чрезвычайно любезного старичка из станицы Васюринской, и то был не кто иной, как Попсуйшапка. Он тотчас просветил меня, где я живу: напротив Старого базара и знаменитой обжорки Баграта в бывших номерах гостиницы «Керчь». Но меня это нисколько не тронуло.

Я пил по утрам кофе в закусочной (теперь выясняется, что то была когда-то прихожая дома полицмейстера Черника), хлеб брал напротив – в доме с балкончиком, но не просто в доме, а в бывшей гостинице «Лондон», обедал в столовой по соседству с кинотеатром «Кубань», некогда электробиографом «Монплефир». И так – одновременно из сегодняшнего дня и из дальней дали – гляжу я уже на все городское.

За двадцать с чем-то лет исчез и город моей молодости. На месте подписного магазинчика возле посудной лавки, на месте армянских дворов по улице Орджоникидзе (б. Базарной) и затем на месте магазина с великими темно-желтыми ставнями (со стороны улицы Шаумяна, б. Рашпилевской, где, кстати, Толстопят умыкал на извозчике Калерию) стоит все другое, новое. Я застал еще круглую деревянную пивную на углу улиц Ленина и Красной. На свою прошлую жизнь глядишь не взором завхоза, а как-то иначе, возвышенной. Но не нами она здесь начиналась, не нами

и кончится, и не один еще скажет в будущем: «А я помню, вот там было то-то...»

Судьба! Мне суждено вспоминать там, где я не родился. И виновата моя бабушка. Это она раскрасила мне Кубань в своих воспоминаниях на завалинке. Не на тамбовском толчке приобрел я за старый рубль роман Вас. И. Немировича-Данченко «Кулисы», роман плохой, но я храню его как реликвию – ведь уже в первые южные дни присаживался я на корточки среди разложенной на подстилках всякой всячины, выбирал дореволюционные книжки. О толчке на улице Северной, тогда еще не заслужившем того, чтобы его разгоняли, а потом и вовсе закрыли, я пожалел, когда занялся сбором материалов к роману, – там немало еще было истых екатеринодарцев. Они уже все на погосте.

Умерла и моя бабушка, тамбовская кацапка, бегавшая в девичестве к усадьбе Воронцова-Дашкова, того самого графа, кавказского наместника, коего генерал Бабыч с дрожью встречал в Екатеринодаре в начале века. Провожая меня на Кубань, бабушка наказала мне разыскать в станице Елизаветинской казачку, у которой она «до переворота» на заработках стояла во дворе целый месяц.

– Там спросишь Христючку, звать как, забыла. Она характером легкая, хоть на руках неси...

Долговязая Федосья Кузьминична Христюк передала со мной бидончик молока Калерии Никитичне Шкуропатской на улицу Коммунаров (б. Борзиковскую), 48. Во дворе Шкуропатской росли два толстых дуба, уцелевших, видимо, с черноморских времен. Я тогда не раскрыл, что Шкуропатская носом и глазами очень схожа с дамой на портрете в картинной галерее. Не мне, а квартирантке Верочке Корсун сказала Калерия Никитична: портрет свой она видела в последний раз в 1939 году.

В хохотушку Верочку с прямым носиком я сразу влюбился, и она не испугалась моих взглядов. Я был удивлен ее быстрым смирением: терпеть мою внешность. Я считал себя безобразным, девчонок чурался и уже подумывал, что во всем белом свете мне нету пары. Уж где там волочиться за каким-нибудь цветочком на улице; даровалось бы счастье жениться к сроку – и ладно. А Верочка была хороша собой: невысокая, с красными губками, озорными глазами. Я при ней трещал не умолкая и, может, этим привлек ее внимание к своей особе. Калерия Никитична, пуще всего боявшаяся того дня, когда квартирантка зазовет на свидание парня (да еще, не дай господи, спрячет его в комнате на ночь), почему-то благословила нашу дружбу и сама приглашала меня на вечерние чаепития. Затем, в лунный час, мы сживали под дубами, и Верочкино шелковое платье сводило меня с ума. Но как было всего коснуться откровеннее? Не должна ли Верочка попросить об этом сама? Святое время! Как-то в Горячем Ключе

мы попали под дождь на горке и забежали укрыться в хате. Там жил старик Аким Скиба.

Что-то заставило его посчитать нас мужем и женой.

– Любите своего мужа? – спрашивал он Верочку, когда я отлучился попить. – А он вас? А то научу, как приворожить. Когда я был маленьким, прислали брату книжку «Секреты женской красоты». Я втайне прочитал ее. А потом у сапожника работал и прочитал книгу заговоров. Или вы и так друг друга любите? Как казачка из Елизаветинской Федосья мне говорила: «Я его как побачила, так и сказала, що це будет мой. На него можно садиться прямо с плетня и погонять куда хочется». И у вас так? А то поворожу.

Я, пока ходил пить, высмотрел старую книжку о какой-то княгине, жаждавшей казнить своего мужа неверностью. На титульном листе черными чернилами кто-то написал: «Из книг м-мъ Бурсакъ Е. А.».

– У нее была дача под Елизаветинской, – сказал Скиба. – Не знаю, жива ли Федосья Христюк, она там прислуживала, а я к ней приходил.

– Федосья жива. Я от нее молоко возил Шкуропатской.

– И Шкуропатская жива?

– Я у нее стою на квартире, – сказала Верочка.

– Шкуропатскую я видел на той же даче с Бурсаком. Приезжайте ко мне почаще. Можете у меня переночевать. Я один. Я вам порассказываю.

Но молодость! – зачем ей чужие дряхлые воспоминания? Еще не оглядывался я назад. Не придал я никакого значения рассказу Верочки о том, как ее прадедушка гонялся за наказным атаманом Бабычем – выпросить для общества племенного бычка симментальской породы. Еще много надо было прожить до того лета, когда я отыщу в «Кубанском крае» за 1910 год отчет о процессе над убийцами братьев Скиба, в той же газете о похищении барышни Ш. сыном есаула Т. И намного позже прозвучит в моих ушах прозвание Екатеринодара: наш маленький Париж! Со своим пристрастием к преувеличениям я ухвачусь за это. Да! Покойная моя бабушка не ведала, что подсылает меня к Федосье Христюк недаром. От нее потянулась цепочка ко всем остальным моим кубанским старожилам. Лишь с Толстопятом я сошелся без посторонней помощи. Но тоже, видать, не случайно. Все мои встречи отмечены числами, в которых есть цифра 7. А в цифру 7, говорят, надо верить.

Чудеса времени

В здании бывшего епархиального училища, где я после занятий покупал французскую газету «Юманите», вдруг устроились за прилавком киоска новые продавцы, старик и старушка. Продавцы были очень вежливы, не позволяли забывать на тарелочке сдачу (пусть и одну копейку), киоск свой закрывали поздно. Они как будто жили в этом киоске, дома им вроде бы

было скучнее. Всякий раз я ловил себя на том, что подойти к разложенным на широких пюпитрах журналам и брошюрам, полистать и не взять что-нибудь хоть на грош как-то неудобно. Кто они, откуда? Есть милые приветливые люди, с которыми боязно сближаться, – кажется, что ты недостоем их, слишком прост, неотесан. Они были сама вежливость, сама мягкость: сухой высокий старик, подавая газеты, обязательно заглядывал вам в глаза, а супруга его в очках тонкой серебряной оправы, с гладко стянутыми на затылке пуховой белизны волосами касалась своими птичьими пальчиками чего бы то ни было с какой-то музыкальной тонкостью. Однажды, в каком месяце – не помню, именно в том, когда во Франции к власти пришел генерал де Голль, я попросил «Юманите» за три числа, и старик, доставая газеты из укромного места, пробормотал что-то по-французски. Я ни слова не понял.

Тогда он спросил:

– Вы свободно читаете?

– Очень слабо. Я самоучка. Со словарем разве пойму, что за птица де Голль.

– Де Голль напомнит французам о национальной гордости.

– А вы, наверно, француз? – спросил я. – Из Парижа? Вы недавно у нас? Нравится наш Краснодар? – спрашивал я глупости и, главное, с глупой интонацией.

– Это мой родной город, молодой человек.

И он занялся делом, дал понять, что спрашивать его больше не следует.

Но мы почти познакомились.

Наверное, я привлекал людей робостью, и потому, кажется, старики быстро допустили меня к себе; через месяц я стал бывать у них дома. Они жили по улице Советской, недалеко от картинной галереи. В маленькую комнату с круглым столом посредине я ходил расспрашивать их о Шалапине, Бунине, Коровине, Мозжухине, которых они видели за сорок лет своей жизни в Париже не один раз. Большой новостью для меня были воспоминания Л. Д. Любимова «На чужбине» в двух номерах журнала «Новый мир»; эти номера, как и через год «Современные записки», одолжили мне старики. Воспоминания киоскеров о Петербурге, Екатеринодаре, Париже дополняли мои исторические впечатления. Юлия Игнатьевна пекла чудесные булочки, и раз в десять дней я пил у них чай. Скажу теперь, что Юлия Игнатьевна – это известная нам мадам В., а муж ее – Толстопят Петр Авксентьевич. Не надо опасаться, будто они занимались моим перевоспитанием. Они не думали об этом ни капельки, обо всем говорили между прочим, как это и бывает с людьми. Они любили кормить, за столом сидели у них всегда долго, по-старинному, тарелки убирались и вновь ставились, чаеванье растягивалось бесконечно. Каюсь, я непременно читал свои сонеты и каждый раз слышал от месье Толстопята одно и то же: «Дема

Бурсак тоже поэт. Че-орт его знает!» Но я не обижался на то, что Толстопят был глух к моей поэзии, ведь он сам сказал о себе: «Извините, я простой казак». Зато Юлия Игнатьевна подстрекала меня (думаю, не совсем искренне) почаще приносить «что-нибудь новенькое» и обычно перед чаем торжественно объявляла: «Господа! А Валентин Павлович, кажется, написал новый сонет. Попросим?» У меня их было уже числом до ста сорока, и я вместо одного распевом читал с десяточек. В то время я жаждал понаравиться своими сонетами всем. Любезная чуткость Юлии Игнатьевны спасала меня от страданий.

1 мая мы смотрели с Толстопятом демонстрацию с тротуара возле Пушкинской библиотеки. Впору было пожалеть, что вымерла мода на белые костюмы: Толстопят выглядел в своем прекрасно. Мы караулили открытие парада. Вдали на перекрестке, у картинной галереи, в ожидании команды переминались военные. Вдруг они выровнялись, стали как-то выше, теснее, точно чрез их ряды пустили ток, и затем взмахом сапог потянули себя вперед под музыку, никого вокруг не признавая.

Шла армия!

Глаза Толстопят искрились от слез. Вспоминали ли он со сладостью парады казачьего войскового круга, великорусские парады под Петербургом? Или вступление советских войск в города Европы, когда в зале кинотеатров плакали все эмигранты? Он был воин, человек русский, и шла перед ним в торжестве дисциплины и неумолимой присяги все та же родная русская армия, защитница. Да, он плакал.

За такие минуты слабости я и полюбил его.

В тот весенний праздничный день мы несколько часов гуляли по нарядной улице Красной, не могли расстаться; всем это знакомо.

– Вот видите, – останавливался он у Ворошиловского сквера напротив Доски почета, за которой должен бы выситься Александр-Невский собор, но его не было. – Здесь ваш покорный слуга стоял. Музыкантский хор нес две серебряные войсковые трубы. За ними знамена от царей. Белое и голубое – от Екатерины. Потом несли грамоты. А за ними наказный атаман Бабыч с булавой, лицо серьезное, будто на войну отправляется. За ним два офицера с булавами на бархатной подушке. Красиво было. Лес хоругвей, певчие, диаконы, три архимандрита в белых ризах и, наконец, епископ Иоанн с крестом и святой водой. Ста-аренький. А теперь сквер, лавочки. Неужели я отсюда выходил? Там пусто, березы растут. Че-орт его знает...

Именно на этом месте, где он сейчас рассуждал без всяких воздыханий, Галерия Шкуропатская гадала у цыганки на Толстопят в 1908 году.

Красная улица длинная, версты на четыре, раньше она утыкалась в памятник казачеству, а после войны проросла почти до бывшего Свинячьего хутора.

Мы прошли туда-назад раза три. Я слушал Толстопят с детским интересом. Хорошо рассказанная жизнь становится завидной. Персия, Карс, война с турками – как героически далеко, сколько истлело костей, а тот, кто тогда мерз, стрелял, носил ордена, идет и указывает пальцем на бога Гермеса, венчающего бывший музыкальный магазин братьев Сарантиди. Захочется вдруг пожить чужой жизнью. Но тут я узнаю еще одну подробность. Когда мы уже завершали гуляние, на улице Ворошилова (б. Гимназической) Толстопят подвел меня к дому с широким балконом над тротуаром, помолчал и потом сказал, что из этого отцовского дома он ушел в 1920 году в марте месяце с деникинской армией.

Я кое о чем догадывался и раньше, я понимал, что это наша история, но все-таки я как-то немножко похолодел и даже оглянулся вокруг. Потом сообразил: да ведь еще жив командарм Буденный, еще в скверах на лавочках читают по утрам свежие газеты толстопятовские ровесники, сморщенные и горбленные красные бойцы, – чему ж удивляться?! И все же: неужели вернулись домой люди из презренного небытия? Почему? Зачем? Так давно отгремела эта небывалая Гражданская война, и неужели я хожу с бывшим белым офицером? Но какой же он офицер: это изящный старик в светском костюме, советский гражданин, и ничего в нем нет ни от «бандита» (как их называли в послевоенных учебниках), ни от «рыцаря тернового венца».

Лето свое провел я на Тамбовщине, рассказывал бабушке о Федосье Христюк, и встретились мы с Толстопятом только в конце сентября, опять на торжестве: за высокий урожай правительство наградило Кубань орденом Ленина. С портретами, флагами и транспарантами шли крестьяне на митинг к краевому комитету партии. Сбоку по тротуару ускорял шаг Толстопят. Я догнал его.

После митинга мы гуляли. С насыпного вала в городском саду мы спустились к шоссе, взошли на мост, перебрались через насыпь железной дороги. В вечернем солнечном тумане лежали топкие поля.

– Что здесь было раньше? – спросил я.

– Пустота. И военный лагерь. Учебный лагерь строевых частей стоял. Тридцатого августа в лагере танцевальный вечер. Экипажи из Екатеринодара. Цветные фонари загораются. Утрамбуют место и покроют навощенным брезентом. Буфет, столы для играющих в карты. Ведь раньше везде, везде играли в карты. Цыгане появляются! Станичники себе в уголку песни поют. Молодежь танцует.

Есть ли что удивительнее времени? Ну так ли уж давно было войску пятьдесят лет? Толстопят родился в 1886 году и как о вчерашнем дне слышал от Костогрыза и от своего прапрадеда о торжествах и гуляньях в честь пятидесятилетия войска за рекою Кубанью, в низине, куда сейчас мы смотрели. О время! Одно от

другого так рядом: за праздниками Крымская война, конец кавказской, потом русско-турецкая, японская, за ней николаевская, потом революция, Гражданская война, Отечественная, и вот никого уже нет...

Поздней осенью был я с Толстопятом на старом войсковом кладбище. Калерия Никитична Шкуропатская поправляла там отцовскую могилку; мы поговорили с ней о многих екатеринодарцах, давно успокоившихся под крестами и тумбами.

Прошлое потихоньку приближалось ко мне.

Чай с церемонией

У Толстопятов не переводились гости. Если идешь к ним, кого-нибудь там застанешь. Стол, конечно, накрыт, и чувствуешь, что без тебя говорили о чем-то интересном. Чаще других сидела у них богомольная ярославская старушка с сыном-холостяком, и тогда до полуночи велись самые душевные разговоры. Старушка любила пирожное, и я с удовольствием шел в магазин и покупал. Чай с церемонией (из самовара, с полотенцем на груди) оживлял воспоминания. У Толстопятов я бы, кажется, сидел вечность, слушал и без конца с восторгом удивления повторял: «Правда?» Только потом оценил я, как умели они спокойно, без досады в голосе, повествовать самые обидные истории своей жизни и как хорошо супруги спорили между собой: ни в чем друг другу не уступали, а все ж возражения были ласковыми, взгляды родными.

Бесед было много, но из всех составила в памяти как бы одна, самая будто необходимая для характеристики моих престарелых знакомцев.

– Кто из русских, – спрашивала Юлия Игнатьевна, послушав новости по радио о Югославии, – кто подарил в двадцать втором году королю Сербии Александру браслет на его свадьбу, ты не помнишь, Петя?

– Уж, конечно, не я, Дюдик¹², конечно, не я... – Толстопят глядел в телевизор, слушал женский разговор сбоку, выходил и приходил, потом вдруг продолжал чью-нибудь фразу, мысль, но на свой лад. – В двадцать втором году я чинил в Болгарии железную дорогу, там, кстати, и видел царя Бориса. На границе с Грецией. Мог бы озолотиться однажды. Попросили перенести чемоданчик на греческую сторону, к вагону. В чемоданчике, как выяснилось, бриллианты.

– Мы были рядом. Молотили зерно, я у половы стояла. Казаки женились на болгарках. «Пойдем к станичному поговорим». Одна тема: «Как я женился на Кубани». Расходились курить потом в разные стороны – слезу роняли.

– Я очень недоволен тобой, Дюдик. Почему ты не позвала меня на болгарский супчик? Я тогда как раз последний бумажник потерял, материн подарок. В нем кольцо, деньги. Я его носил в заднем кармане. И пошел, простите, в туалет. Он мне мешал, я вытащил,

положил его сбоку. И забыл! Никогда себе не прощу. А тут Пасха. Да спасибо, один хорунжий пригласил. Сели и давай Кубань вспоминать. Хорунжий: «А-а! Хотя и царское, но Бог меня простит». Вынимает перламутровый браунинг, подарила ему одна из фрейлин за какую-то услугу. Он в первой сотне конвоя у Рашпиля, ты, Дюдинька, знала его? Рашпиля, у нас в Екатеринодаре по их фамилии улица называлась, сейчас Шаумяна. Его убило в марте восемнадцатого под Екатеринодаром, во время штурма.

– Его сестра в Бельгии жила, в доме престарелых скончалась.

– И побежали мы, голодранцы, четверо, в греческую деревню, с нами еще два белорусских гусара. Загнали браунинг. Дали нам греческой водки, две бутылки коньяку, сардинки. А хлеба не было. Пустили за стол генерала. «Ваше превосходительство!» – казаки ему. «Что вы! – говорит. – Называйте меня просто по имени-отчеству. Сегодня Христово Воскресение!» Идиотизм.

– Как это идиотизм, как это идиотизм, Петя? – возмущалась легкомыслием мужа Юлия Игнатьевна, легкомыслием потому, что он говорит об этом вслух, а кроме того, и неблагодарностью к тем, кто все-таки пострадал и потерял все; но в возмущении ее не было злости. – Как это идиотизм? Они так считали.

– Как?

– Свержение царя, они считали, и династии есть уничтожение русского народа. Потому так они и поступали, Петя.

– Я думал, это жена, а передо мной, оказывается, сидит оригинальное учебное пособие по русской истории. Нашим казакам я уже тогда говорил: «Не в Москве вам гулять придется, а пасти верблюдов на Камчатке. Наши знамена втоптали в дерьмо». Даже король испанский Альфонс Тринадцатый (с его дочерью, инфантой, я как-то купался в море) предвидел: настанет время, когда в мире будет только пять королей: тревовый, бубновый, червовый, пик и... английский. Он понимал! А наши лопухи все надеялись въехать в Москву на белом коне.

– Как говорится: «И в судный день, посыпав голову пеплом, плакать и бить себя в грудь». Дюдя говорил. А ты не плакал, Дюдик?

– Не плачу уже лет тридцать. Я тогда больше всего боялся умереть. Могилы, могилы. Десять лет, и дожди смывают надписи, потом хорваты разровняют и взойдет кукуруза.

Юлия Игнатьевна (не столько ради правды, сколько по домашней женской строптивости) выкатывала свои васильковые глаза.

– Ты же говорил мне, что, когда читал мемуары о событиях Гражданской войны, каждый раз казалось, что еще можно победить.

¹² Почему они так обращались друг к другу – я не знаю. – В. Т.

– Так хотелось домой! С горя я едва не ушел в монахи на святой Афон. Дюдя (теперь отец Ювеналий) ходил.

– Я была один раз у него на исповеди. Я боялась его. Однажды пришла, он протянул ко мне руки и сказал ласково: «Гряди, гряди, голубица». Взгляд детский. Я сразу заплакала. А говорили: слезы на исповеди – это посылаемая Богом благодать. Они знак покаяния.

– Что же он вам сказал? – спросил я.

– Да все то же, – сказал Толстопят. – Уповайте на Господа, и Он не оставит вас.

– Но он поддержал меня, Петя, он сказал: «России можно служить и на чужой земле. Примите вашу бездомность».

– С кем, Дюдик, я бы сейчас жил, если бы тебя сманили в монастырь? Вот тут Бог мне помог. Я тяжелое создание. Не правда ли? – Толстопят поворачивался ко мне: – Как можно служить России на чужой земле? Черт его знает! Как может офицер служить России в другой стране? Готовиться в поход? Ювеналий (вы его видели? он теперь в Екатерининском соборе) спрашивал как-то офицеров: «Верите ли вы, что Бог слышал ваши молитвы и может исполнить ваши мольбы? Любите ли вы Россию? Встань тот из вас, кто, веря в силу молитвы, денно и нощно вопиет к Богу, моля спасти Россию?» Никто не встал.

Юлия Игнатъевна покачала головой: вот, мол, хороши, голубчики. Петр Авксентьевич меланхолично улыбался своим мыслям: странные, дескать, времена были, и я их застал. Мы все трое долго молчали, словно стукнувшись о преграду, за которой в глухом углу лежит ужасная тайна. С Юлией Игнатъевной у меня не было той простоты отношений, как с Петром Авксентьевичем. Я недолюбливал ее за некоторое высокомерие, за нет-нет да и прорывавшееся отчуждение: это, дескать, мы, а это вы. Иногда, видимо, она забывалась, перепутывала время, и порою дело доходило до курьезов. «Петя! – говорила она вдруг утром. – Пойди закажи у приказчика продукты к обеду». Во мне ее пугало плебейское происхождение, что-то ненадежное, всегда готовое обернуться коварством, жестокостью, предательством; вместе с тем я казался ей милым, добрым и хорошим человеком. Но я чувствовал между нами именно родословную пропасть; Юлия Игнатъевна, сама того не сознавая, тонко унижала меня. И так же она рассказывала о прошлом. Вам, мол, никогда не понять той великолепной жизни, тех блистательных благородных людей, героев войн, вы не можете сочувствовать великому русскому горю, которое постигло невинных людей, патриотов России, и потому, сколько бы вы, деточки, ни читали старых журналов и ни слушали нас с Петром Авксентьевичем, никогда вам не вдохнуть воздух жизни, которая нас обласкала и которая давно кончилась. Что-то такое могла бы она сказать мне мягко, жалеючи. Но тог-

да бы я рассердился и больше к ним не пришел. Она понимала это.

Пока молчали, я достал с полочки книжку стихов (парижское издание 1932 года, меня еще на свете не было), прочел стихотворение Г. Адамовича.

Когда мы в Россию вернемся,

о Гамлет восточный, когда?

Пешком, по...

– Можете взять... – сказал Толстопят. – Юлии Игнатъевне подарили.

Я захлопнул книжицу и поставил на место. Мне пока довольно было того, что я прочитал в «Современных записках».

– Вам надо писать воспоминания, – сказала я.

– Один в Париже писал книгу о женщинах и назвал ее «1005». А мне? Я бы свои назвал: «Так проходит слава земная». Но я артист. Мы вернулись жить, а не вспоминать старые конюшни. Ты помнишь, Дюдик, мы обедали в Париже с помещиком? Он рассказывал: послал крестьянам своей усадьбы письмо: «Грабьте, жгите, рубите все, не трогайте только липовую аллею моей матушки, на этих липах я вас, подлецов, вешать буду, когда вернусь на родину». И таких много было. И об этом я вспоминать не хочу.

– Оно и лучше, – сказала Юлия Игнатъевна. – Меньше переживаний.

– Мы теперь старенькие.

Они были старенькие, а старость всегда жалко. И я жалел их, как и всех прочих, уже за одно это.

– Ее бабушка молилась перед старинным киотом каждое утро: «Благодарю Тя, Господи, что допустил мя жизнь прожить дворянкой. Не возношусь сим, но смиренно кланяюсь Ти». И вот так же наши кубанские казаки гордились регалиями. Двадцать первого июля тридцатого года в первый раз за десять лет вскрыли в Югославии ящики и вытащили оттуда все: девяносто одно знамя, тридцать три военные трубы, семнадцать атаманских знаков и эмблем, двадцать четыре перначи, насеку Кубанского войска. Речи говорили: «Будем верить, что настанет день, когда эти знамена опять развернутся и мы опять пойдем отстаивать нашу казачью свободу». Ошиблись. «Не будет того!» – я сказал, так и вышло. «Эх, – говорил, – не вывезли для вас шомполов. Осталась в кладовой Екатеринодарского банка братина для крющона (конвой в шестнадцатом году подарил Железнодорожному полку), и не попьете из нее в честь победы, так и сдадут ее в музей, и все наше бывшее вольноказачье царство накроют музейным кожухом. Ото держит казак рукоятку булавы атамана станицы Благовещенской Южно, а сама булава где? Поверьте мне». А я как будто чувствовал: синемалиново-зеленый кубанский флаг опять в сундук положат. А они кричали: «Дай, Боже, чтоб под этим флагом мы собралась в родной Кубани».

Я уж всего не помню, но вот что осталось из жалоб Толстопята на самостийников.

До самой войны (и даже после войны) в разных европейских местечках жили казаки в устроенных станицах, где начальство соблюдало все обычаи потерянной старины. Станицы носили имена черноморских кошевых атаманов (Белого, Чепиги, Бурсака) и атаманов кубанских. Не хотели и в изгнании прощаться с мыслями о возвращении. Все у казаков вдруг стало виноваты. Желчный гной самостийников забрызгал страницы казачьей печати. Уже ничего не боясь, дружно проклинали вековые связи с великороссами, обидам не было конца. Полили казаки кровью землю в Гражданскую войну и теперь себе только и приписывали почести: «Сыны Кубани не запятнали себя изменой». Одними проклятиями увенчали самостийные газеты даже генералов Деникина, Врангеля, Шкуро, даже бывших казачьих вождей. И, как когда-то после 1905 года в «Союз Михаила Архангела», пробралось к безумным рыцарям казачества много оголтелой рвани, вострившей ножи и кинжалы на всякое молчаливое благородство. Сами рыцари превращались на глазах в лютых волков. На чем свет ругали они Москву: «Оце за то, шо не послушали дедов и прадедов, и наказаны; если вернемся, то в станицах ни одного москаля не будет. Мы вам на народном казачьем суде напомним! Станем на свой истинный казачий шлях! И не будем мы слугою московского лаптя». Еще не собрав адресов разогнанных по свету кубанцев, терцев, уральцев, донцов, вожди уже делили российскую землю, вычерчивали на карте пограничные полосы КАЗАКИИ – от хребта Кавказского до Уральского, отрезаясь от России навеки. Так и кричали станичники: «Жив казачий дух! Звенят наши воскресные колокола». Напиваясь в ресторанах и трактирах Праги, Белграда, Парижа, звали за собой: «Дай, Боже, сил для неравного боя. Пусть спят спокойно богатыри, Чепига, Белый. Пусть люльку курит Сагайдачный. Правду мы пощем». А утром в газете на всю первую полосу тянулся жирный клич: «Все мы потомки рыцарей степи. Славься, казачество – от Урала до Днепра, от моря Хвалынского до старого Темрюка!»

– Бежит Кубань аж у Тамань, – передразнивал Толстопят строчкой известных стихов. – Не выйдет у них ничего. Не дождаться им Божьей ласки. Плакать и рыдать на вавилонских реках.

В 1923 году Толстопят попал под плеть журнала «Вольное казачество». Из лагеря Селимье под Стамбулом он перебрался в болгарский городок Эски-Джумия поближе к кубанцам, основавшим станицу. Местная власть и жители городка ежегодно 30 января угощали казаков обедом в благодарность за освобождение от турок в 1878 году. Шестеро стариков идти с общиной в отель «Борис» отказались: «Богоотступники, не признаете царем Кирилла Владимировича, – не надо нам вашей брехаловки! Мы без вас». На двести левов старики монархисты задали на квартире русского волост-

ного старшины пир горой. Толстопят был с ними. Ночью пришли изъясняться пьяные самостийники.

«Да здравствует Казакия!»

«Вы из ума выжили? – отталкивал их Толстопят. – Ваши гробы тут закопают, а вы уже делите русскую землю. Бабычам и Маламам не стать больше правителями Кубани».

«Да здравствует Казакия! А ты ж чей?»

«Я из великой России. Чего вы осатанели? Какой дурак вас подкармливает? Вы хотите всем подарить пустой казенный сундук? Ваши вожди уже продают кубанские земли германским предпринимателям. А под чьим бы сапогом Россия ни стала, она должна быть единой и неделимой».

Завязалась жаркая драка.

В свежем номере самостийного журнала Толстопята выругали и затоптали как предателя казачества. Его клеймили, что он бегаёт по русским выражать свое преклонение пред «красотой мисс России»; ему угрожали расправой на будущем вольно-казачьем суде; его упрекали в жертвах на русские алтари и в добровольном лежании под российским кнутом из сыромятной кожи. Нет, мол, Московии, есть ВСЕВЕЛИКОЕ ВОЙСКО КАЗАЧЬЕ, и все!

Тогда-то Толстопят и записался в «Союз возвращения на родину». И, наверное, вернулся бы в числе немногих, если бы не пугали в газетах жестокостью и тюрьмами на Кубани. Пугали, будто в Екатеринодаре бывшие дамы подметают улицы, колокола с войскового собора сняли, и там теперь по вечерам танцы, а в подвале хранится картошка. Жены бывших военных якобы сошлись с чекистами и отныне строят свое благополучие на несчастье других. Памятника Екатерине нет; казаки в станицах формы не носят. На скамейке в Булонском лесу кто-нибудь читал воспоминания о боях с большевиками, и, пока не кончалась еще книга, ему все казалось, что прошлое еще можно спасти, части еще не отступили, город Екатеринодар так никогда и не займут, и он вздыхал и делился вслух своими мыслями. Толстопят вскакивал и бежал в город к ресторану – напиться. А напившись, шел по парижским улицам и, покоряясь общему русскому унынию, шептал: «Пропала жизнь, пропала, пропала...» Позвали их как-то попеть у кубанского генерала, неподалеку от штаба бывших галлиполийцев, почти в центре Парижа, и Толстопят растрогал хозяина и гостей одной песней. Он спел то же, что беспечно пел ночью 1908 года, когда возвращались с Бурсаком из «Яра»: «Прощай, мой край, где я родился...» Как привыкнуть к этой чертовой чужбине? Сколько раз на рассвете, еще в полудреме, перепутывалось сознание: досыпаешь и уже чувствуешь утро, и кажется, что ты в Екатеринодаре, и уже думаешь, куда нынче поскорее надо проскочить по улице Красной; глаза разлипаются – о ужас: солнышко встает не над кубанскими хатами и тополями, а над крышами Парижа! Ему снились пудовые кабаки в

посохшей траве, из коих матушка, добавив ячменя, варила кашу собакам, а Петя, отрок, наливал в миску жирного холодного молока и кормил. Сейчас бы сказал матушке: «Чего-то захотелось мне борща с индюком». Это вам, господа, не борщ а-ля мадам Бурсак – его до сей поры готовят в ресторанчике на рю Бонапарт. На два часа раньше светлеет в Екатеринодаре, и куда ж, в какой угол ткнется бедная мать, с кем перемолвится словечком? Жалко было и ее, и сестру Манечку. Если не суждено будет благополучно вернуться, то умрет мать и бросят ей в могилу жменю землячки чужие люди. Боже, Боже (если Ты есть), помоги же нам, святой крепкий, святой бессмертный, спаси и помилуй, как прежде. За что Ты нас покарал? Или мы всех злее? Или это кто-то наметил сокрушить навсегда Россию? Всякое слышалось и читалось теперь, но любая запоздалая мудрость не утешала: вместо дома на Гимназической – уголок под мансардой в Париже.

Вдруг точно с неба свалилась мадам В.

В Париже Толстопят жил на седьмом этаже на улице Латура и видел из окна бесконечные костлявые черепки на крышах. Спасение его было в том, что он имел голос, пел и порою надолго покидал Париж с маленьким ансамблем казаков. Они пели в концертных залах, в ресторанах, в домах российской знати, богемничали и на короткий миг не чувствовали своего нищего домашнего быта. Все менялось тогда. Искренний русский надрыв, чистая бескорыстная печаль и безбрежное сиротство схватывали его душу в те именно минуты, когда он входил в русский ресторанчик и слышал тонкие звуки скрипочки. Плакать хотелось. Бедные, блудные дети, изгнанники... О чем они говорят, думают? На этом крошечном русском островке небытия они спорили о России, в которой потеряли гражданство, обставляли квартиры, которые у них отобрали, поучали молодежь, которая росла без них, вспоминали о свергнутом и убитом монархе, о генералах, атаманах станиц, о том, чего не было уже в русской жизни. Нелепость надежд и снов сладко помрачали ум. Какие-то имена, сады под станицами, скачки в присутствии наказного атамана, пароходы по Дону, Кубани, парады войскового круга, великолепие прежних праздников, европейские моды, воображаемые права в воображаемой усмирённой России. Все теперь были так умны, предусмотрительны, все знали, как надо было жить в старом порядке и как будут жить, если вернуться, знали, куда надо было поворачивать полки и кого слушаться, какими дарами задобрить бедных крестьян, кого вовремя проклясть, повесить, кому ни на полслова не верить. И звучало на ежегодных полковых собраниях с обедом неизменное если бы. Ах, если бы не был таким слабым государь; если бы не убили в 1911 году премьер-министра Столыпина; если бы царь не отрекся, не бросил свой народ, Германию бы задушили через несколько месяцев; если бы не убили в марте 1918 года генерала

Корнилова; если бы Добровольческая армия не отпугнула казаков; если бы в 1920 году не отступили воды озера Сиваш; если бы... если бы... союзники... если бы сидели они сейчас дома, никто бы не повторял со слезами такого вот стихотворения:

*Над Черным морем, над белым Крымом
Летела слава России дымом.
Над голубыми полями клевера
Летели горе и гибель с севера.
Летели русские пули градом,
Убили друга со мною рядом.
И ангел плакал над мертвым ангелом.
Мы уходили за море с Врангелем.*

Стихи чаще всех декламировал полковник, нынешний «храбрый вождь русских казаков», которого Толстопят едва не застрелил в последний день отступления из Крыма. Сорок казаков певческого хора, конвоя покойного генерала Бабиева и Толстопят с двумя нижними чинами прибежали на пристань около полуночи, просили доложить о себе командиру парохода, полковнику С. «На пароходе нет места тем, кто без оружия», – ответил полковник. Вся пристань была завалена винтовками и пулеметами. К великому счастью, Толстопята заметил с палубы казак Турукало, связал вьючки и уздечки, спустил вниз, и казаки один за другим поднялись на пароход. Но не все. Взбешенный полковник С. перерубил шашкой спасательный самодельный канат. Оставшиеся казаки плакали. Где они теперь? Они дома, а он в Париже. Почему?! И хоть ясен ему был ответ, он каждый божий день спрашивал: почему? почему мы сидим в Париже?! За что такая жестокая кара? «А хорошо бы, господа, перед зеркалом застрелиться!» – шутил он когда-то. Отчего бы не попробовать нынче!

Я спрашивал:

– С Кубани вестей не было?

– Мать с Манечкой даже посылки присылали. А с тридцать второго года все прервалось. Я ничего о них не знал. К тому времени я уже Юлию Игнатьевну нашел. Да нет, ра-аньше! В соборе на рю Дарю.

В Петербурге, даже в Екатеринодаре в 1919 году ею восхищался всякий; тогда, весною 1927 года, ее всякий бы пожалел. Она молилась с закрытыми глазами, подняв голову. Первые признаки старения – скобочки по углам рта, две твердые жилки от подбородка к ключицам – всколыхнули память Толстопята: семнадцать лет прошло с тех пор, как она поразила его на парфорсной охоте! Легкое крылатое пение хора Н. Афонского исторгало в душе великое чувство, но трудно было бы найти слова, какое оно: то, верно, было чувство прожитых страданий и потерь. Из церкви, полной сиятельных особ, дам, родовитых стариков, сидевших у стены на стульях, и некогда храбрых вояк, всех этих корниловцев, марковцев, дроздовцев, казаков из «волчьей сотни» Шкуро, Толстопят вышел

раньше, подождал мадам В. (Юлию Игнатъевну) на улице.

Они пошли разговляться к пашковскому казаку, и там было немало станичников; бывший атаман, самый, пожалуй, лучший в Пашковской выборный хозяин довоенного времени, сказал прочувствованное слово:

– Вспомним в великий день здесь, на чужбине, про Кубань, про белые церкви, сады казачьи. И собор войсковой на Красной улице, в нашей родимой столице Екатеринодаре. Та вспомним и атаманов и парады. Та вспомним и газыри свои, кинжалы и дедовские шашки. И девчат, и сестер милых наших, шо цвели колысь як мак по степям бескрайним. Дай же нам долю, Господи, возвратиться к нашим хатам, укажи всем козаченькам шлях-дорогу... Выпьем.

Толстопят с сочувствием выпил, а потом приобрел печальную Юлечку, Юлию Игнатъевну.

– Ни в каком романе не описать нашу встречу, – говорил он мне не раз.

И Юлия Игнатъевна не могла ее забыть; то мне, то ярославской старушке рассказывала, как он взял ее за локоть в толпе и прошептал скривившимися губами: «Здравствуй, моя роднучка... Я искал тебя». Однажды, когда Петр Авксентьевич лежал в больнице и очаровал там сестер и врачей, Юлия Игнатъевна гордилась тем, что выбрала его когда-то и в эмиграции искала его.

– В Константинополе я дала себе слово никогда больше не танцевать. И вот в двадцать пятом году Добровольческая армия устраивала бал. Я пошла. Много было военных в белых гимнастерках с русскими погонами. Я решила было уйти, чтобы не заразить своей тоской других. Заиграли «офицерский вальс». Ко мне неожиданно подошел военный. Угрюмый, с большими бровями. Я не успела ему отказать, как он повел меня.

Мы кружились в вальсе, мои друзья делали мне знаки, чтобы я перестала танцевать с незнакомцем. «Благодарю вас, – сказала я, – теперь я должна танцевать с другими». – «Сегодня вы будете танцевать только со мной». Я словно поняла что-то. «Хорошо, – говорю, – я буду танцевать с вами...» Тогда он пооткровенничал: «Я получил сегодня письмо. У меня была невеста, она должна была приехать, но полюбила другого. Теперь мне жизнь не нужна. Я пришел сюда в последний раз повидать моих боевых товарищей. И увидел вас. Вы на нее очень похожи! Но, извините, вы старше немного. Вы посланы, чтобы спасти меня. Танцуйте только со мной». Как могла я не отозваться? Каждый виноват за каждого. Я решила быть с ним, пока он не пообещает, что захочет жить. И он пообещал мне потом простить свою бывшую невесту, молиться и верить, что нам посылается то, что нам нужно. Я читала его дневник. Просил меня стать его женой, но зачем? Он молоде. И потом, я ведь давала слово: пока не найду Петра Авксентьевича, буду уходить от

всякого. И как знала: осенью двадцать седьмого года мы с Петей обвенчались в Сергиевском подворье и пили вино Каны Галилейской...

И оттого, видно, что я родился в другое время, нигде не был, не погибал и не разлучался, мне завидна была их судьба и я хотел отпить вина Каны Галилейской... Смешной, темный и добрый был я в ранней молодости! Все спрашивал:

– Не тоскуете по Парижу?

– Почти сорок лет на камнях Европы, – отвечал Толстопят, – почти сорок лет, мон шер. Думаете, это так просто? – И вставал, шел на кухню, выносил оттуда чайник. – Ну, чайку? По рецепту моей покойной сестры Манечки.

Письмо Д. П. Бурсака

Дорогие мои! Мне грустно от мысли, что я вернусь через неделю в Париж, а вас уже там не застану. Да поможет и да сопутствует вам Господь в вашем пути в Россию! В сущности, это заветная наша мечта. Увы! Все как-то топчемся на одном месте – верно, от усталости, и не могу себе представить реально, что то, чего желаешь больше всего, может стать действительностью. Боже, Боже, Ты сотвори, ибо сами мы ничего не можем! – вот это моя молитва, и я все отдаю в Его святые руки. Милая Юлечка и друг мой Пьер, напишите мне подробно о себе и о том, какой стала наша «ридна Кубань» и чем она вас встретила. Я вижу, как поедете вы с Черноморского вокзала по Екатерининской, доедете до Красной, и тут думаю: куда же им сворачивать? Где их дом? Я так жду от вас весточки. Хотелось бы знать побольше о... нашем маленьком, маленьком Париже. Да! Бывают минуты, когда в серую мглу комнаты войдет луч солнца, и как странника Божия может принять его вдруг просветленная душа. Десятки лет одиночества, сиротства, бесчувствия и греха могут тогда забыться, и в слезах поймешь, что «любовь все покрывает» и что «времени уже не будет». Не то ли с вами, мои дорогие? Перечитываю стихотворение поэта, помнишь? На войсковом кладбище поклонитесь от меня моим родным и екатеринодарским знакомым, почивающим в селениях праведных. Но главное – привет городу Краснодару, улицам, городскому саду, мосту Трахова, всему, что осталось от нашего старого времени. Счастливой жизни дома! Ваш Бурсак Д. П. Июль, 57 год. Вашингтон, США.

Как во сне

Нужны ли они кому дома? Не зря ли затеяли они эту одиссею возвращения туда, где нет никого? Позднее Толстопят признавался: «Как только пересекли границу, заунывный голос птицы повторялся. Юлия Игнатъевна испугалась: «Дюдик, мы пропали!» На станции Чоп принесли в вагон советские газеты; все, к чему они привыкли, сорвалось пограничной чертой.

В Краснодаре на бывшей Гимназической, 77 маленьким стоял родительский дом. Широкая веранда свисала над тротуаром. С нее отец обычно кричал в воскресенье знакомым, проходившим мимо с Нового рынка. А розовый лук в сетке крепился, наверное, к тому же гвоздю, что и в 1910 году! В теплые дни они всей семьей пили на веранде чай и о чем-нибудь говорили. О чем? Кто бы каким-то чудом прокрутил теперь слово в слово! Голоса отцовского он не слышал нынче так же четко, как в годы разлуки до революции или в первые десять лет эмиграции. Приглохли, помертвели бабкины интонации. Но на секунду-другую он вышел на веранду в черкеске, неодобрительно (как всегда) глянул вниз, словно спросил: «Где ж вы, бисовы души, мерили землю своими ногами? Наши с матерью косточки пораспадались... В хате вашей теперь чужие люди». В дом Толстопят так и не пошел, без него ходила тайком Юлия Игнатьевна, поспрашивала, кто тут жил, и одни сказали: помещики, другие: не знаем. Зато на войсковом кладбище у отцовской могилы (с памятником в виде папахи) какая-то старушка обрадовалась им: в молодости она торговала вразнос, и матушка Толстопята частенько брала у нее нитки, чулочки. Значит, еще помнили в городе Толстопятов; значит, были еще екатеринодарцы, никуда не выезжавшие.

И вот что интересно: первые месяцы Толстопят скитался по родному городу с чувством удивления: неужели ему позволили вернуться домой и он снова кубанец, а не парижанин? Не в воображении, а наяву мог он пройти в городской сад, подняться на вал, возвратиться назад к Почтовой, к бывшему саду Кухаренчихи, своротить к плану адвокатов Канатовых, потом мадам Бурсак, постоять, заложив руки за спину, у здания милиции, напротив б. дома Калерии Шкуронатской. Но удивление не кончалось: как же так, его не было почти полвека, а улица Красная все тянется к Свинячьему хутору, и одноэтажный центр с глубокими зелеными дворами все тот же, все тот же?! Он шел по улицам и плакал. Он плакал и на том месте, где был в марте 1920 года Александро-Невский собор, — на него он и перекрестился напоследок.

1920 год...

Они бежали спешно, но, думалось, не навсегда. В сейфах, в сундуках, в дамских ридикюлях и за подкладками пальто увозили реликвии, иконки, бумаги и брильянты не затем, чтобы хоронить их в новых музеях или менять на хлеб за границей, — нет: это на время, от порчи и грабежей. Они тогда не знали и потом долгие годы упрямылись не понимать, что случилось с ними великое несчастье и застрянут они в Европе и Америке до самого смертного конца. Когда выскакивали с винтовками и шашками из своих ворот и прыгали на лошадей, не тосковали в страхе, что видят родную улицу, белый собор, дома, вывески магазинов в последний раз; когда грузились в Новороссийске на ан-

глийские пароходы и кричали с палуб рыдавшим на дебаркадере: «Потерпите! Мы еще вернемся!», то кто ж мог сомневаться из них, что так оно и будет?! Но, видно, сильна была над их поколением кара Господня. Тянулись один за другим жестокие годы изгнания, и у свежих казачьих могил все меньше слышалось, а потом и совсем не стало призывных речей. От воинства, некогда забившего все дороги Европы, остались лишь запорожские знамена в музеях, кипы бранных газет да такие выпотрошенные старички, как Толстопят. «Мы еще вернемся...» А решилось так, как рассказывал о них после войны Попсуйшапка: «...и как в двадцатом году ушли-и, то и по сей день идут!»

Но история и Время не сразу уносят своих свидетелей на кладбище.

Если бы какой-нибудь местный чуткий летописец смог всепроникающим божеским оком обозреть с высоты свой южный город, какая пестрота судеб людских, простых и таинственных, приоткрылась бы ему во всем трагизме, величии и неумолимости истории. По одним улицам, в одни магазины ходили, на одни лавочки в скверах присаживались, одни газеты покупали участники истории, стоявшие некогда по разные стороны баррикад, втайне несогласные друг с другом и по сию пору. Жили и жили, и уже друг другу не мешали. Одних история чтит, других нарочно не помнила. Жили на пенсии великие разведчики; по праздникам надевал ордена и медали офицер, водрузивший флаг над Рейхстагом; с белым бантом плелся из магазина бывший адъютант главкома, расстрелянного за анархизм в Гражданскую войну; в столовой № 8 обедал седой старец, служивший немцам в 1943 году; доверенный председатель горисполкома ехал вместе со всеми на дачу с ведром и тяпочкой; акушер-профессор, грузинский князь по роду-племени, опирался руками на трость в первом ряду театрального зала, его лысина сверкала в день премьер; маленький русский йог рылся в магазине в новинках философии и скрипучим голоском ругал все на свете; знаменитый партийный секретарь (в немецкую оккупацию беззубый нищий-подпольщик) в городском саду сражался в шахматышки; матрос с броненосца «Потемкин» заезжал в Краснодар на лечение; дальние родственники великого историка, племянники и племянницы художников, артистов, военачальников, министров и знаменитостей всякого рода жили не тревожимые краеведами. В 1957 году еще было с кем поговорить о России и революции. Жил и ни у кого не вызывал интереса (кроме разве что писателя, задумавшего эпопею) бывший — страшно выговорить! — врангелевский генерал, казак станицы Лабинской, писал книжку о первых русских летчиках, клеил картонные папки и однажды осенью консультировал режиссера фильма «Хождение по мукам». Молодой человек, донельзя любезный (будущий профессор), выспрашивал у бывшего эмигранта о самостийниках и в душе был недоволен, что пу-

стили на родину «недобитое казачье». Бывшие эмигранты (парижане, белградцы, харбинцы и проч.) знали друг о друге, но не встречались. Морской офицер играл на виолончели в театре оперетты, «югослав» пел в церковном хоре, казак из Канады писал мемуары, а старый больной царский полковник днями сидел у телевизора да отвечал в Нальчик на письма товарищу, участнику рейда Мамонтова на Москву.

С некоторых пор в Краснодаре каждое лето появлялись иностранные туристы. Из Европы, Америки, Канады все чаще приезжали проведать родню бывшие екатеринодарцы и станичники. Несколько знакомых Калерии Никитичны Шкуропатской нашли за морями своих сестер и по их приглашению ездили к ним, пожили там, попрощались навсегда и вернулись домой. На улице Красной возле сквера, где она когда-то прогадала кольцо на Толстопята, остановил как-то Калерию Никитичну приличный пожилой господин в хорошем костюме.

– Простите, – сказал господин тоном исключительной мягкости, – вы напоминаете мне одного человека...

– Кого же?

– Неужели это не вы?! Я иду за вами три квартала. Позвольте, я скажу открыто и сразу: вы не были у меня в старое время гувернанткой, не ездили со мной по Европе?

– Не-ет... как можно... я всю жизнь прожила дома...

– Как жаль, я обознался... Простите... Я чувствую потребность говорить с вами, глядеть на вас... Я приехал на пятнадцать дней из Парижа... Я бы все отдал, чтобы взглянуть на нее... Как я истосковался по Кубани... Вы, говорите, прожили дома? Это счастье...

Вскоре после возвращения, то есть осенью 1957 года, Толстопят дал о себе знать родственникам в станице Пашковской и как-то в воскресенье поехал туда на трамвае.

В Париже окрестности Пашковского куреня представлялись Толстопяту такими, какими они были в золотые дни его детства. Но без него кут Головатого с садом Роккеля, с оврагами и старой Кубанью и Карасунский лиман срослись с городскими постройками. Забылись и люди. Только теперь вспомнилось: дочь садовода Роккеля приезжала в гимназию в коляске с белыми рысаками, и влюбленный в нее Петя Толстопят страдал оттого, что его отец не позволит сыну приблизиться к богачам неказачьего сословия. Роккель, Роккель! Цветы из его сада до сих пор росли во дворе. Где дочь, интересно? Пока шли к Введенской площади, к бывшему (все уже бывшее!) станичному правлению, Толстопят что-нибудь рассказывал жене о детстве.

– Туда, за станицу, провожали нас на службу. Впереди артельный воз, за возом казаки по четыре в ряд, с урядником сбоку. За ними станичный атаман, дежурные несут сулею с водкой, рюмки и закуски. В самом

хвосте родственники. «Гладили» дорогу казакам добрый час. Прощались. И-и казачья песня! Замахали платками и шапками бабы и старики. Мы в пляс. Сначала двое, потом еще двое, и так, когда все пустимся пыль топтать, уже провожающих не видно. И говорили: «Где ты был?» – «Казаков провожал в поход». – «Чего ж так долго провожали их?» – «Того, шо мне жалко их было». По этой же дороге провожали конвойцев в Петербург. Чтoб кое-кто с тобой, Дюдик, повстречался...

– Ты столько помнишь, записал бы...

– Для кого писать? – возразил Толстопят. И, видно, вспыхнул, расстроился мигом и добавил: – Для кого, милая? Мы с тобой люди далекого прошлого, а ты все думаешь, что без нас не смогут? Здравствуй, племя младое, незнакомое – вот наша песня... Стоит ли наша хата?

Не на той ли лавочке сживали казаки-пластуны с бородами и все разом вставали, когда он шел мимо в конвойском мундире, весь как будто уже не пашковский, а петербургский? «Доброго здоровьица, Петр Авксентьевич! – прокричали почтительно. – В гости к нам пожаловали?» Храбрые степные рыцари, где они почивают?

Длинная-длинная хата пряталась за высоким каменным домом и служила нынче сараем. В 1900 году отец, перебираясь в город, продал ее казаку Турукало. Почему ее не сломали, построив каменный дом? Толстопят некоторое время раздумывал, надо ли стучаться ему в чужую калитку и проситься пройти во двор, объяснять, зачем ему это, и, может, пугать людей. Забор был ему по плечо, Толстопят у калитки придержал шаг, показывая Юлии Игнатьевне на хату, где он родился. В эту минуту увидела их с огорода женщина. Чем ближе она подходила к ним, тем опасливее и удивленнее устремлялся на них ее взгляд, и наконец что-то вроде вздоха выразилось в ее лице: божечко мой, неужели оттуда вернулся? Это была младшая сестра Диониса Костогрыза, и Толстопята она знала лишь потому, что в 1919 году он несколько недель провел с полком в станице. Забыть его было нельзя и через сто лет: ни у кого в станице не было таких глаз! Толстопят ее не помнил.

– Кто вы? – почему-то закричал Толстопят. – Как вас зовут, чья родом?

– Я б вам сказала, та в горле дерет.

– ??

– Ха-ри-ти-на...

– Ах, во-от оно что! Харитина... Турукало? Сестра Диониса?

– Она. А вы не Толстопят?

– Петр Авксентьевич. И супруга моя, Юлия Игнатьевна, но она не казачка. Значит, узнали меня?

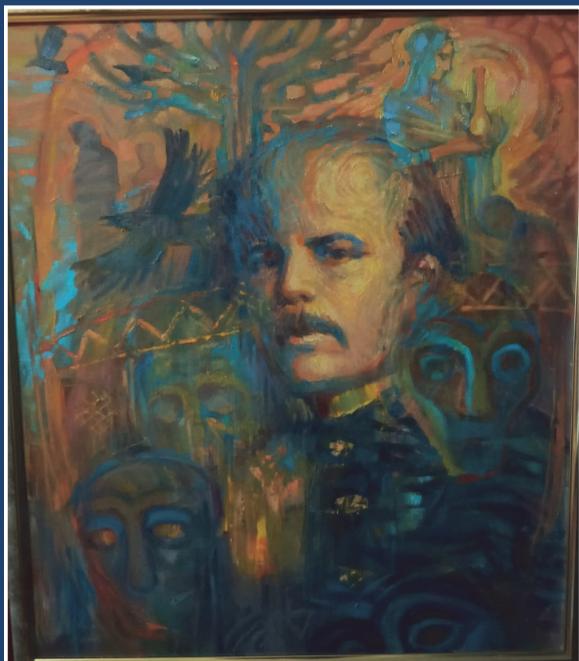
Она стала продолжать разговор так, будто они в спешке прервали его в первый раз недавно; она все

Родилась в Кемерове. Окончила Кемеровский областной художественный колледж. Потом – Дальневосточный институт искусств во Владивостоке. Вернулась в родной город в середине 90-х, и здесь началась моя творческая жизнь художника.

Работала иллюстратором в молодежном журнале поэзии «После 12». Где и познакомилась с яркими представителями литературного пространства Кемерова: Андреем и Верой Правда, Дмитрием Мурзиным, Александром Ибрагимовым и др. Проиллюстрировала много поэтических сборников. Рисунки к поэзии – очень сложная и зыбкая тропа для художника. Я бы их сравнила с узорами от дымящейся сигареты, или с кругами и рябью на воде, или же с клубящимся дыханием на морозе. Они как видение, которое возникает от образа, созданного словами.

Про свою живопись скажу, что это идет изнутри меня. Это мой орнамент. Так как считаю, что каждый человек – узор. Поэтому мои работы немного декоративны. Это как бы застывшие видения. Мое видение мира.

Ольга ПОМЫТКИНА



Портрет Ф. Достоевского глазами сибирского шамана по дороге в Кузнецк. 2001. Холст, масло



Теплый разговор. 2001. Холст, масло



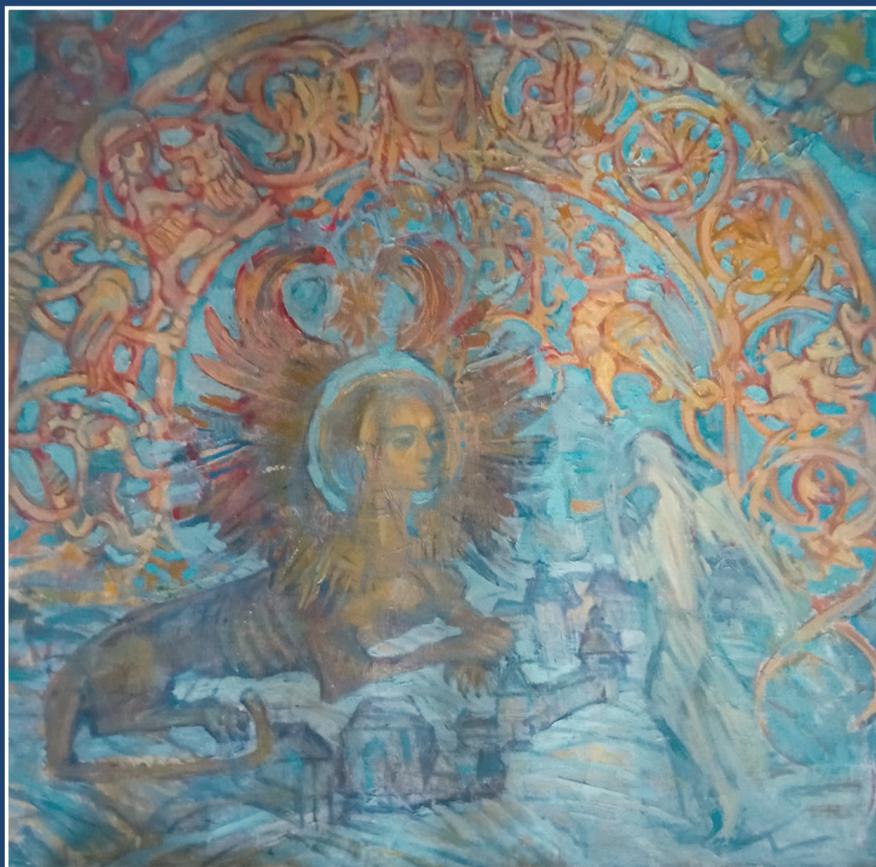
Китоврас и Масленица. 2020. Холст, масло



Мелодия сердца. Комуз. 2001. Холст, масло



Цыганская ночь. Портрет Сабины. 2001.
Холст, масло



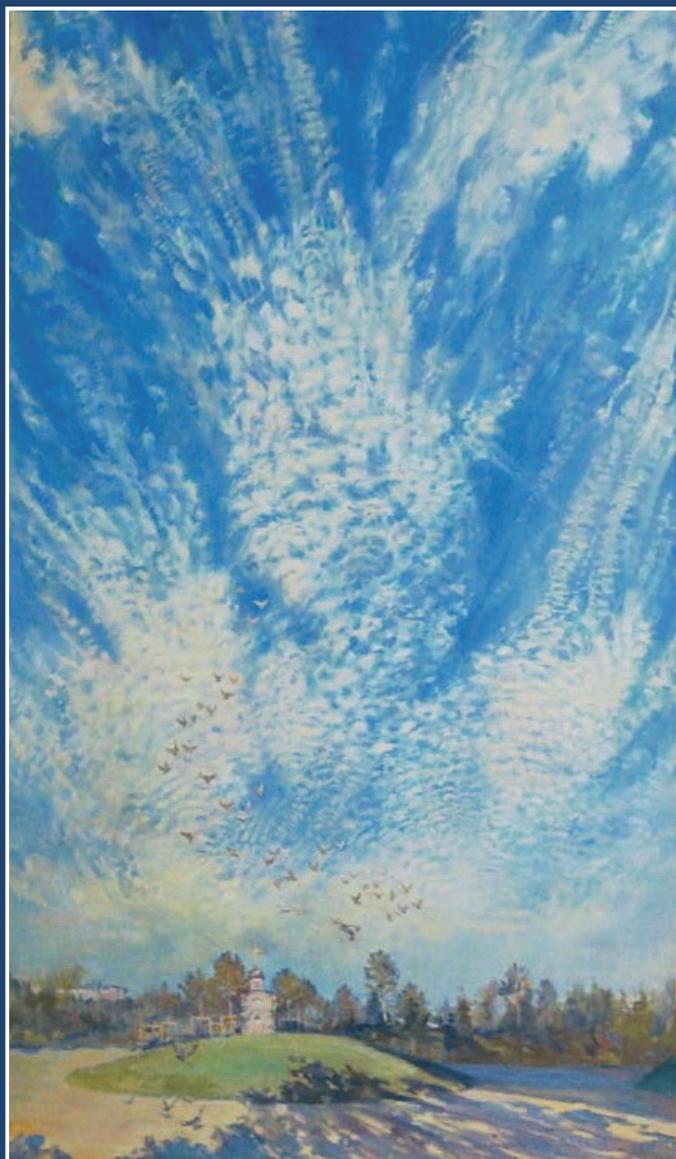
Гиперборея. 2001. Холст, масло



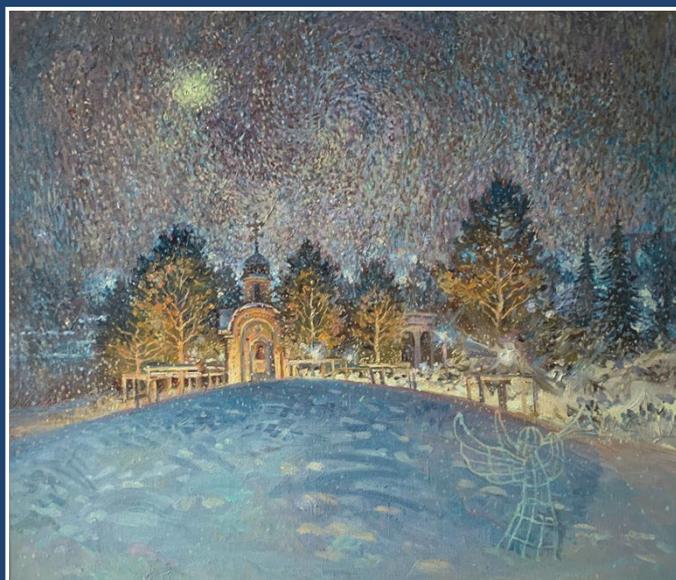
Танец хомяков. Шутка. 2020. Холст, масло



Цыганский танец. Портрет Сабины. 2001.
Холст, масло



Парк Ангелов. 2019. Холст, масло



Парк Ангелов. Рождество. 2019. Холст, масло

поняла, не соображала только одного: надолго они приехали или повидаться с родными местами.

– Тут приезжал недавно наш казак, оттуда. У него там новая семья, здесь старая жена. «На весь век приехал?» – спрашивали бабы. Но жена отказала ему: «Я принимать не буду. Пускай там и живет». А он, видно, прощупать приезжал.

– От брата вестей нет? Жив он? Дионис.

– Нема. Наверно, Бог прибрал уже.

Он видел Диониса до войны в Югославии, во Франции; слышал от кого-то, будто с казачьей конницей Шкуро очищать родную землю с немцами не пошел, но и после войны искать родню на Кубани, видимо, не пытался, а может, умер давно.

– Где-нибудь в Европе. Последний раз мы с ним были в церкви в Париже в сороковом году. Он приезжал из Югославии. Церкви давно нет?

– Давно свалили. Ее не свалили, а подкопали, пиленные бревешки подсунули, подожгли, она сама упала. А птицы кричали!

– Батько покойный любил на Пасху приводить нищих, странников. Раз заболел, не смог пойти к всенощной. Послал с куличом и яйцами меня. «Та зови ж кого-нибудь». Я привел дедушку с котомкой. Из Тамбовской губернии. Шел на Афон. Отец в черкеске уже нас ожидал. Похристосовался со стариком, в хату завел. Молитву пропели – и за стол. «Да не забудьте на обратном пути с Афона зайти. Расскажите». И прошло года полтора, зашел старик. Побывал и на новом и на старом Афоне (это в Греции). Вот в этом дворе и было. Да где они теперь все?! – Толстопят уныло помолчал. – Уже и нам пора к ним. Одна?

– Одна. И дедушки моего нет. Копаюсь в огороде, та сяду и заплачу. Кабы вдвоем, он то, а я то. А то вся дорожка моя. И жить сейчас можно.

Зашли во двор. Но еще раньше, чем он вошел, от его ног побежал босиком маленький казачонок и полетел над крышею крик: «Петя!» Рано приучали его вставать, и теперь, если бы спросили, он мог бы рассказать, кто выезжал на волах из станицы на степь, как выгоняли коров в череду, каким порядком чабаны собирали овец из разных дворов, куда улетали галки, скворцы, которых, говорят, теперь распугали. Он не заплачет, но плакать хотелось. Знали бы деды и прадеды, каким ясным осенним днем, под гул самолетов в небе, вошел на их усадьбу последний Толстопят! «Отак снарядили мы воз на ярмарку, – слышал он дедушку, – как казака в поход». И слышал себя: «А разве воз похож на казака?» Дуб, застлавший собою все пространство над хатой, тоже подтолкнул его память: не забыл позднюю воскресную обедню? Раньше в воскресенье не ели до окончания службы в церкви. «Ось, скоро выйдут с церкви, – говорила мать, – тогда все будем садиться». И Толстопят канючил: «Чи скоро выйдут с церкви? Уже и солнце поднялось над дубом». Еще тяжелее было ждать Пасхи. В пятницу на

Страстной неделе и почти всю субботу поста носа не позволялось сунуть в хату. Упаси боже отворить дверь или окна – застудишь тесто. В день выноса плащаницы не давали есть до тех пор, пока не кончился обряд в церкви. И в этой хате, в том вон уголку, ложился Толстопят спать пораньше, чтобы не прозевать пасхальной заутрени, ложился, выбрав к свячению самую большую и высокую пасху.

– Утром, не успею еще умыться, батько тычет чуть не в губы желтую дыню или арбуз: «Дыню держи руками, а кавун зубами». Ой-ее-ей: почти сорок лет не стоять в батькином дворе! Чи стою? – топнул он ногой. – Чи я це, Дюдик? Казак станицы Пашковской, чи я это?

– Та ты, ты, – успокоила его Турукало. – Ты. Глазастые вси Толстопяты. Ты. А моего брата гдесь носит. Или в земле лежит.

– Батько! Диду! – крикнул Толстопят в небо. – Я тут, чуєте? Я уже дома.

Турукало закрыла лицо платком. Толстопят обнял ее одной рукой.

– А чи вы не помните меня, Харитина Тарасовна, на скачках?

– Та, може, и вспомню, як постою с вами подольше. Близ царя служил.

– Ой-ей-ей... Когда ж это было! «Оце казак, – хвалили старики, – за зиму десяток волков загнал! У него и кожух с волков и укрывается волками, а всех собаками добыл, стрелять не годится, шкуру сгубишь. Заходи до менэ, може, найдется какая чарка горилки». И атаман не раз подносил чарку: «Дай боже, шоб оно тебе пошло на счастье, шоб як женишься, то и дети были як ты сам». Когда было, когда было!

Турукало молчала, скорбно провожая памятью утекшее время.

– Мы родились як, – промолвила позже, – за Кубанью переправы ждали по неделе. Так было. На весь век приехали?

– Пока аж сердце не остановится.

Надо же было ступить и в хату.

Юлия Игнатьевна и сестра Диониса с бельмом на левом глазу беседовали в сторонке, пока Толстопят стоял в хате, засоренной бутылками, ржавыми кастрюлями, лопатами, поломанными стульями и всяким старьем. К той вон койке, теперь проржавевшей, бабушка подзывала его: «Пошуйкай мне вошек, а я тебе про запорожцев скажу». С порога батько кричал ему вслед, когда уходил он первый раз на службу: «Ты ж там, Петро, смотри, чеботы не загуби!»

О горе, горе человеческое, самое большое горе: умирание времени. Все умерли, все не слышат и не видят его, все, кто спал, обедал, любил, ругался в этой хате более ста лет.

«А это там что?.. О господи, то ж сундук гвардейский...»

Он сбросил пыльные тряпки, поднял за железный язычок тяжелую крышку. На дне сундука лежал смятый хромовый сапог. Медная дощечка засорена была мышинными зернышками. Толстопят взял ее, перевернул, пальцем стер пыль и узнал изображение того, кому он подчинялся в конвое беспрекословно, – князя Г. И. Трубецкого. «Во все сотни давали в 14-м году, перед его уходом в императорскую главную квартиру. Меня-то уж не было, но мне говорили – давали...» Чтобы сундуки не перепутались в вагоне, мастер-ювелир нацарапал красивым письмом на том же языке: «Собственный Его Величества Конвой 1910 год Царское Село Д. Костогрыз». Дно крышки Костогрыз обклеил фирменными бланками и открытками с изображением заграничных фей. Боже мой! Века прошли!.. Какой-то 1910 год, Царское Село; государь император Николай Александрович; наследник цесаревич едет в автомобиле в Боболовском парке; воздушной нежности царские доченьки гуляют по дорожкам... Века! Уже три четверти русских не знают даже, что они были. И где он сам и его Юлечка? Где твоя белая ручка, гладкая луковичная кожица на лице, соблазнительные ножки-копытца? Моя милая! Юлия Игнатьевна как раз подошла, стояла сбоку, скрестив по-старушечьи руки на животе и в той позе разглядывания, какую принимают люди в музее. Они глядели за всех, кто не вернулся домой, кто лежит на кладбище Сен-Женевьев-де-Буа под Парижем и на бесчисленных кладбищах прочих земель. Только Харитина Турукало, в девичестве Костогрыз, не думала заодно с ними, стояла около, положив руку в карман платья, точно сторож, отомкнувший им двери на минутку.

А уж кто-то видел их у ворот, уже прослышали бабы-казачки, что приехал, приехал, как и обещал, в станицу «хранцуз» Толстопят с женой и вошел во двор к бабке Турукало! И не успела Турукало помыть яблочки и поставить их на тарелке, не успела повспоминать, как в войну перевертывала она лицом к стене портрет мужа в конвойской форме, вдруг понаскакивали во двор бабы в чистых платках, казаки в пиджаках, с палочками и без, потомки всех этих вековых фамилий Пашковского куреня: Савицкие, Литвиненко, Гончаренко, Левицкие, Савоцкие, Шрамко, Опомах, Тараны, Архипенко, Лысенко, Коробко, Швыдко и пр.

Почти всем отвечал Толстопят на один и тот же вопрос:

– А нашего там не видели?

«А на что оно вам?»

В какой-то миг меня заворожила мечта: написать о Екатеринодаре все так, как оно было. С этой мечтой ходил я по старым длинным дворам. Город все еще был одноэтажный, маленький, в воскресенье по Красной семьями гуляли до городского сада, куда нынче никто уже не ходит, кроме шахматистов. Иногда каза-

лось, что дворы кого-то ждут, что ручки дверей, колышки заборчиков помнят последнее прикосновение тех, кто когда-то отсюда ушел навсегда.

Уже не с кем было воскрешать «старовыну». Представьте себя на минуту глубокими старцами, дотянувшими до середины двадцать первого столетия, до той дальней поры, когда уже никому вас не понять кровно и близко, и подумайте, захочется ли вам, немоощным и больным, никого не радующим в родном кругу, захочется ли вспоминать для постучавшегося юноши события, имена, секреты и прочее, прочее?! Пока я пишу эту книгу, один за другим умирают последние, и когда она выйдет (если выйдет), мне ее не подписать им с благодарностью. А что скажут новые люди? «Зачем и кому это нужно?»

Редко где в комнатах тикали и звонили старинные часы; сломанные пружины и молоточки обрели их на многолетнее молчание, и этой немотой они как бы сберегали верность своим невозвратным хозяевам. Печать бесполезности лежала на всем старом. Бесполезны были рассохшиеся шкафы, кузнецовская посуда, треснувшие помутневшие зеркала, завязанные в платки и сунутые в дальний угол комода серебряные ложечки, шкатулки. Оттуда, из какой-то мифической дали, смотрят на прихожих с фотографий мать, отец, дедушка. Зачем тревожить их, выкликать и судить? Вперед, вперед, в завтрашний день!

Больше всего меня огорчали грамотные интеллигентные дамы, то есть уже не дамы, а старушки, эти бывшие гимназистки, мариинки, бестужевки. Они почти ничего не сохранили письменного, а если что было, то не давали, и не потому, что скарעדничали, нет, – они как-то кисло смотрели на всех пишущих в этом городе.

«Должно же что-то лежать и для себя. Кто-то будет глядеть на наши лица или менять эти твердые картонки с вензелями на обороте на открытки? Я лучше сожгу...»

Старость не верит, что кому-то чужая жизнь может быть интересна и что можно воскресить тех, которых давно нет.

Я то бродил по длинным городским дворам, то уезжал на трамвае в Пашковскую. Я сразу же пугал немощного собеседника: без всякой прелюдии пускался называть фамилии гвардейцев, станичных атаманов, священников, богатых дам, купцов, выписанных мною в блокнотик из старых екатеринодарских газет. Иногда, чтобы поскорее влезть в доверие, я балакал по-малороссийски, восхвалял в казаках запорожскую удаль, читал стихи из «Кубанских ведомостей» некоего Жарко. «Це колы було! – разочарованно подавала голос жена казака. – Оно вам нужно? Уже никого нема». В другой раз внуки не пропускали меня во двор – якобы дед болен: «Да что он там помнит, зачем вам?» Гостеприимная казачка Лукерья, всегда кормившая меня варениками в сметане, обещавшая

подарить мне гвардейский сундук своего деда, за воротами вдруг придумывала, в какую хату мне еще можно зайти: «Сходите-ка еще вот туда, они много знают, но на нас не ссылайтесь». Но там бабушка лишь вздыхала: «Як, скажите, с того света моего б дедушку поднять? Он бы рассказал. Не гневайтесь, детка, а если что нехорошее задумали, дело ваше». Лукерья спрашивала потом: «Ну? Что-нибудь выпытали?» – «Ничего не помнят». – «Ото брешут. Их жизнь потрепала. Та уж столько прошло, кому они нужны? Ото ж лю-уди. Они трудолюбивые были, и батька я их знала, самый чистый двор был в станице. А певцы! Я как-нибудь их проберу...»

Нечему удивляться: большие грозы прогремели над пашковскими семьями за десятилетия; крестьяне к тому же всегда были разумно-осторожны в беседах с посторонними.

Кому-то все же было скрывать кое-что.

Умирал в те годы в станице Пашковской дряхлый казак и напоследок высказал своим родичам тайну: «Ах, не дожил! А я думал, доживу, когда наши казаки оттуда придут...» Их уже с горстку уцелело под небом там, в чужих землях, но он до последнего дня думал о них. И уже после войны – надо же только представить! – после, казалось бы, полного упразднения старого, после торжества пятилеток, измен, победы над фашистами, внутренними полициями, после того как все надежды на возврат к прошлому уплыли в историю, в некоторых дворах с хмурой тоской жили несмирившиеся. Не так все просто!

Подруга Верочки Корсун стояла на квартире у какой-то старухи, замкнутой и неласковой. Муж ее погиб якобы в Гражданскую войну в красном отряде, братья умерли от ран, дети подорвались на mine в эту войну. Старуху порой навещали два казака преклонного возраста, обычные с виду советские граждане. Говорили о ценах на рынке, о лекарственных травах и прочем. Но однажды раскрылось нечто священное. Два раза в год – 31 марта и 6 августа по старому стилю – появлялись эти казаки с белыми лилиями, присаживались к столу, накрытому хозяйкой с особым старанием. Чувствовалось – ни одна душа больше к сему столу допущена быть не могла. Из нижних секретчиков шкафа доставала хозяйка посуду царского времени, зажигала у иконы свечки, ставила на патефон шипящие старые пластинки; шторки на окнах сводила вместе, а потом, с сумерками, закрывала внутренние ставни. Недоступна нам всякая человеческая жизнь! Все обыкновенно, привычно и просто на улицах: горят огни, идут с сумками, с портфелями, под руку и в одиночку люди, слышатся добродетельные речи, смех; утром на лавочках читают газеты пенсионеры, почтальоны несут невинные письма. И не придет никому в голову, что за ставнями сорок лет скрывается знакомая после ее смерти) погиб при штурме

Екатеринодара корниловцами, именно 31 марта, когда и сам генерал; братья нашли свою смерть в приморско-ахтарских плавнях – с десантниками Врангеля. Двое сыновей отступили с немцами, но она всех убеждала, что их расстреляли полицаи. Вот она и собирала стол 31 марта – в день гибели всех надежд, а 6 августа – в день торжества: в 1918 году белые вошли с Деникиным в Екатеринодар. Она же записывала в церкви на листок поминовения имена вроде бы семейные: Николай, Александр, Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия, Алексей. Но кто это такие? У кого это были четыре дочки и один сын? У старухи? Нет. У царя с царицей. Забыл я прибавить, что в тайные дни эти один из казаков переодевался в казачью офицерскую черкеску, тихо произносил по-старинному тосты и плакал. Можно бы об этом и не упоминать, но я хочу сказать, что, наверное, и я порою не знал, с кем беседовал, потому что в человеческой правде главное не то, что на ставнях, а что за ставнями. Мне, бывшему сельскому мальчику с Тамбовщины, внуку красноармейца, не почувствовать до конца этих тайн, однако и бояться их нечего: все прошло, и народились другие люди. Пишущему же нельзя делать вид, что история наша скользила по гладкому льду.

Зачем я связался с призраками «старовыны», уверовал в силу своего проникновения, пугал, обнадеживал, травил чувства иногородних и казаков вопросами? Как часто я страдал, возвращаясь длинной дорогой вдоль трамвайной линии из станицы Пашковской в город!! Окна, ставни, заборы, глухие сады, камышовые крыши ветхих хат мне словно подсказывали: не ищи, не трать сердца, не жди чудес! С той же унылостью сдавал я к вечеру подшивки газет, папки с документами в архиве. Я перебрал много дел. Полная молодая женщина не успевала мне носить связки из подвала Дворца пионеров, где временно (впрочем, уже десятый год) сырели старинные документы. Я устал, но рылся изо дня в день. Может, в фонде № 332 я найду интересную историю любви? Но попадались строчки, слова, целые инструкции, приказы, возбуждавшие меня тою исторической тьмой, которая поразила однажды мальчика Арсеньева из романа Бунина: пролетел над головою ворон, и мать ему сказала, что он, может, жил еще при Иоанне Грозном! Таким вороном казался мне Толстопят, фамилия коего мелькала в делах конвоя его величества. Вот ему в 1910 году, в день Богоявления Господня, надо быть в 11 часов утра у Большого царского дворца к литургии и шествию для водосвятия, где грот. Между тем он в эти минуты, пока я читаю о нем, сидит на улице Советской в Краснодаре и смотрит передачу «Клуб веселых и находчивых». Вот он по заведенному обыкновению просит к рождественской елке подарок (сухарницу), в другой раз пишет: «Я ценю все, что Ея Величество изволит пожаловать...» Вот жалобы, дознания нижних чинов. Вот телеграмма в Ейский отдел атаману: «Во-

истину воскрес поздравляем с праздником кобыл брать нельзя Толстопят». Он же вместе с другими возлагает у негасимой лампы венки на гробницы царей в Петропавловском соборе. Это с ним я пью чай? Листы пахнут пылью. Ну, еще, еще. Расписания наряды в Гербовый зал, Военную галерею и Николаевский зал Зимнего дворца. Диониса Костогрыза Толстопят подвешивают к аресту на одни сутки за то, что тот недостаточно быстро подошел на дежурстве к телефону, когда звонил командир конвоя князь Трубецкой. 3 марта 1912 года Дионис кашеварил, а через неделю стоял старшим на разъезде в Боболовском парке. В ноябре кавалеры Св. Георгия и лица, имеющие украшенное бриллиантами золотое оружие или знак отличия Военного ордена, приглашаются к высочайшему цесаревича обеденному столу в Николаевском зале в 6.30 вечера. Неужели все это было в России? Без него, Толстопята (он уже стонал от жары в Персии), конвойцы возлагали серебряный венок на гроб бывшего наказного атамана Маламы. Для меня самое странное в том, что он сидит сейчас дома на улице Советской. Однажды я прямо из архива пришел к «месье Толстопяту» и с порога спросил: «Так что вы делали двадцать шестого января двенадцатого года в двенадцать часов дня? А я знаю! «При проезде «ура» не кричать, всем держать руку под козырек, номер восемнадцать».

После смерти Толстопята я нашел обвинительные письма мадам В., листы дознания, приказ об увольнении из конвоя и проч. Я выходил на улицу, по которой только что неслись извозчики, а в городе жили все, кого вдруг не стало, и с трудом привыкал к современному виду жизни. И так было несколько лет. В семье уже позабыли, когда я зарабатывал деньги. Я жил мечтой о книге, о сказке, которая будет потому только сказкой, что это свершилось давно, когда город дразнили маленьким Парижем. На улице я смотрел на прохожих и думал: они не знают, в каком месте живут, они ни разу не представили себе, что ходят по тропинкам вырубленного дубового леса. Я расскажу им. Нас с удовольствием станет возить по городу знаменитый извозчик Терешка. Может, я и роман назову так: «Извозчик Терешка». Меня встречал профессор истории, веривший только в пятисотрублевый оклад, который он хватал на кафедре ежемесячно, и говорил: «Ну как ваши казачки? Все еще мечтают о возврате?» Я разводил руками. В просторном дворе под тяжелою грушей ответит вам на вопрос о здоровье усатый девяностолетний дед привычным присловьем: «Слава богу, шо мы казаки!» Но что с того?

Иду как-то в августе из Пашковской: тишина, вечернее благословение над садами, закат – прожит всеми нами еще один день на земле. Иду по тому самому Ставропольскому шляху, на котором сырой ночью распевал молодой Толстопят что-то запорожское и покрикивал порою на извозчика Терешку. Все во мне

разрывается от одинокого чувства. Почему я? Почему я, чужой, тамбовский, а не какой-нибудь юный казак живет этим? Неужели выродилась черноморская степная душа? Как странно. И каким образом передалось это мне? Не лучше ли бы мне заглядывать в русские избы? Когда кончается осень и на целые месяцы закрывают окрестности южные дожди, я тоскую, вспоминая наши снега, скованные реки и свое детство.

А без Толстопята, Шкуропатской, Попсуйшапки я тоже теперь не могу вообразить свою жизнь. Были бы у меня еще где-нибудь такие часы?

Каким волшебным пером описать вечера разговоров, часы каких-то внезапных вдохновений, когда случайно сойдутся давние знакомцы и невзначай увлекутся преданиями, и уже нету этому конца, нету предела желанию вернуться в колыбель навсегда, и даже грусть о потере былой молодости превращается в какое-то редкое счастье? Тут в разговор вперемежку заскочит все: слова исторических деятелей, дорогие имена, свадьбы, похороны, праздники, красивые здания, кто на ком был женат, кто когда умер и от какой болезни, и какие бывали зимы, наводнения, и сколько, допустим, стоила дюжина стульев. Постороннему (кто помоложе) надо лишь притаиться и жадно слушать. Вечер тянется долго, как тот, когда встретились после сорока лет Толстопят и Попсуйшапка, и неохота вставать, и на душе что-то трогательное, и когда расстаются, то вроде бы что-то теряют, сожалеют, что их эгегическое пребывание в раю воспоминаний оборвалось, и такое уж повторится не скоро.

Так однажды сошлись четверо: Попсуйшапка, Шкуропатская и чета Толстопятов; себя с Лисевецким я не считаю. Пили чай, а потом Лисевецкий показывал открытки и дореволюционные журналы. Он пришел позже нас, снял у порога ботинки, в носках протопал в комнату, облобызал всех и тотчас впотрошил своей крикливостью тихую, рассудительную беседу. Точно вошел в класс на урок. Хозяева и гости поначалу сидели смущенно: до чего же невоспитанный, безалаберный человек! Извиняла его только ласковость, такая детская, непритворная.

– Я так счастлив видеть екатеринодарцев! – кричал он. – Вы прекрасный букет кубанской сирени! Вы помните, сирень была достопримечательностью нашего города? О боже мой, вы все в бронзе. Калерия Никитична, в вас все та же молодость, все то же очарование... Считаю за великую честь показать вам свои находки.

Портфель, будто набитый камнями, еле расстегнулся.

– Вам, певец Екатеринодара, певец Кубани, певец любви, – сказал он мне и протянул «Кубанский сборник за 1899 год».

– Почему... любви? – удивился я.

– Но вы же не сможете обойти похищение прекрасных дам на фэзтоне Терешки? О, как я счастлив вам чем-нибудь быть полезным. Да-а! – вдруг переменялся он. – У нас в городе живет Герой Советского Союза. Я у него вчера был дома. Скромнейший! Брал Рейхстаг. У него орден Александра Невского, Отчужденной войны I степени. Боевой офицер. Нужен? Четыре тяжелых ранения. Я вас познакомлю. Он выступал у меня в школе. Я всегда рядом с историей. Я маленькая книжная шашель, только и всего, ха-ха.

Настоящая фамилия Лисевичкого была Костогрыз. Его дед и знакомый нам урядник конвоя его величества Дионис, бежавший в конвое императрицы Марии Федоровны, двоюродные братья. В 1920 году Дионис застрелил брата «за предательство интересов казачества». Он посадил его на телегу, провез его по станице и за садами, возле реки Кубани, поставил над обрывом. «Я пятнадцать лет не был в церкви, – сказал брат, тогда тридцатилетний казак-красноармеец, – дай помолиться мне». Он помолился, отцепил с груди Георгиевский крест, приготовился. «Стреляйте, – сказал, – только лицо не попортите...» Жена его, бабушка Лисевичкого, ночью нашла мужа у воды, обмыла, принесла чистую одежду и зарыла его там же, на берегу. Лисевичкий ходил к тому месту с березой каждый год. Может, и не под той березой лежал дед, где-то там, напротив дубовой рощи, у бывшего Панского кута с рестораном «Яр».

Лисевичкий поменял свою фамилию на материнскую в юности, когда стал ухаживать за девушками. В детстве его неприлично дразнили, и ему подумалось, что сама фамилия отпугнет ту красавицу, которую он полюбит. Зато после того, как «предмет любви» цветочком клонил к нему головку, он раздвигал занавес своей родословной: «Я не Лисевичкий, я Костогрыз! Во мне запорожская кровь, моего славного предка привезли в бочке. У нас в роду был Лука, его шутки передавались из уст в уста по всей Кубани. А по матери мы из Полтавы. Но я до мозга костей русский интеллигент, ха-ха...» О годе своего рождения, 1931-м, он собрал все номера «Огонька» и газеты «Известия». Калерия Никитична Шкуропатская с улыбкой прощения называла его «умным дураком». Он жил в одном дворе с нею. За таких, считала она, нельзя выходить замуж: его ничего, кроме книг, не занимало. Летом окно ее было раскрыто, он просовывал голову и кричал: «Милая, драгоценная Калерия Никитична, как почивали? Чем могу быть полезен вашему сердцу или бренному телу?» Несу «Живописную Россию» с богатыми иллюстрациями, не хотите взглянуть? Нет... «Кубанский календарь» за тринадцатый год. Все чины войска, все фамилии атаманов, директоров гимназий, купцов. В очень хорошей сохранности. И достал еще супницу старинную с гербом». – «Отстаньте, Юрий Мефодьевич, со своим хламом», – прогоняла его Шкуропатская, но была уверена, что любая ее строгость

не дойдет до Лисевичкого: на следующий день он просунет голову снова с теми же радостями. Такой вот холостяк-чудило процветал в их дворе. Можно сколько угодно изумляться его доброте и любопытству к истории, наведаться в его захлавленную квартиру, но жить с ним вместе невыносимо. Одного часа достаточно. Его огромная, с высокими потолками квартира в особняке покойного гласного городской думы была в раскладе старья, но от Плюшкина он все же отличался: раздавал свои реликвии налево и направо. Иногда за редкую книгу я предлагал ему деньги, он возмущался: «Да как вам не стыдно, я не могу вам продавать, я подарю!» Со стен свисали полосы черной паутины, пол мыла последний раз его покойная матушка, проходы были заставлены столбами книг, журналов, а спинка дивана, на котором он спал, украшена, как грудь какого-нибудь героя русско-турецкой войны, орденами, крестами и медалями. Сам же он бегал по городу в чистом костюме и всегда улыбался. Надо добавить, что он был весьма симпатичен: голубые глаза, хороший рост, прекрасный большой лоб. Спал он от трех до семи, днем и вечером достучаться к нему было нельзя: три массивных, императорских, как он шутил, двери отделяли его покои от входа. Закрывшись на все ключи, он переступал через стопы книг, поднимал какую-нибудь, нюхал («Ах, аромат девятнадцатого века, кледем нельзя надышаться»), брякался на диван и читал. К урокам он не готовился, просто напихивал портфель иллюстрациями, кинжалами, орденами и шпарил перед детьми назубок. «Меня, как августейшую особу, встречают криком «ура»! О наши дети, цветы жизни...» Почему же во дворе прославился он как «умный дурак» и то же сочетание слов вертелось на уме у прочих, его узнавших? Наверное, потому, что он тысячу раз переспрашивал и как новинку рассказывал одно и то же; еще, наверное, потому, что все знал и понимал вроде как люди, но пылкая наивность и теплячий восторг по пустякам лишали его и в зрелые годы степенности; и еще потому, думаю, что надрасно борющиеся за жизнь люди сердятся, когда к ним пристают с подвигами и биографиями покойников и вообще черт знает с чем детским. Его в трепет приводило все то побронзовевшее от времени, что другим казалось лишь мертвечиной или антикварной выручкой на черный день. Но Лисевичкий не был сумасшедшим ученым, графоманом-историком, голодным поэтом провинции. Он был никому не нужным устным кладзем истории своего города. Я мистически думаю, что в казачьем городе, где издавна воспоминания о прошлом сочли лишними, природа на место ленивых, трусливых, пустоглазых историков поставила вот эту неприкаянную, милую, но смешную копилку.

– Я полюбил историю, – говорил он в тот вечер, – когда ребенком хоронил свою бабушку, до войны. Тогда на старом кладбище еще цела была церковь, и ее там отпевали. Священник махал кадиллом. Меня,

мальчика, в восторг привели кресты, мраморные плиты, каменная казачья папаха на могиле, надписи: «Адвокат Канатов», «Генерал-лейтенант Рашпиль»... Что за люди, из какой жизни? Я поступил в наш институт и проводил там время с утра до вечера. Прослушаю лекции на филологическом, а после обеда иду слушать на исторический. Мне показалось мало, и я поступил на исторический в Ростовский университет. Если бы в юности понюхали, как пахнет на развороте старой книги клей, вы бы тоже кончили исторический.

Он говорил, топтался и вертелся по своей оси, снимал то и дело какую-нибудь книгу, нюхал и ставил назад. Старики улыбались, а я уже привык к его законченным странностям.

– Что нового в нашем маленьком Париже?

Его околдовало это прозвание, сравнение с городом мира, в котором он не бывал и не мечтал побывать, и он в этом надоедании тоже не знал меры.

Вечер ломался в угоду Лисевицкому. Вместе с журналами и книгами вытащил он из портфеля тяжелый кусок сала, купленный на ужин, но тут же бухнул его на стол: к трапезе с вами, милые мои старики!

– «Солнце России» за шестнадцатый год. Взгляните на фотографию военного министра Сухомлинова с супругой. Редчайший снимок.

– Рассказывали, даже писали, по-моему, как он под Ницей в тринадцатом году зашел в деревушке в трактир. Хотя он путешествовал инкогнито, хозяйка от шофера узнала, кто он. Подала к столу, потом села за разбитое пианино и сыграла русский гимн. Сухомлинов прослушал с непокрытой головой, а зате-ем, – Толстопят интонацией выразил приятное удивление, – наш военный министр сел в свою очередь за клавиши и сыграл «Марсельезу».

– Потому и проиграла все, – сказал я. – Обольщались своей силой.

– Но какая пара! Как он, старец, стоит с ней! И царь его простил. Супруга выдавала секреты армии, а царь простил. Ну что это? А вот! Имам Шамиль, его два сына, снятые в плену в Калуге. Красавцы! Сколько достоинства. Как одеты! А ведь в плену...

– Я как-то проезжал местечко, где бывал Шамиль, – сказал Толстопят.

– Вы счастливый, знали времена русской славы. – Лисевицкий не замечал насмешливых (впрочем, очень любезных) улыбок Толстопята, Юлии Игнатьевны и Калерии Никитичны. – И достал я «Всемирную новь» за два тома Дюма, это большое везение. Прошу взглянуть очами на табакерку восьмьсот двенадцатого года. Лента к ордену Святого Владимира. А вот и сам орден. Монеты Крымского ханства времен Султан-Гирея. Кубанские Гирей – их потомки.

Калерия Никитична не утерпела подъесть Лисевицкого:

– Зачем оно вам?

– Все это меня, драгоценная Калерия Никитична, интересует с чисто декоративной точки зрения. Я никогда не думал, полезно ли и важно то, что я делаю, но теперь уж мне, право, не к чему меняться, ха-ха...

– Хулу и клевету, Юрий Мефодьевич, – затынул ничего не понявший Попсуйшапка, – приемли равнодушно... Коротко и ясно Пушкин сказал. Дорогой наш Александр Сергеевич. Я люблю книги. Чтоб у меня не заломился ни один уголок! Так.

– Еще, пожалуйста. – Лисевицкий продолжал очищать портфель. – «Огонек». Похороны Дзержинского, Сталин идет за гробом. У кого вы теперь это найдете? А у меня есть.

– Позвольте, позвольте... – Юлия Игнатьевна подвинулась ближе. – В гимнастерке. – И больше ничего не сказала, села в сторонке и задумалась.

– Еще «Огонек» за двадцать восьмой год. Умерла мать Николая Второго, ее портрет, даже «Огонек» напечатал ее портрет, представляете? И фотография ее камер-казака Диониса Костогрыза. Убил моего деда.

– Да ну? – Толстопят оторвался на шаг вперед. – Неужели Дионис? Похож.

– Месье Пье-ер! Я счастлив преподнести вам редчайший сюрприз. Это сравнится только с находкой гробницы Тутанхамона или какого-то там Аменхотепа! Иду я по улице – сидит на ступеньках крыльца калека: костыли; губы и щеки размалеваны; черные очки-колеса на глазах. Она больная, не в своем уме. Гляжу, голая, без корочки тетрадка, яти, еры в словах. Почерк женский. Я цап! За пятерку. «Где ты взяла, красавица?» – «У тетечки квартирантка в музее служила, они там выбрасывали». Как стал читать – бо-оже мой: наш город, тысяча девятьсот восьмой – двенадцатый годы. Конца нет. И вдруг фамилия: Толстопят!

– Да неужели?!

– Месье Пьер, честно. Че-естно! И вдруг про брата Пьерушку, про скандал с барышней, про его письма из Петербурга...

– Не может быть... – мертво сказал Толстопят.

– Я торжественно вручаю вам тетрадь вашей сестры Манечки... месье Пьер Авксентьевич Толстопят.

Толстопят нежно взял тетрадку, положил ее на ладонь и понес в угол к дивану, сел и замер в одиночестве.

– И еще я принес «Историю гражданской войны», богатейшие иллюстрации. – Лисевицкий развернул том, желая удивить стариков чем-то необыкновенным. Но все снимки были известные. – Пожалуйста: генерал Корнилов на московском совещании в семнадцатом году. Василий Афанасьевич, Корнилова убили, вы участвовали в защите города или шли на штурм с белыми?

Такая бесцеремонность, даже неделикатность покоробила Калерию Никитичну, и она вздохнула безнадежно, переглянувшись с Юлией Игнатьевной. Однако

Попсуйшапка того ровно и ждал: отвечать на любой вопрос.

– Корнилова остановили... угол Кузнечной и Бурсаковской. Труп его сожгли на Свинячем хуторе. Среднего сына кузнеца Нимченко помните? У него была фотография Корнилова на телеге. Я живу как раз в том белом домике Гначбау, куда попал снаряд и убил Корнилова. Сбоку Бурсакова скачка.

Лисевицкий онемел, потом пришел в себя, зачесался, проговорил:

– Как... как вы туда попали?

– Я ж из Васюринской переехал. Жить негде. На Сенном рынке встречаю Федосью Христюк. Так и так. Она и привела меня. Одни выезжали, а мы поселились. В ту же комнату, куда снаряд залетел.

– Приходят люди?

– Писатель Аркадий Первенцев, что «Кочубея» написал, завозил начальство. Вроде музей думали открыть в честь победы над добровольцами, но нас же надо выселять, а там пять семей. Заглохло, и слава богу. Кубань рядом, воздух хороший. Одно только: крысы. Желтые! А вы, Юрий Мефодьевич, до переворота в какой части города жили?

Все засмеялись.

– Я же после революции родился, – сказал Лисевицкий. – Мать жила на Посполитакинской.

– А-га. У Ильинской церкви? Там потом дом купил Копейкин Иван. Их четыре брата. Один на Дмитриевской купил.

Так его и слушали весь вечер с улыбкой. Спрашивали иногда только затем, чтобы он говорил подольше.

– Царь приезжал, – помните?

– Вот мне удивительно, почему он не остановился у наказного атамана. Почему он остановился в гостинице «Метрополь»? Он пока проехал от Гоголя до городской больницы, ему подано было три прошения. По Красной он ехал на маленькой машинке «фордик».

– Ну и как это было? – наседал Лисевицкий. – Приехал...

– Кто? А-а? Царь... Ну, приехал в Екатеринодар. Война ж. Охрана была маленькая. Выходит из парадного подъезда гостиницы «Метрополь». Ему подали машину. Они сели: великий князь, дядька его Николай Николаевич, и повернули на Красную.

– Царица с ними была?

– Нет. Николай Николаевич, великий князь, дядька его. Сухой мужчина высокого роста, борода маленькая и усы.

– Все помните! – похвалила его Юлия Игнатьевна.

– Ну а как же?

Но даже Попсуйшапка уже ошибался. Время затуманило и его память. Я часто ловил на путанице и других старожил.

– А вот и не всё, – с потешной радостью ощерился Лисевицкий. – И не так, и не всё!

– Великий князь Николай Николаевич приезжал не с царем, а один, – сказал Толстопят. – В шестнадцатом году.

– Разве? – опешил Попсуйшапка, никогда вроде бы не ошибавшийся. – Разве царь не в шестнадцатом?

– Царь приезжал в четырнадцатом году! – прокричал Лисевицкий. – В ноябре. Ни в какой гостинице он не останавливался, прошений ему не подавали, он был в Екатеринодаре всего несколько часов.

– У меня сломался каблук, – сказала Калерия Никитична. – Бежала, и он сломался.

– Вам бы надо было, Калерия Никитична, тут же за угол завернуть, на Борзиковскую, и пожалуйста – сапожник Заплюйсвичка, замечательный! – Попсуйшапка советовал так, будто это было вчера, а не полвека назад. – Вы помните, как впереди ехал Бабыч с жирными эполетами и кричал: «Сзади меня едет государь император Николай Александрович»?

– То кричал полицмейстер Михайлопуло, – подошел и крикнул в самое ухо Попсуйшапке Лисевицкий, хотя тот слышал еще неплохо.

– Разве?

Лисевицкий знал больше шапочного мастера? Юлия Игнатьевна убивала все эти исторические пререкания светской улыбкой. Казалось, она-то знает все! Но не екатеринодарское (подумаешь!). Было что в жизни поинтересней. И она не желает снизойти до воспоминаний. Иногда она была иной, но редко. Зато она всегда оживлялась, если говорили о ее муже Петре Авксентьевиче.

– Водка почему была?

– Я уже помню, как монополия настанет, возле нас – сорок три копейки казенная бутылка.

– То-то офицеры барышень воровали на извозчике, – сказал я. – Водка была дешевая.

– Это была замечательная традиция, – сказал Лисевицкий, – воровать чудесных дам...

– Была... – подтвердил Толстопят. – Что было, то упылыло. Нет пути к невозвратному.

– Но какой это был позор, – сказала Калерия Никитична.

– Зато сколько огня, страсти, божественных чувств к героине своего сердца, – заговорил, как всегда в таких случаях, бездарными строчками пропавших романов Лисевицкий.

– Я помню-у... – Попсуйшапка, по всей видимости, готовился к длинной речи, покхекал, прочистил горло и обратился лицом к Калерии Никитичне. – У нас об этом в девятьсот восьмом году писали в «Кубанском крае». Так же украл офицер первого Екатеринодарского полка дочь покойного генерала. Она была наследница большого состояния, он сделал ей предложение, но получил отказ. Он еще раз сделал предложение и еще получил отказ. Тогда он что? Решил похитить эту барышню. В один прекрасный вечер она

следники времени. О чем и о ком вы там вспоминали? – укором летят от них невидимые искры. Они свое прожили, торопитесь, живите и вы!..

Если бы я родился в этом городе, мне бы с детства больше перепало впечатлений, семейных бесед и т. п. О многом и многом уже не у кого спросить. Одни выехали в другие города, другие умерли. Между тем мне интересно все, даже то, например, как окончили свои дни староста извозчиков Евстафий Сухоробров или мадам Гезе, владелица кондитерской. Вообще, как странно: я за столько лет не смог почувствовать в казачьей столице старинных связей людских – наверное, понаехала тьма иногородних, таких вот, как я. Что бы сказал нынче Лука Костогрыз?! Когда он родился, в Екатеринодаре было шесть тысяч триста сорок три человека, а нынче шестьсот тысяч!

– Ах, как я счастлив! – все повторял Лисевицкий. – Вы довольны вечером? Хоть одной рукой прикоснулись к истории? Я рад за вас, – сказал он, хотя я не успел выразить удовольствия. – Вы войдете в бессмертие. Что вы? Стрела большой мысли пронзила вас?

– Думаю о стариках. Они разошлись по своим куткам. Думаю: и раньше они оставались одни. Раньше оставались со своей радостью, горем, мыслями о будущем, а теперь ушли и остались наедине со своей старостью. Вот, Юрий Мефодьевич.

– Так проходит слава земная? Хотите, я покажу вам екатеринодарские дворы? Поэзия.

– Но уже темно. Во дворах одни сараи и туалеты.

– Остатки фонтанов.

– Вы почему не женитесь?

– А куда же я тогда дену свои сокровища? Жена наведет порядок, половину книг сдаст букинистам. Что вы! Я доволен свободой.

– Нельзя жить одними покойниками.

– Но вы же сами напечатали статью «Кто замазал фрески?». И не бойтесь. Они вам отомстят. И по имени-отчеству назвали бывшего екатеринодарского голу. Вас выдрали уже.

– Я написал и не отрекаюсь, но живу как все люди.

Мы расстались во втором часу ночи, уже наступило воскресенье, а в восемь утра я купил «Советскую Кубань», обернул ею тетрадку для записей и поехал на трамвае в Пашковскую к одноглазой казачке, уроженке станицы Копанской, которую выманивал нати-хую от ее осторожного зятя к соседке через дорогу. Святая простота, она мне все-все о себе рассказывала, и, когда я возвращался к вечеру назад пешком, ее голос и голоса других казаков звучали в моих ушах.

– Ездил на родину, в станицу Копанскую, в прошлом году. Было б не умыться месяца два, ото б облизали. Ото кума, ото ж племянница...

– Идите, идите, ничего не знаю... Правду скажешь – нехороший будешь.

– Был в Екатеринодаре шапочный мастер Попсуй-шапка, их два брата. Моисея убили бандиты, а Василий, наверное, давно умер...

– Терешка-лихач вез красавицу Шкуропатскую на фаэтоне в гостиницу «Большая Московская», она раскрывала зонт. Я бежала следом, смотрела. Ее уже нет. Калерией звали. Она в Новороссийске в заговоре была замешана, ее и расстреляли. В двадцать втором году.

– Толстопят? Офицер первого екатеринодарского полка, батько его тут рядом, возле Роккеля, сад имел. Толстопят из-за барышни прыгал на лошади, как тот старый Бурсак, с кручи в Кубань. И ничего. А убили его на ферме Гначбау во время осады Екатеринодара. Красивый был казак.

– Ну как же, Толстопят, офицер екатеринодарского полка! Приехал из Франции? А слухи давно ходили, что его убили под Афинской в восемнадцатом году. Приехал. Оно ж тянет к родной хате...

– Шкуропатскую я видела последний раз после войны, поздоровались, но разговаривать не стали. Теперь она уже померла.

– Бурсак Дементий до войны работал нотариусом, а потом уехал в Нальчик. Его жена Шкуропатская простудилась, заболела да так и не поправилась. Дети где-то здесь...

Даже своя жизнь постепенно за годы стирается в памяти; про других никто уж ничего толком не помнил. Путали даты, события, имена, семейные связи. Поживем, посмотрим – будем ли кого-нибудь помнить мы с вами?

Любовь и смерть

Тысячу раз повторяю: никто не знает, что нас ждет впереди. Когда в новогоднюю ночь Лисевицкий позвонил Толстопяту из ресторана «Кубань» и полчаса желал на 1962 год себе и старожилам того-то и того-то, он еще был один как перст и ничего не предчувствовал. И до самого лета носился он вечерами по старикам, чудил, восторгался, спрашивая одно и то же. Жизнь его все время катилась по одной тропе. Герою штурма Рейхстага показывал он книжные новинки о последней войне; бывшего адъютанта главнокомандующего Северокавказской армией в Гражданскую войну теребил вопросами: а правда, что...? а правда, что...? Бывшего партийного работника, руководителя краснодарским подпольем при немцах, заводил в классы при восторженных ученических кликах «ура!» (причем сам кричал громче всех), потом вместе с учениками провожал домой и каждую неделю звонил: «Ну как вам наши дети? Не правда ли, они готовы пойти за вами на новые подвиги?» Толстопята Лисевицкий позабыл месяца на три. 18 июля он пожарным стуком разбудил его в седьмом часу утра.

Толстопят покорно впустил его, оделся, поставил чайник на плитку.

– Вы, Юрий Мефодьевич, изменили расписание. Обычно приходили к одиннадцати ночи. Я как-то ходил к вам, звонил, звонил.

– Я же сплю голый, услышал ваш звонок, пока оделся – вы ушли. Голый король. Купил на базаре последний генеральский мундир за пять рублей. Для меня ваше прибытие будет такой честью, что меньше чем в чине генерала принимать вас не смогу.

– Сколько в вас жизни, непосредственности, – сказал Толстопят, повеселев. – Ценю.

– Докладываю, месье Пьер. Душа полна. Вы первый, кто узнает великую тайну моей биографии. Ведь ни в одном архиве обо мне не сохранится ни листочка. Все декамеронские страсти свои унесу в селения праведных, ха-ха...

– У вас неприятности?

– Месье Пьер! У меня не может быть неприятностей, я человек неженатый.

– Так что же?

– Случилось то, что вы предсказывали своим гениальным чутьем. Я величайший любовник города. О лепестки любви! Я их сорвал и засушу.

– Так и должно быть, – догадался Толстопят. – И к вам маленькое солнышко заглянуло в окно.

– Не верится, месье Пьер, что это со мной. Не зря я крутил пластинку Вавича: «Время изменится, горе развеется. Сердце усталое счастье узнает вновь...»

– Вавич? Ах, Вавич. Я помню. Он пел у нас в Екатерининском саду в девятнадцатом году. А Морфесси вы слышали?

– «Мы сегодня расстались с тобою, – запел Лисевицкий, – без ненужных рыданий и слез...»

Толстопят большими пальцами оттягивал подтяжки и смотрел в пол. Обычно манера пения Лисевицкого развлекала его, он хохотал; на сей раз слушал не разжимая губ.

– На душе весна, месье Пьер. Я горю чистым пламенем любви. Сейчас откроется магазин, я сбегаю на угол, дадите мне какую-нибудь сумку? «И лелея-ал свою я ме-ечту-у...»

В семь он выскочил и побежал по улице Пушкина, в магазине с такой жадностью набирал продуктов, сластей, бутылок с водой, вином, с таким сочувствием, когда торопился назад, запоминал утро, взирал на дома, таким ощущал себя счастливым оттого, что ему с детства попадались интересные люди, которые к нему привыкали и ему доверялись и от которых он узнал столько чудес, и, конечно, счастливым оттого, что его провожала на заре за ворота богиня в халатике и тапочках. «Что за лето! – думал он горячо. – Какая у меня прекрасная жизнь! За что мне такое? Господи, не отними... И ее не отними... Нет никого счастливее маэстро Лисевицкого... Мне едва ли забыть, дорогая

моя, эту чудную ночь, эту трель соловья! Стихи из альбома какой-нибудь пташки».

– После утомительных трудов дневного послушания пора укрепиться трапезою!

– Еще утро, Юрий Мефодьевич...

– Ах, в самом деле! Еще роса на ресницах любимой...

Толстопят, подпоясанный белым передником, расставляя тарелки, резал хлеб и хотел выпить. Он и вчера и позавчера был пьян, сидел перед телевизором и плакал.

– У вас такой хороший вид, месье Пьер, – сказал Лисевицкий. – Я вам буду читать стихи кубанских поэтов. Ах, хочется петь.

– Между прочим, я сегодня пел во сне арию из «Хованщины». Наша «Кубанская чашка чая» в Париже (была такая), кубанские и донские казаки, почему-то с ними князь Феликс Юсупов (что убил Распутина), Кшесинская (возлюбленная последнего нашего императора). Знаете?

– Ну как же!

– И я так пою, так пою Мусоргского! А все хлопают, плачут и кричат: «Домой, домой, в Россию! Хватит страдать. Господа, к пароходу!» И вы стучите.

– А я уж думал, что никогда не полюблю, – говорил Лисевицкий. – Как я жил, нет, месье Пьер, как я жил? Меня все считали за идиота. Но я же нормальный, вы видите... Я могу полюбить навеки.

– Вы ее покажете мне?

– С гордостью, месье Пьер. И мы вместе перед нею споем. Ах, как хорошо у вас! Я отдыхаю. Сиж у вас и... люблю. Как вы считаете, она думает сейчас обо мне?

– Не знаю.

– Но от горя и слез, дорогая моя, я увез бы тебя в золотые края...

– Сочинили?

– Стихи из альбома какой-то пташки. Хотите, подарю вам Георгиевский крест? Я приведу ее, и вы нацепите. Пусть она знает, с какими историческими личностями я общаюсь. Ваше здоровье!

Толстопят быстро захмелел: глазами, полными горя, он глядел на фотографию Юлии Игнатьевны на книжном шкафу. Лисевицкий глядел туда же и блаженствовал.

– Вы глубоко задумались, месье Пьер? Что-то вспомнилось историческое, окрашенное в голубой туман чудес?

– Да, немножко. В конвое, в день нашей иконы, после молебна, в помещении столовой ставился на серебряное блюдце графин и скромная закуска. Вахмистр наливал водку. Первую чарку поднимал командир сотни: «За здоровье вашего командира, за ваше здоровье, братцы!» И клал на блюдо деньги.

– Зачем?!

– Такой был обычай.

– Ну как бы это нам с вами завести свои нетленные обычаи.

– Они у нас есть. Вы всегда приходите в неурочный час.

Лисевицкий даже не помыслил, к чему Толстопят сказал это. По радио в концерте по заявкам объявили романс Чайковского. Кто-то заблудился в войну в снежных донских степях, потерял всякую надежду на спасение, его нашел без сознания сержант и три версты нес на себе в часть. Для него и звучал нынче Чайковский. Толстопят прослезился, когда услышал.

– Я шел от нее мимо железных ворот и ни о чем не пожалел. Представляете? У меня была история когда-то, и я ни о чем не жалел, вспомнив ее...

Он чувствовал только себя, видел сон, любил только свое. Он в самом деле ни о чем не жалел. Шел мимо ворот, из давнего-давнего времени выступали на мгновение лица, дни и ночи, но ничем не задела его душу. Кто теперь спал в этом большом доме с железными воротами, жив ли хоть кто-нибудь?

Было раннее утро, часа четыре или половина пятого? Уходил ли кто-нибудь в эти часы от любимой? Но казалось, что так, как уходил он, Лисевицкий, не уходил никто, разве что очаровательный казак Толстопят. Томные розы во дворе уже ярко выделялись завитыми головками. Вера – все та же Верочка Корсун, которая ему еще ничего не открыла в своей прошлой жизни, – поцеловала его в комнате у окна, последний раз прислонилась к нему, уже зависимая, породнившаяся в полночь, и, предупредив пальчиком, 103 неслышно повела за собой через одну дверь, другую, потом по длинному двору с кустами роз. С правой стороны, за ветками, горело окно, но уже не так четко, как ночью. Соседи там ссорились до утра. Слева окошко пристройки было невысоко от земли, и Вера мигнула в их сторону, желая убедиться, что никто не видит, как она уводит мужчину.

За воротами утро показалось светлее, и Вера (в цветном халатике, в тапочках на босу ногу) смущенно гадала, что в его глазах: любовь? осуждение? обещание? Лисевицкий в слепоте чувств мнил себя первым, кого она провожает на заре. Молча, пятясь, отходил он от нее. Теперь в Краснодаре есть уголок, который связал его не чужими историями и великими событиями, а его собственными возвышенными часами с женщиной. То говорил он в прогулках по городу: «Это дом Вишневецкого, на ковре сабли висели... это Бурсачки... а это Христофора Фотиади, грека, в восемнадцатом – девятнадцатом годах Деникин стоял... подворье извозчика Терешки, мою бабушку к венцу возил...» А с этого дня? «Там мы с ней сидели... с пристани Дицмана поплывем к дачам... Дай бог... дай бог...» Не будет конца его любви! На душе такая же нежность, как к старым книгам. «Ты моя радость... Из-за тебя я полюбил краснодарский рассвет...» О, сейчас он все расскажет Толстопяту, споет ему романсы и арии из опе-

ретт и потом подарит ей лучшие книги – о, так хотелось задарить всех! Он многих любил, всегда готов был рвать свою душу, но нынче из-за Веры любил всех подряд. Но что это за Клуб речников? На фанерной афише название индийского фильма: «Цветы персика». Чуть подальше дом с высокими железными воротами. О боже, это же тот дом и те ворота! Вон и узкое окно с другого двора, куда он стучал пятнадцать лет назад. «Пятнадцать лет!» – тут же высчитал он. Это столько по всей земле смертей, войн, удивительных событий, столько любовных союзов, разлук, столько деток, родившихся и уже выросших! Столько он книг перечитал, всяких разговоров вел, путешествовал – без нее, девочки в темно-красном платье. Пятнадцать лет! Где она теперь? Жива ли? Он ничего, ничего не знал о ней. Он позабыл ее вовсе. Можно ли так забыть? Ее давно нет в этом городе. Возможно ли так забывать когда-то святую любовь? Сейчас ничто не шевельнулось в нем. Из какого-то далека повеяло смутно-знакомым теплым ветерком, и все. Ничего страшного, горького. Было – прошло. Она, видно, уже толстая суетливая мамаша, а он еще молодежавый веселый господин. Ужас! – он ни о чем не жалел. Удивительно. Он ни о чем не жалел, как, возможно, и та вон старуха в высоком овальном окне. Чего она не спит в пять утра? Она, кажется, перепутала время и дожидается, сложив на подоконнике руки, когда стемнеет? Но уже утро, утро... «Она не знает, откуда я иду... – думал Лисевицкий. – Я счастливый!»

– Я жил, месье Пьер, в ином мире, – говорил он Толстопяту, совсем разомлев от живых сновидений. – Я только и знал, что ходил к книжному магазину, как вы в Париже к церкви на рю Дарю, – нет ли кого там из знакомых? Да бегал в вечернюю школу, а днем по заводам и фабрикам, докладывать парторгам, чтобы они принуждали рабочих не пропускать занятия. И дворы!

– Не кричите мне в ухо, я прекрасно слышу.

– Виноват, школьная привычка. А где ваш чудесный приемник «Шнейдер»?

– Техник сказал: его только выбросить!

– Вы что! И вы выбросили?! Месье Пьер! Ай-яй-яй! Нельзя так жить. Все терять, терять, терять. Я бы у вас купил.

– Я терял больше, – сказал Толстопят, прихлебывая чай. – Когда мы в двадцатом году уплывали в Черное море, мы теряли все. А звезды оставались над Крымом. Не знали, что многим их с того места никогда больше не увидеть. Сказано в Библии: «Лучше надеть жернов мельничный...» Вещей не жалко.

– Но теперь вы дома!

– Этим я и дорожу.

– Хотите, я дам вам «Ниву» за девятьсот четвертый год?

– Не кричите так громко.

– Простите, все школа, школа научила. Вы всех видели, месье Пьер. Еще несколько слов со скрижалей вашего сердца, пожалуйста. С царицей в карты играли?

– Да-а, если бы у меня был заведен синодик, в который бы я записывал имена, он был бы очень велик.

– Ах, как у вас хорошо! Она подарила мне мелодию Штрауса. И возникла божественная музыка чарующей красоты. Я очищаюсь. Мой милый, непередаваемый Петр Авксентьевич, не знающий всей грязи жизни.

– Это я-то?

– Хотите, я принесу вам чудесную императорскую раму – из окна бывшего ювелира Гана?

– Зачем-ем?

– Извините, от избытка чувств. Вы скромнейший, деликатнейший человек, месье Пьер.

– Нисколько. Я очень вспыльчивый, бываю груб невыносимо, я неуживчивый.

Все-таки на Лисевицкого постоянно действовало то, что Толстопят жил сорок лет в Париже и что в четырнадцатом году он получил офицерского Георгия. Есть такие люди: чужая биография затмевает им все.

– Вам не одиноко? – спросил Толстопят.

– Что вы! У меня же столько книг! Скоро у меня день рождения, я уже всего накопил, буду у вас.

Толстопят молчал, в глазах стояла боль, руки, когда он брал рюмку, дрожали. Лисевицкий пел, доставал с полки книги, нюхал корочки, рассказывал о первой своей любви в студенческие годы. Так бы ничего и не заметил добрый Лисевицкий, если бы Толстопят не заплакал и не сказал, что две недели назад у него умерла жена, Юлия Игнатьевна, спутница его, страдалица.

Разговор до утра

Летом 1964 года приезжал из Парижа Дементий Павлович Бурсак. С его первых часов в Краснодаре началось наше повествование. Вернуться на родину через сорок лет – событие, да еще какое, но кому оно могло быть заметно теперь? Смерть ни с кем не считается, а еще ведь были и войны, и голод. Сам Бурсак всего шесть месяцев назад прощался в парижском госпитале со своей жизнью.

Мы никогда не знаем, доживем ли до старости, а если доживем, то не предскажем, в какой день она кончится. Кругом всегда, каждый день, умирали люди, и Бурсак с юных лет понимал, что стихнет и его сердце когда-то. Но угроза была бесконечно далека, и оттого, может, казалось, будто чаша смерти минует его вообще. И вот за чередой больших и малых житейских утрат подкрался срок утраты неизмеримой, – пробил его час вечной разлуки. Нынче умирал он. Бурсак умирал по ночам, страдал, лежал в гробу и с ужасом опускался в свежую яму, оставляя наверху,

как будто под небесами, счастливую кучку друзей, знакомых и посторонних. Им суждено о нем помнить. Он умирал и позаботился о том, чтобы послали на родину другу Толстопяту траурное извещение хотя бы к сороковому дню, к поминкам. Отделу объявлений газеты «Русская мысль» он сам заплатил положенную сумму, так что и десять лет спустя кто-нибудь из соотечественников сможет прочитать о давнишней его кончине и даже зажжет за упокой его души свечку и помолится. А на родине? Прошлым летом, вместо того чтобы пристроиться к туристам в путешествие по России, слетал он в Америку проведать старую свою даму, с которой он жил до войны три года. В госпитале нелепые сны видел он: все купцы и лавочники Екатеринодара несли ему свои товары – Сахав, Демержи-ев, Шоршоров, братья Тарасовы, пекарь Кёр-оглы; Попсуйшапка сшил ему шляпу рафаэлевского фасона; в магазине Запорожца он купил «Историю Кубанского казачьего войска» Щербины; извозчик Терешка вез его в церковь венчаться с Калерией. Лаяли в ночном городе собаки, тархтели возы по Базарной улице; днем в ограде реального училища орал осел. В скетинг-ринке пела Варя Панина. В «Чашке чая» бежала с подносом долговязая Федосья, та грубоватая бедовая казачка, что мыла им с Калерией яблоки на тушкиной даче за Бурсаковскими скачками. Неужели они на том же месте? Он просыпался и, еще спеленатый сновидением, лицами далекого екатеринодарского прошлого, про себя вскрикивал: «Но уже скольких нет! Все умерли! Теперь мой час...» Слова Толстопяты в письмах из Краснодара припоминались ему и жгли укором: «...всегда рад встрече с тобой на этой земле, а под землей встречи нету...» Что ж, и над ним сбываются слова поэта Адамовича: «...две медных монеты на веки, скрещенные руки на грудь...»

Но он выжил. Видно, парное молоко, которое подносили ему к постели с раннего детства, укрепляло его сосуды и сердце на долгий срок. Он зажил как прежде и в Ницце даже посватался к шестидесятилетней дочери бывшего русского посла, но, прежде чем сходить, решил совершить путешествие на родину. Господи, до чего ты милостив: летним июньским утром поезд Москва – Новороссийск медленно тянулся по кубанской степи! Это вам не Европа. Слава богу, хоть в России можно еще часами глядеть на пустынные нескончаемые поля и хорошо выспаться до крупной станции. Однажды терпеливо ждали встречного, и, когда тронулись, над дверями каменного служебного домика открылись за листвой и пропали слова: «Разъезд Бурсак». Как нарочно! Так он еще существует, этот маленький разъезд, названный по табунным угодыям предков?! Сердце глухо забилося. Наверное, один он теперь знает про бурсаковские табуны. Но точно никому не известно, о чем думал старый Бурсак, эмигрант: о прежних картинах во время приближения к дому? о сорока годах в Париже? о последнем дне в 1924 году?

Разница с прежним возвращением в Екатеринодар была в том, что году в двенадцатом он, проснувшись в вагоне после Ростова, перебирал в уме родных, соседей, товарищей в окружном суде, подумал обо всем, что составляло тогда обывательскую жизнь в городе, где он родился и вырос. Теперь он думал о людях ему незнакомых, о каких-то русских людях, которых стало в пять раз больше. Кто там еще, кроме Толстопята и Калерии Шкуропатской?

Но я забыл в самом начале сказать, что после исторического музея Бурсак все-таки не вытерпел и набрался духу подойти к своему флигелю, где жил он когда-то с молодой Калерией. Он попал не в комнаты, а в подвал, и случилось это вот как. Во дворе женщина мыла кастрюли, он поздоровался с ней. Женщина мыла кастрюли, разогнулась и с любопытством ждала, о чем ее спросит явно нездешний господин. Бурсак попытал ее, не живет ли кто во дворе из стариков.

– Там в подвал приходит старушка, ей девяносто лет, а мы здесь недавно...

В каменном подвале с тремя дверями по ступенькам сидела у печки маленькая старушка. Из окна, наполовину срезанного землей, рассеянно и скудно лился свет. Она сморгнула короткими, словно обожженными ресницами забывчивость и молчала. Бурсак заговорил о хозяевах этого дома. Полчаса она ему объясняла, потом достала фотографию на картонке, ладошкой стерла пыль. На фоне богатого казацкого дома была заснята свадьба. Спереди сидели, полулежали; двое наливали из бутылки в стакан, позировали; старик с белой бородой держал между ног четверть; мужчины в офицерской форме, в фуражках, папахах, атаман посредине, ниже молодых; много женщин, дети сбоку, несколько мальчиков в бедных одеждах, и рядом с ними девушка (нынешняя старуха). Бурсак узнал в молодых отца и мать!

– Дементий Павлович? – угадала его старуха. – Меня не помните? Я на Бурсаковском хуторе за коровами ходила...

Бурсак, к стыду своему, никак не мог вспомнить ее молодой.

Свадебную фотографию она отдала ему после беседы, сказала, что все равно она пропадет после ее смерти. В подвале она спасалась в войну и ходит сюда летом в жаркие дни.

Толстопят караулил его на углу.

– Я заблудился! – сказал Бурсак другу за чаем.

– Я уже учил тебя, как спрашивать. «Где здесь живет француз, у которого недавно жена умерла?» Все знают.

– М-да... Можно ли было представить в каком-нибудь девятьсот восьмом году, что на старости я так буду плутать к твоему двору? Обязательно напишу стихи.

– Дома и стены помогают, – что ж.

– Шел и думал: одни стены и помнят меня! Семь дубов Кухаренчихи еще царствуют. Я узнал все дома, всех хозяев, представь себе, вспомнил.

Дома, домишки, флигеля, особнячки с вазами на фронтоне, с крылечками, с узорными вензелями над окнами, подворья, арочные ворота извозчиков, чугунные ступеньки завода Гусника в один миг вернули его душе город детства. Дома сами называли себя фамилиями бывших хозяев: Калери, Вишневецкий, Камянский, Вареник, Канатов, Кравчина, Малышевский, Кияшко, Борзик, Рашпиль, Скакун, Свидин, Шапринский, Савицкий, Гулыга, Черачев, Сквориков, Дицман, Поночевный, Барыш-Тыщенко, Меерович, Соляник-Красса, Холявко, Ждан-Пушкин, Келебердинский, Ли-хацкий, Гаденко... Жили-были...

– По-моему, ни одной такой фамилии сейчас в городе не существует, – сказал Толстопят. – И дальних родственников нету.

– Ну. Что ж ты хочешь! Мир раскололся, и трещина прошла через мое сердце. Гейне говорил. Обязательно напишу стихи. И первая строчка будет такая: «Нам суждено ли край родной увидеть снова?» Одобряешь?

– Че-орт тебя знает! – поднимал Толстопят плечи от недоумения. Он всегда посмеивался над парижским занятием друга. – Какие в наши годы стихи?

Бурсак немножко напускал на себя чужой мудрости:

– Счастье это или проклятие, что мы еще живы?

– Я не философствую, – сказал Толстопят. – Я живу. Мы с тобой уже едем не на ярмарку, а с ярмарки. Подыши родным воздухом. Медленно походи.

– Жестокость в том, что от всего можно отвыкнуть.

– И снова привыкнуть! – Толстопят повысил голос. – Я живу, будто и не уезжал.

– Серьезно? Может, оттого что ты приехал раньше? Ты чувствовал потерю? А я, что я нынче чувствовал? Первые минуты: жизнь прошла! Потом: неужели никого нет?

Бурсак вопрошающе взглядывал на седого величественного друга, молчанием вытягивал из него какой-нибудь утешительный ответ; тот бодро, с улыбкой глядел на него, словно повторял ему мудрые, ставшие как бы собственными слова: так, милый мой Дема, проходит слава земная. Может, все-таки надо было Бурсаку тогда же, в 1957 году, в день всеобщего покаяния и поста, объявленный Русской зарубежной церковью взамен ДНЯ РУССКОЙ СКОРБИ, да, в «день покаянного плача», поехать домой с четой Толстопятов и восемь лет гулять не в Монсури, а по Красной? Может, простила бы его Калерия, приняла и доживали бы они вместе остаток лет?

– Сильно страдала Юлия?

– Она бы прожила еще, но курила. Ее хорошо лечили, а все равно. Без нее я стал стареть. Ты не представляешь, как я тебя ждал! Меня тут не оставляли, русские везде русские, но если бы ты знал! А и то ска-

заты: пожили – хватит. Пора умирать. Стыдно: мы с тобой всех пережили.

– А супруга моя?

– Она ждет, что мы придем. Я читал ей твои письма. Она рада будет. Помнишь Скибу? Помнишь, братьев Скиба расстрелял помощник полицмейстера в девятьсот восьмом? На Ростовской улице, суд был?

– Ну как же!

– А их двоюродный брат, они иногородние, замешан был в какой-то революционной деятельности, и к тебе приходила некая Федосья...

– Может быть, может быть...

– Между прочим, тоже пишет стихи. Что такое? Калерия пишет к годовым праздникам и памятным датам. Один я без дарований. Будешь знакомиться заново и обживать град сей.

– Успею ли за три недели?

– За три недели еще раз проживешь свои молодые годы. Я так рад, что мы вместе в нашем богоспасаемом Екатеринодаре.

– Да, – грустно поддержал Бурсак. – В нашем маленьком Париже. Не верится. Кто нас поймет?

Бурсаку хотелось грусти, меланхолии, но Толстопят, столько месяцев ждавший его на пир и не раз в воображении раскрывший на этом пиру свою душу, никак теперь не мог приспособиться к другу: хотелось разговаривать так же просто, как с соседом. Слезы и сожаления будут потом. Если будут.

– Поищи, может, кто из родни вашей остался?

– Они все выехали в двадцатом году. А твоя родня?

– Двоюродных много. Дочь моего любимого дяди живет в Кишиневе. Гостила у нас с мужем. Еще при покойнице. Мужу было очень интересно со мной, упрашивал жену пожить еще. Ни в какую! Я накричал, поссорились. Когда Юлечка умерла, Калерия Никитична написала ей: приезжайте, Петр Авксентьевич горюет. Она приехала. И мы не ужились. Курит, пьет.

Толстопят опустил руку вниз с таким отчаянием, что никакими словами не сказал бы он больше, чем этим жестом.

– Племянников пруд пруди. Но они мной не интересуются. Один вопрос: «А что, дядя Петя, во Франции шмоток полно?» А я-то думал, что меня спросят о другом.

Бурсак в эту минуту с любовью смотрел на друга.

– Был брат Митя, хорунжий, георгиевский кавалер. Он погиб в девятнадцатом году. А дочь жива, в Таганроге. Сказала сыну, когда узнала, что Петр Толстопят вернулся на Кубань: «А зачем он приехал? Чего не видел? Тут давно ничего нет». Одну родственницу обидел, пять лет не ходит. Раньше ж в станице любимым делом было – поискать гнид в волосах. Я как-то вспомнил, а ей передали. «Я не хотел тебя обидеть, – говорю, – прости меня. Я просто вспомнил нашу жизнь до революции». Обиделась!

– А супруга моя?

– Добрее ее нет, – сказал Толстопят. – Хочет поглядеть на тебя. Юлечка ее очень любила. И говорила тоже: «Добрее женщины нет». Солнышко мое трудно было чем-нибудь удивить. Все видела. Но Калерию Никитичну обожала. Сестру Юлечки часто видишь?

– Ни разу. Она в Ницце.

Толстопят вдруг заплакал.

– Не могу, Дема, ходить на кладбище. Мой характер не сахар, ты знаешь, я часто бываю несправедлив, но как я плачу за ней! Я простил ей все романы, которые были до меня, – что романы! летела на ветер сама жизнь...

– Я бы на твоём месте женился. Заболеешь – кто будет за тобой ухаживать?

– А за тобой? – резко спросил Толстопят. – Мы тут часто о тебе разговаривали с покойницей. Как он там? Заболеет – кому он нужен? Кто позвонит, лекарства принесет? За все заплати. «Давай ему, Петя, напишем. Давай напишем. Если сразу не дадут квартиру, мы его к себе возьмем». Она же была ангел, мое солнышко. Вы мне все советуете жениться. Невест полно. У одной пенсионерки трехкомнатная квартира, ковры, сервиз, дети далеко. Другая музицирует, мещаночка. Но на что они мне? Разве могут они мне заменить Юлечку, умницу мою? Я буду вспоминать ее и злиться на новую жену, хоть она и не виновата ни в чем. Белое прошлое я выдираю из себя годами, а прошлое с Юлией унесу в могилу. Ты заметил, из всех моих друзей она тебя выделяла и любила? Она только не понимала твоего поэтического увлечения. Ну, ты уж прости покойнице, ведь ей читал в кафе стихи сам Бунин! Я только не понял, почему вы – она говорила – познакомились не то в Анапе, не то в Геленджике?!

– Она, наверное, что-то напутала... – скрыл Бурсак от друга свое увлечение Юлией Игнатьевной (мадам В.) в 1908 году, как скрывал он и прежде.

То была молодость, все скоро прошло и потом затянулось паутиной прочих связей и влюбленностью в Калерию. Бурсак, когда бывал в гостях у Толстопятов в Париже, смущался даже целоваться с Юлией Игнатьевной при встрече и расставании. Мало ли что случилось на рассвете жизни. Он с годами все больше убеждался, что чувственная Юлия Игнатьевна подходила известному среди казаков певцу Толстопяту гораздо больше. С Бурсаком она бы соскучилась.

– Мне с ней было хорошо везде... – сказал Толстопят. – И здесь у нас быстро образовалось вокруг нее общество. Дамы-музыкантши, профессорши с кафедры иностранных языков, медики. И молодые люди: один выспрашивал нас о «старовыне», хочет написать, он, гляди-ка, зайдет. И чудачки, вроде Лисевичко. Ты помнишь, был такой знаменитый на Кубани болтун, казак из Пашковской, конвоец, Лука Костогрыз? Этот Лисевичкий его двоюродный внук... Добрейший! Он за мной как нянька ходит... Нельзя пропасть на родине, Дементий Павлович. Однако как я

тебя ждал! Попрошу ребят, пусть достают машину, повозим тебя по краю.

– В Каневскую. Интересно, где бумаги моего деда Петра?

– Да в архиве, наверно.

– Когда-то я мечтал сгрести все бумаги и отдать кому-нибудь, чтобы написали историю нашего рода.

– Когда-то! – опять сурово сказал Толстопят. – Когда-то батько мой в форме есаула торговал фруктами из сада. Когда-то мои удалцы из первого Екатеринбургского полка у дам со шляпок цветочки срубали шашками. Не будем...

– Слушаюсь, господин Толстопят.

– В Тамани, когда открывали памятник запорожцам, слепой звонарь говорил мне: «Доктор медицины, профессор латыни, та уси будемо там, уси будемо там...» Так вот, мы еще не там. Съездим, съездим в Тамань! Ах, мой золотой друг, как хорошо, что ты приехал. Че-орт его знает... *Le vin est tire, il faut le boire*¹⁴. «Радость мне-е, – запел он, – и счастье обещала, ты ушла, и жизнь ушла навеки за тобой!»

Они проговорили до четырех утра; спали до двенадцати. Позавтракали и опять увлеклись, Толстопят пересказал «всю эпопею» семилетней жизни в Краснодаре. В шесть часов вечера пошли к Шкуропатской, но не застали ее дома: она ушла в больницу к Скибе.

Встретились они на третий день; встретились как-то бережно, с троекратными поцелуями, с какими-то возгласами, но без всякого волнения и без слез. Уже столько было говорено о встрече до этого в письмах к Толстопяту, и к этому дню чувства их выдохлись, а скорее всего – они крепко отвыкли друг от друга, прожили в своих интересах почти полвека, и, может, ни сожалений, ни боли по поводу старого родства у них не осталось. Истинные чувства всегда схватывают нас в одиночестве, невзначай. Пожалуй, больше всего обратили они внимание на то, как изменились их лица, как постарели телесно. Прошла жизнь, прошла! Седая, плосковолосая, с разбухшими ногами, неторопливая, это ли Калерия Шкуропатская, бегавшая к вагону великого князя? Без нее ли он не мыслил когда-то прожить и полмесяца, а прожил сорок лет? Умирая в госпитале, он воображал встречу трагичней, а все обошлось просто и буднично. Другое время над ними, другой город и чужая младая жизнь толкает их в спину. И задуматься – так совсем рядом жили они, до Парижа два часа лету, это как от Краснодара до Москвы, но сколько препятствий!

Может, помешала их слезам подруга из Ленинграда, низенькая, с большим животом?

Они вошли, когда Калерия Никитична читала ей свое новое стихотворение о космонавтах. Листик из ученической тетрадки лежал на столе, и Бурсак, усаживаясь, пробежал глазами несколько строчек. Его

стихи были гораздо минорнее. Белые лилии, которые он принес ей, Калерия Никитична поставила в длинные узкие (еще материны) вазы. Толстопят кружил по комнате, обозревая развешанные картинки, вырезки, открытки с кошечками и множество фотографий на стене. Фотографии Бурсака не было.

В 1924 году, пересекая границу, Бурсак надеялся, что Калерия не вытерпит «массового энтузиазма» и сорвется вскорости вслед за ним. Увы, она не была женой бывшего помощника наказного атамана. В 1922 году этот генерал подбивал в сапожной на углу Борзиковской и Базарной каблуки. Однажды кто-то спросил у его супруги, кормившейся по дворам: «Мадам, а кто был ваш муж? Говорят, начальник? Он убежал за границу?» – «Что вы! – ответила жалкая на вид, но вдруг возгордившаяся генеральша. – Я бы за хвост лошади уцепилась, чтобы уйти с ним». Калерия Никитична такой преданности мужу своему не изъявила. Да и не было уже между ними любви. Из библиотеки имени Пушкина она перевелась на должность машинистки в ревком, тем и зарабатывала денешки целых десять лет. Не поехала она и к матери в Польшу, а потом в Бельгию. После смерти отца в 1920 году мать приновилась к пожилому инженеру, повезла с ним свою младшую дочь на лечение в Вильню и вихрями событий была занесена в чужую землю. «Неужели мы так уже никогда и не увидимся? – писала она ей. – Пусть хранит тебя Божья Матерь от болезней и всяких невзгод житейских». Но все слова матери и супруга Дементия Павловича в письмах давно потеряли смысл. Она выжила среди утешений и помощи совсем других людей.

Они пришли не вовремя: Скиба лежал в больнице и надо было нести ему передачу.

– Мы охотно тебя проводим! – сказал Толстопят.

– Я пойду еще на Сенной рынок.

– Мы знаем, где находится Сенной рынок.

От Сенного рынка Калерия Никитична, подруга Клава, Бурсак и Толстопят шли по Медведовской улице. Подруга не была в родном городе с 1937 года. Она тайно вела их к своему дому.

Бурсаку после Парижа улицы и дома Краснодара казались деревенскими. Они добрались до здания бывшего Мариинского института, но поглядеть на сад, где воспитанницы любили кататься на «гигантских шагах», не решились. Через Шереметьевский переулок вышли к ограде больницы. Женщины перебивали друг друга.

– У тебя были две длинные темные косы, румянец, черные глаза, ты настоящая южанка. Ты мне часто играла на фортепиано, где оно?

– Мамино я продала в двадцать седьмом году греку Акритасу, он увез в Афины, – без сожаления отвечала Калерия Никитична.

– А в пальцах твоих, помню, такая сила, что, вытирая стакан, ты умудрялась его сломать.

¹⁴ Вино налито, надо его выпить.

– Это правда, – сказал Бурсак.

– И были в твоей библиотеке все сказки на свете.

Мне нравилось, как тебя одевала мама: в волосах бант, короткое пикейное белое платице и светлые башмачки на пуговичках сбоку.

– И ты это еще помнишь?

– В Краснодаре никого из нас не осталось, и я потому все помню. Я около своей калитки набрала земелки.

У ворот больницы Толстопят распрощался:

– Я вас бросаю, господа. Ко мне придет мастер, чинить телевизор. Акиму Михайловичу привет, пусть крепится, поправляется.

– И я тогда пойду, – сказала подруга. – Я забегу к племяннице. Если не вернусь, значит, я у нее заночевала.

– Вечером ждите меня, – сказал Толстопят.

Полчаса Бурсак сидел на лавочке у больничного корпуса, от нечего делать размышлял. Через дорогу, за трамвайной линией возвышался городской сад; на территории больницы торчали над зданиями трубы с радиолокационными устройствами. Могилы первых кошевых атаманов были там, где сейчас играли в домино обитатели туберкулезного диспансера. А поближе к воротам, у самой проходной будки, наверное, покоился с 1899 года его дядюшка Павел, на его могиле тетушка Елизавета поставила часовенку. Почему она не похоронила его на войсковом кладбище? Ах, значит, старость. Ведь дядюшка из того же рода, что и знаменитый кошевой атаман, лежавший рядом с могилами Чепиги и Котляревского. Лука Костогрыз как-то поднимал шум, бегал к наказному атаману. То-то: стар стал Дементий Павлович. Нельзя долго жить за тридевять земель. Выветривается из памяти даже самое кровное. Он взглянул на подъезд, откуда должна была выйти Шкуропатская, но появлялись больные в потертых халатах и в штанах на резинке. Вдруг из того же подъезда мелькнула модная шляпка, и Бурсак жадно глядел, как приближается по дорожке молодая особа. Так игриво, кокетливо и с веселым вызовом ходила когда-то Калерия. Бурсак был бы счастлив, если бы «очарова-ательная» (другого слова его поэтический опыт подобрать не мог) женщина по какому-то сказочному сюжету попросила бы у него пустяковой помощи и потом составила бы ему компанию в прогулках по Красной. Наверное, она почувствовала что-то и поглядела на него с улыбкой и издали оглянулась. Какие предки? Вечный дамский угодник, он только за то, чтобы посидеть с нею вечер на людях, без конца говорить, отдал бы все свои валютные деньги. Только поговорить, полюбоваться глазками, шейкой, мочками ушек и шутя поцеловать нецелованные местечки между пальцев. Своим благополучием за границей не женщинам ли он обязан? Как только нападала на него язва нищеты и отчаяния, тут как тут была добротка. «Во мне похоронено столько тайн, – говорил он во

хмелю Толстопяту еще до войны, – что открывать их невозможно. С каждым ли так?»

«Неужели она была моей женой?» – думал он о Калерии.

– Привет вам от Акима Михайловича, – сказала она, появившись. – Пускай, говорит, бросает он чужие углы, просится домой. Он помнит, как вы ему помогли в трудный год.

– Спасибо и на том. Ему лучше уже?

– После операции легче. Сколько в нем жизни! Опять стихи сочинил.

– В самом деле?

– Все к какому-нибудь случаю пишет. Сейчас о врачах. Он сам говорит: никакой я не поэт, а пишу наболевшим сердцем. Нет надлежащего образования.

– Поэтами рождаются, – изрек Бурсак снисходительно и пожелал вечером почитать Калерии свои стихи.

Их он заведомо ставил выше прочих любительских, а может, выше даже кубанских поэтов, до сборников которых он намеревался добраться завтра же в магазине. Одно стихотворение он пристроил в 1947 году в сборник «Звено», составленный самим Г. Адамовичем, – то было восьмистишие о могиле Шаляпина на кладбище Батиньоль. Его каждый раз при гостях заставляла прочесть последняя жена Бурсака, вдруг как бы нечаянно объявлявшая перед чаем: «Господа! А Дементий Павлович вчера написал новое стихотворение». Бурсак, потакая лжи, тяжело вставал, закладывал руки за спину (остроносое лицо его удивительно походило в такую минуту на бунинское), кашлял и произносил искусственным баритонном первую строчку: «Там, где сияет свод небес...» Еще одно (всего четыре строчки) напечатали в настенном календаре 1955 года; этот календарь он возил с собой всюду. На родину взял он не без умысла рукопись в изящной папке, о чем в удобную минуту наметил доложить Толстопяту и посоветоваться: удобно ли кому-нибудь показать? Бурсак был из тех неглупых в обыденности людей, которых самодельное искусство и страсть им блистать мгновенно превращают в недалеких и пустых.

– Чтобы не забыть... У вас, кажется, выходит какой-то альманах?

Надо в самом деле отвыкнуть, чувствовать себя не очень желанным гостем или виноватым перед городом, чтобы так говорить о месте, где родился и где похоронены все предки: у вас! Шкуропатскую это сперва покорило, а потом она даже пожалела своего бывшего супруга. Вообще он первые часы соблюдал какую-то церемонность, выказывал себя парижанином, человеком другого мира и той России, за чувство к которой он, дескать, столько перестрадал. Тут, на камнях родного Екатеринодара, он вдруг возгордился своим происхождением, тем, что улицу Красную основали Бурсаки, что нынешнюю улицу Комму-

наров старожилы помнят как Бурсаковскую и где-то еще в старой газете 1911 года хоронятся о предках легенды. Калерия (он тоже это чувствовал) молчаливо отстаивала свое: свою сорокалетнюю жизнь с нарядом – в трудах, горестях и свершениях.

– Выходит альманах «Кубань». А что?

– Я написал два рассказа, очень маленькие такие воспоминания, – может, они заинтересуют редакцию?

– Не знаю даже, что сказать... Я так далека от этого... О чем воспоминания?

– О моих скитаниях.

– Дементий Павлович! Вы же должны понимать! Были бы это воспоминания общественные.

Мимо них прошли офицеры с тяжелыми большими портфелями.

– У вас офицерам позволено таскать портфели? А мне снилось перед отъездом: собака не пустила меня на порог родного дома. Что это за ателье? В Париже я заказываю какой угодно костюм... Но кубанской земельки, посыпать на гроб, там не купишь. Мне друзья наказали привезти.

В семьдесят восемь лет Бурсак был стройным, свежим, на лице всего несколько ворсяных морщинок, спина не горбилась, ногти молочной белизны, а серая бабочка под белоснежным воротничком приравнявала его к какому-нибудь американскому конгрессмену. Но любоваться им не давала грусть: жизнь прошла, и чужие женщины стояли между ними, другие города светили им вечерними окнами. Бурсак еще несколько раз бросал в разговор: «А у меня в Париже...», «в Париже нижнее белье носят только черное...»

– Когда умерла тетушка? – спросила Калерия Никитична.

– Дай бог памяти, году в двадцать седьмом. Или в двадцать восьмом? Она умерла в Ницце. На месяц позже великого князя Николая Николаевича, который тоже умер в Ницце. Часто взывала: «Что теперь в нашем маленьком Париже? Кто в нашем доме?»

– За ее дачей на Дубинке вырос новый район, Черемушки. Я, когда после войны уезжала на Север (пенсию надо было получить повыше), очень тосковала по Краснодару. Я не представляю, как можно без него жить.

– Не захочешь, да сможешь, – сказал Бурсак. – Париж – сказка. Пьер пытается меня жалеть, но не хочу лукавить: у меня в Париже есть все, и я смирился.

– Даже так?

– Даже так.

– А я вам не верю. По-моему, вы себя убеждаете в этом. Значит, сильно обижены на что-то.

– Проще. Все проще. Если не видишь чего-то сорок лет, что остается? Какой-то туман. Вот на этом месте ты в тринадцатом году стояла с кружкой. В день Белой ромашки.

– А чуть дальше меня остановила цыганка, и я прогадала ей колечко. В девятьсот восьмом году.

Пятьдесят шесть лет назад. Да, конечно: и люди, если не живут вместе, отвыкают.

– Но родство душ возобновляется при встрече. Когда я вошел одиннадцатого июня в Екатерининский храм, меня тотчас узнал архиепископ Ювеналий. Мы оба вздрогнули! Он был нашим духовником в Париже. Уехал после войны.

– Его ведомство на улице братьев Игнатовых.

– А кто такие братья Игнатовы?

– Партизаны, подорвались в войну у моста. Отец написал книгу «Мои сыновья».

– А вот и мы жили – ну что было о Кубани? Один историк Щербина, которого я не дочитал до конца. Такая история – и ничего. А какие характеры были, – ты ведь помнишь?

– Манечка Толстопят говорила: «У нас на Кубани не было узаконенных великих людей, но были в самом деле великие богатыри».

– И не осталось от казачьего города ни-че-го. Только чертежи прямых, как в Петербурге, улиц.

– Ты просто отвык, Дема, – сказала Калерия Никитична, впервые обратившись к нему на «ты».

– Себя я не хвалю. Чтоб ты знала. Если бы сказали мне, что меня похоронят на старом войсковом кладбище или на берегу Кубани, у Бурсаковских скачек, я бы в последний день своей жизни согласился вернуться.

– Сырая земля всех примет, но люди... – Калерия Никитична сначала посмотрела, не сердит ли Бурсак, и только потом продолжила: – Ведь ты пойми-и, люди пережили голод, войну.

– О да, конечно, я понимаю. А пожарную каланчу давно сбросили? И «Европейской» гостиницы нет. Ничего нет! Когда это исчезает потихоньку на твоих глазах, оно понятно, не замечает. Но у меня перед глазами все так, как было, когда я уезжал.

Видно, он не чувствовал перед нею никакой вины за свое добровольное бегство из города, переключившись на всю горечь «на плечи истории», как он не раз говорил в эмиграции. Шкуропатская же если и думала когда-то (а может, и сейчас) нечто такое, что сокрушало всякие «гражданские», либеральные помыслы бывшего супруга, то не считала нужным превращать свою личную и общественную обиду в злую отповедь. Вылетела птица на волю, ну и пускай, ей так лучше, она чует свою дорогу, держать ее насильно возле себя мало выгоды. А главное в том, что все случилось слишком давно, настала старость, и уже нет времени и желания даже на легкие возражения; ведь яснее ясного, что Бурсак приехал проститься с Кубанью перед смертью. Когда Толстопят передавал ей от него привет, она спрашивала: «Приехать-то обещает?» Что ж, ей хотелось не по одной фотографии разглядеть, как он постарел. И вот взглянула, услышала знакомую, по-старинному растянутую речь его, удивилась

чудесам жизни: это он самый! не призрак! Но все как во сне.

За те полчаса, что прошли они вдвоем по улице Красной и Ворошилова, много кой-чего вспомнилось им, и уголки, перекрестки вдруг поведали им о когда-то важных случаях их жизни. Кого просить, кому молиться, чтобы на минуту хоть, по неписаному волшебству, возвратилась молодость? Бежали мимо куда-то несмышленные дети с цветочками в руках, в обнимку шла парочка влюбленных. Им некогда думать о дне будущем. Вечернее солнышко трепетало в густой листве. В детском магазине (на месте бывшего здания ювелира Гана, где Калерия не раз поджидала под часами подружек) закрывали двери на ключ. Хотелось глядеть вокруг и молчать. И они молчали до самого дома Шкуропатской. Ведь иногда в минуты молчания понятно, о чем думает каждый.

Молчанием на фотографиях объяснила Калерия Никитична своему Бурсаку и всю жизнь свою без него. Дома она подала ему альбом, папки, и, пока она была привязана к кухне, Бурсак все перебирал и разглядывал. У него в Париже тоже хранились альбомы (все больше с европейскими видами, с карточками друзей и подруг). Он долго глядел на фотокарточку работы Сумовского, увековечившую день их венчания; как раз подошла Калерия Никитична, положила ему руку на плечо (в груди как-то потеплело от этого) и сказала: «Это мы с тобой... Помнишь, папа привозил полковой оркестр?»

– Терешка три раза вокруг церкви обвез. Он когда умер?

– Никто не знает. До войны, конечно.

– А еще есть у тебя? Где мы с тобой. И втроем, с Толстопятом. В день Белой ромашки в городском саду. У памятника Екатерине.

– У памятника Екатерине... Отдала Лисевицкому, учителю истории. Много карточек я сожгла. Тогда такое время было.

– Надо кого-то попросить, чтобы нас сняли. Аким Михайлович не будет против?

– С чего же? Он все понимает. Уже совсем другое время, разве мы виноваты, что наши родители были казаками и носили награды?

– Да, да, – вздохнул Бурсак, – уже все другое, и никому до нас нет дела. Другие свадьбы играют.

– Ну смотри, а я еще повожусь там.

– Пожалуйста, пожалуйста. Мне так приятно вспомнить. Я покопаюсь в твоих архивах.

Труженица, она, его первая жена, наполучала за многие годы почетных грамот за доблестный труд и общественную благотворительность; в шкатулках лежали письма со всех концов от знакомых, которых она завела в домах отдыха, санаториях, и Бурсак ревниво отгадывал, перебирая общие фотографии, кому могла она нравиться, кто водил ее, молодую, по дорожкам парков и долго помнил ее. Кызыл-дере, Кисло-

водск, Москва, Тбилиси, Ленинград, Одесса, Горячий Ключ – везде побывала. И на всех изображениях веселая, компанейская, с тайной своего мимолетного счастья, о котором по прибытии домой никому не рассказывают. И еще один альбом, и еще. И тетрадки, папочки. Вот ее детство, юность. Вот ее сочинение по истории в Мариинском институте: «Екатерина II вступила на русский престол в 1762 году». О боже мой, да с тех пор перевернулся весь мир, и учат иначе, и дети иные. Даже страшно подумать, как далеко отстоит теперь Россия их детства.

И еще был у нее длинный альбомчик, *souvenir*, с записями стихов, шуток, пожеланий, самодельных посвящений. На пятнадцатой странице Бурсак узнал свой почерк. Уже тогда он чужое шутивное сочинение выдал за свое?

*Adieu, mon ange¹⁵, я удаляюсь,
Loin de vous¹⁶ я буду жить,
Mais cependant¹⁷ я постараюсь
Jamais, jamais¹⁸ вас не забыть.
Je vous assure¹⁹, что вы мне милы,
Что я люблю вас de tout mon coeur²⁰,
Но почему вы так унылы,
Ведь это портит mon bonheur²¹.*

1910 год

От тетушки Елизаветы:

*Пусть сам Христос Спаситель
Тебя от зла спасет
И ангел твой хранитель
К добру тебя ведет.*

1916 год

Еще страница:

*Незабудку дорогую
Ангел с неба уронил
Для того, чтобы родную
Я, как ангела, любил.
(Писал поэт, у которого фамилии нет)*

А вот и опять его почерк:

*Охотно б тебе на головку
Я руки свои возложил,
Прося, чтоб Господь тебя вечно
Такою прекрасной хранил.*

1917, август, Бурсак

¹⁵ Прощай, мой ангел.

¹⁶ Вдали от вас.

¹⁷ Но однако.

¹⁸ Никогда, никогда.

¹⁹ Я вас уверяю.

²⁰ Всей душой.

²¹ Мое счастье.

Бурсак волновался, вспоминал, погружался в какой-то туман, в каждом стихотворении искал следы дружбы, встреч, праздников, грусти, снов, подражаний тем, кто уже пожил и все познал. Если бы составить оглавление, оно бы даже первыми строчками рассказало о чувствах писавших: «Перестань, замолчи, мне о счастье не пой...»; «Слыхала я, что белый свет одною дружбою прекрасен...»; «Ангелом назвать не смею, нету крылышек в плечах...»; «Мне не жаль, что тобою я не был любим...»; «Судьба горемычная, злая меня разлучила с тобой...»; «Я помню все, и голос нежный, и ласки, ласки без конца...»; «Я умереть хочу весной, с возвратом радостного мая...» и т. д.

Но начинала альбом Елизавета Александровна Бурсак, ей он принадлежал, и она-то подарила его Калерии. Всего одну страницу заполнили тетушке гости:

*Все прошло, не вернуть,
Все забыто давно.
И волнует мне грудь
Чувство грусти одно.*

*Маскарад 1888 год,
Рождество Христово*

В конце на корочке уже чья-то старческая рука написала: «Рецепт приготовления кваса – на три ведра кипятку взять десять лимонов, порезать и непременно вынуть косточки. Положить туда же семь фунтов сахара и полфунта изюма». И т. д.

И сохранилась полустертая (пальцем, видать, 111 стирали) запись самой Калерии:

«24.VIII.18 – 12 часов ночи. На дворе тихо, темно. На Кубани лягушки квакают. На душе жутко, на лампе нет стекла, на постели нет одеяла...»

Что это?! Где был Бурсак? Не вспомнит. Так проходит слава земная.

– Ни в каком романе не описать нашу встречу, – сказал Бурсак, когда ужинали. – Прости меня, ради бога.

– Ну что ты, что ты... – не дала ему воли терзаться Калерия Никитична. – Выпей.

– Не для того прошу, чтобы ты оправдала меня... а... понимаешь меня?

– Понимаю, понимаю! Я тут часто жалела тебя: где он там скитается по чужим дворам? Дома бы уже председателем коллегии адвокатов был.

– Да разве в этом дело? Честно говоря, я думал когда о нашем свидании, то боялся, что ты, может, и видеть меня не захочешь.

– Почему?

– А рассказывали мне в Париже... Бывший офицер из Костромы приехал года два назад в Россию. Там, в Париже, у него дети от другой женщины. Он уже решил проситься домой совсем. Дети тотчас же от него отеклись: «Чего тебе ехать к босякам? У нас, в Париже, все есть, а у этих босяков никогда ничего не

было и не будет!» Едва не подрались – так отец замахнулся на них, оскорбленный. Им чего, они французы, русского языка не знают. Поехал он сперва туристом. Бывшая жена не вышла к нему. «Зачем он мне нужен?» – сказала. Может, она права, кто знает. Его фамилия Позднеев. Всегда говорил: «Позднеев, но писать надо через «ять», только через «ять». Я кацап, великоросс!» И умер в Монтаржи, в доме престарелых. А у тебя ангельское сердце. Аким Михайлович понимает, что ему повезло?

– Мы живем с ним дружно. Он такой честный, обо всех заботится. Я не преувеличиваю. Если бы все такие были, как он, давно бы коммунизм построили. Ты б посмотрел, что он сделал в музее! Всех героев разыскал, их документы, фотокарточки, воспоминания о них, у кого квартира плохая была – он тут ходил к самому большому начальству, его принимают, потому что он на трибуне стоит в день демонстрации. А не так, то в «Правду» напишет, не побоится. Человек хоро-оший. Не зря же его Федосья спасала. Когда ущемляли в двадцатые годы, он с милицией ходил по дворам, то, говорит, ни одной серебряной ложечки не взял себе, ни одного шерстяного отреза. Я ему верю! А по плавням сколько полазал, бандитов вычищал.

– Да... – только и сказал Бурсак.

– Вот так. А у тебя там никого нет?

– В Ницце сватает меня одна старушка. Дочь бывшего русского посла в Голландии. Но я привык один. Ты провожала меня в двадцать четвертом году до угла. Поздний вечер, туман. Я шел и оглядывался, а ты все стояла, – помнишь? «Уж в этой жизни мы больше не встретимся», – словно кто-то шептал надо мной.

– Так, видно, суждено было.

Бурсак перевернул страницу альбома, остановил взгляд на фотографии молодой женщины в широкой шляпе с перьями, невысокого роста, глазами похужей на Калерию.

– Давно умерла мама?

– После войны. В Париже. Девяноста лет от роду! Писала: «Прожила в стране, где не с кем мне говорить; каких бы сказок не рассказала тебе о своей жизни, если бы увиделись!» Зять ее невзлюбил, называл ее – она. «Дожила до того, что даже дочери родной мешала. Чем жить? Не жить же интересами ее бесконечных романов? Гадать ей на картах?» Но главное – зять. А ведь мама отдала им все золото, когда им было трудно. «Если б я знала, – писала мне, – что я даже на пять лет расстанусь с тобой, я бы не поехала никуда». Писала еще: «Я расскажу тебе, почему вышло так, что я рассталась с тобой». Да так и не сказала. Вспомнила перед смертью романс, который они пели в молодости: «Вот близится утро, румянятся воды». Мне советовала: если судьба не пошлет какого-нибудь «принца», то, может быть, пошлет хорошего человека, а это, пожалуй, лучше, чем принц. У меня был хороший муж, но погиб на войне.

– Как же мы не видели твою маму?

– Но она же долго жила в Бельгии. Это она умерла в Париже. Сестра и сейчас там. Расстались мы молодыми и вот после переписки решили встретиться.

– Все же переписывались?

– В войну прервалась, а потом я ее снова нашла. Для меня переписка с ней, ее жизнь там, в чужом миру, была каким-то мифом, далекой сказкой, с годами тем более... Всех потеряли, постарели и стали как-то ближе, душевнее друг к другу, ласковее. Она где только не была: в Персии с первым мужем, в Индии со вторым; потом вышла за француза, родила сына, у которого почему-то было тройное имя – Михаил-Борис-Франсуа.

– У французов так.

– Разговаривала с ней как-то по телефону, услышала ее быстрый голос, решила поехать. Назанимала денег, купила ей в Москве каракулеву шкурку (она просила для шапки), вышила дорожку, подушечку и портрет казачки, взяла несколько баночек черной икры и две бутылки водки (больше нельзя, учти). Да шоколадных конфет, да две-три книги о Кубани с видами побережья. Конечно, мои подарки были скромными. С собой больше ничего такого не взяла. Я ни минуты не думала, что могу не вернуться на родину. Она меня встречала на Северном вокзале с плакатом: «Шкуропатская». Обнялись. «Ты довольна, – говорю, – что видишь меня?» – «Лерочка, я счастлива!» Всю ночь мы с ней разговаривали. Утром поехали в наше посольство. У меня была виза на сорок пять дней, но потом я осталась еще из-за ее болезни.

– И ты довольна, что съездила?

– Как тебе сказать, Дема... Она, как мама в моем детстве, входила ко мне перед сном, желала спокойной ночи, крестила и целовала меня, а расстались мы чужими. В одну из ласковых задушевных минут, на сон грядущий, я спросила ее: «Поехала бы ты в Россию доживать свои дни?» Она сурово глянула на меня: «Я от своих близких никуда не уеду!» Мать – это понятно, могила ее там, а остальные? Дети сторожат ее драгоценности. У нее индийские столики, китайские сервизы, ценности в сейфе (она их мне так и не показала). Мне она в первый день подарила три шерстяных тонких кофточки, полотенце махровое, ночную рубашку и перед отъездом дала пару старых платьев, демисезонное пальто, которое она не носила.

– Изменилась?

– Не узнать! Одинокая какая-то, всего боится: мне хотелось повидаться с русскими, у меня было несколько адресов, – она меня не пускала. «Не надо никаких русских! Я за тебя ответственная, я боюсь за тебя, ты понимаешь? Я знаю старых русских, а теперешних русских я не знаю». Я ее не понимала. И одну русскую я встретила в магазине, – она прямо кинулась обнимать меня и говорила, что в моем лице она целует родину своего отца, донского казака.

– Мне это знакомо, – сказал Бурсак, – французы любят комфорт и наших научили. Француженки устраивают свой очаг, хранят старинные родовые вещи, занимаются своей внешностью. Любят хорошо поесть... и чужую постель.

– Гостей водят в кафе, в ресторан – меня это удивляло. Вспомни, как у нас принимали гостей дома. Сестра переродилась. Было, как мне показалось, тяжелое подозрение на меня в пропаже ее кошелька. Вдруг нет кошелька! Она дает мне бумажку в сто франков, я пошла, купила что надо и еще походила по рынку, посмотрела товары, запоминая цены и прикидывая, что я на свои деньги смогу купить домой. Вернулась, отдала ей покупку и сдачу. Она спрашивает: «Где ты была так долго? Я ходила тебя искала, не нашла, молока купила! А кошелек нашла в кухне, лежал на твоём месте». Я удивилась вслух: «Почему на моем месте кошелек, почему не сказала, что молоко еще надо купить? И еще бегала меня искала?» Непонятно мне было, необъяснимо как-то это нахождение кошелька на моем месте. Мелочи, но они оставили у меня в душе неприятный осадок. Свои деньги я расходовала: когда приехала, отдала ей на дорожные расходы. Покупала и продукты. Ей принесли налог на триста франков, она ахала, охала, жаловалась на платежи. Я отдала ей двести пятьдесят франков. Она обрадовалась, сказала, что вернет. Я ее отговаривала: не надо. Я вела дневник, и вот на прощание она мне говорит: «Я не хочу, чтобы твои знакомые знали, я верну тебе деньги, а ты запиши это в дневник». И она выкинула на тахту франки. Я расплакалась. Я сто шестьдесят восемь франков не успела израсходовать, зачем мне ее долги? Я ее на вокзале поблагодарила за все, но она молчала. Я обняла ее, прижалась к ней последний раз – к такой замкнутой. Она показалась мне жалкой, одинокой, такой старой. Она покрестила меня, что-то прошептала. И когда вагон тронулся, я почувствовала облегчение: что-то грустное, горькое кончилось. Слава богу, что я еду домой, на Кубань. Теперь мне будет легче. Так я съездила. Осталось одно какое-то жалостливое чувство к сестре.

– Мама про тебя, помнишь, как говорила? «У нашей Калерии много фантазий».

– В письмах спрашивала: не очень ли ты, детка, устала вести образ жизни сестры милосердия? Она, видно, вспоминала случай в Хуторке. Мы детьми как-то шли гулять, и кто-то наступил на цыпленка. Я схватила этого цыпленка и побежала назад. Взяла иглу и стала зашивать цыпленку живот. Мне было восемь лет.

– Ты всегда была ангелом. Я бы много потерял, если бы не повидал тебя, – сказал Бурсак улыбаясь и положил руку на грамоты, которые его бывшая супруга заработала без него. – Ты узнаешь меня?

– Еще бы.

Нет, никакая она не бывшая, это все та же Калерия, к которой он ездил в 1912 году в станицу и которую воображал вдалеке. Родство восстановилось легко. И только одно проклятие висело над ними: старость, приближение конца. Ну и чувство потери.

Они выпили по рюмочке.

В 1910 году он шутил с ней: «Pouvez-vous faire mon bonheur éternel?»²² Она уезжала в Анапу. И он так ждал ее оттуда, так ждал! Она послала ему с песчаных дюн Бимлюка пять писем, в каждом несколько строчек, и ни слова о том, когда она будет в Екатеринодаре. Он проводил бессонные ночи. «Где ж ты, моя милая? – вопрошал он в потемках. – В Анапе? В Джемете? В Сукко? Вспоминаешь ли наше ночное крыльцо?» Крыльцо! Они в полночь забрели в заросший двор Швыдкой, уехавшей на вечное моление в Марие-Магдалинский монастырь. Пароходом «Удобный» они приплыли в сумерки из Хомутовских мостиков. Почему-то даже городских не было на углах и извозчики проезжали редко. А все уже сузилось от пышных ветвей по улицам, шатрами покрыли дворы высокие деревья, лесная тишина таилась у окон. На Старом базаре лишь, в трактире Баграта, хлопала дверь. Что заставило их после прогулок идти в этот дворик? Они тотчас заметили, что ставни дома закрыты и дверь забита доской. Значит, никого нет! Можно посидеть на крыльце. Крыльцо, спереди и с боков, было опутано ветвями. Он сел на скрипучий венский стул, она – к нему на колени. «А мне в четыре утра надо быть пред светлыми очами маменьки и папеньки», – сказала она.

Он входил туда, где они были как-то вдвоем целые сутки, глядел на уголки, где она сидела, лежала с книжкой, валился на диван к подушке и шептал: «Ты мой ангел, приди ко мне на крыльцо». Почему жгло его предчувствие неминуемой потери? Когда она грянет: завтра? Через год? Через десять лет?

- Я подолью тебе немного?
- Это еще мамины рюмочки?
- Бабушкины. Чистое серебро.
- У меня в Париже ложечка твоя есть...
- А кольцо?

– Кольцо потерял. Петр Авксентьевич, наверное, беспокоится. Куда пропал, скажет?

– Он придет за тобой. Он так изменился после смерти Юлии Игнатьевны. Стал чаще ходить к нам. Я и не знала, что у них было тогда в Петербурге. Из-за связи с ней его и выгнали из конвоя.

– Красивый казак был! Разве ты не помнишь, как екатеринодарские мамы боялись за своих дочек? «Ты была с Толстопятом?!» А отцы и того пуще. «На! – подает веревку. – Вешайся заранее». Да где они все? Надо сходить на войсковое кладбище, целы еще могилы, памятники?

– Кое-что есть. У атамана Рашпиля плита целая. Кладбище закрыли. Через несколько лет ухаживать за могилами будет некому, и кто-то прикажет: снести!

– А какое кладбище в Париже! Какое кладбище! Пантеон ушедшей России. Мне уже там места нет. Где-нибудь в Монморанси.

– А чего бы тебе не попроситься домой?

– У меня там пенсия. Нас там много таких: тоска великая, а не едем. К кому ехать? Я думаю, что город детства, по мере того как умирают старшие, родные, близкие, соседи, становится все более чужим. Это уж город поколений, наступающих нам на ноги.

– Но в Париже так же.

– И в Париже, конечно. Везде. Но на родине, где у детей и внуков не встречается ни одной старой казачьей фамилии, мне было бы еще печальней. Не скажешь: «Вы сын Келебердинского? Внук Канатова? Дочь, внучка, правнучка Поночевного?» Как это трагично! Ты не находишь?

– Я не думала об этом. Или думала когда-то, да привыкла. Выпей еще, оно легкое.

До глубокой ночи отпивали они по несколько глоточков к тосту и разговаривали о том о сем... Мы не беремся передать их тот близкий, особо задушевный разговор. В родстве, в товариществе, в семейных союзах, в старых отношениях бывают часы, минуты, в которые никто не посвящается, – оно и не нужно. Должно же, любила повторять Калерия Никитична, что-то оставаться и для себя.

Кто-то вдруг деликатно постучал в окно с улицы. Калерия Никитична, тяжело переступая на толстых ногах, вышла и сняла с двери крючок.

– Уже третий час ночи, господа мои, а вы и не думаете спать?

– Пе-етр Авксентьевич... Вы меня напугали.

Толстопят, какой-то нарядный, в костюме, в галстук (настоящий ухажер), хозяином вошел в комнату, поклонился, точно со сцены, своему другу, упер руки в бока. Оба они выглядели намного моложе своих лет. Страдали, тосковали вдали от земли кубанской, но ведь не сидели в окопах, не мокли в болоте, не спали на снегу и не рыскали по лесам с партизанским отрядом. Тридцатые годы не вынуждали их жевать сладкий корень, лепешки из лебеды и щавеля.

– В Париже еще только одиннадцать, – сказал Бурсак.

– Если бы не отборочный матч на первенство мира, я бы уже уснул. Хватился: где он? Как-никак гость. За Терешкой не пошлешь.

– Кто играл?

– СССР – Дания. Долбанули! – как теперь говорят. Мы их долбанули. Последние известия прослушал. Завязли американцы во Вьетнаме. Бомбят мирное население. А все же не умеют воевать! Русский солдат за два месяца бы справился.

²² Можете ли составить мне счастье навеки?

Толстопят сел у стола, раскрыл альбом, поглядел на фотографию молодого поручика, сложившего на тумбочку руки с большими чистыми ногтями. Перевернул, прочел надпись: «28.II – 18.VIII 1918 года, Екатеринодар – Георге-Афипская». Подумал о чем-то и захлопнул с треском, словно распрощался еще раз с далекой историей.

– Милая наша хозяйюшка! Ты устала? Ложись ты спать, а я поведу молодого человека к себе.

– Куда торопитесь?

– Только в рай, только в рай, – сказал Толстопят. – Так, господа! Не было дня на земле, чтобы кто-то не умер.

– Я вспоминала недавно, Тхоржевский, переводчик Омара Хайяма, хорошо написал: «Легкой жизни я просил у Бога. Легкой смерти надо бы просить».

– Вот именно, – согласился Толстопят.

Бурсака что-то толкнуло, он величаво поднял руку вперед и натянутым голосом прочитал четверостишие:

*В кружевах наших слов умирают земные обманы.
Из мерцающих звезд в облаках вырастают*

дворцы.

*Мы одни в нашем царстве, в волнах серебряных
туманов,*

Среди старых легенд мы с тобою одни.

– Это я написал в прошлом году на вокзале Сен-Лазер, когда ждал поезда.

Он солгал, и ему почему-то хотелось солгать, похвалиться своим вдохновением, впечатлительную душою, не заглухой, мол, во многих страданиях, и поскольку ради своего поэтического престижа он лгал часто, то запомнил, что четверостишие это, переделанное из строк умершей в 1925 году в Сербии бывшей донской гимназистки, он уже читал при Толстопяте одной известной даме с горностаем, и было это в Барселоне, где Толстопят пел два вечера в казачьем ансамбле.

– Отсталый человек, ничего не соображаю в стихах, – сказал Толстопят. – Чувствую только, что не Пушкин и не Лермонтов. Зато у меня был голос! «Ныне отпускаеши раба Твоего...» – запел он. – Я забираю поэта к себе, наша красавица; отдохни немножко. Уже светает...

Но Толстопят еще подсел к фортепьяно и тихонько пропел вечно любимый пророческий романс Нежальской:

Счастье мне и радость обещала, –

Ты ушла, и жизнь ушла навеки за тобой...

Никогда жизнь не кажется такой мирной и кроткой, как в те часы, когда спит большой город, да еще город родной, где столько недоразумений нарастает за век,

столько разлук и печалей нападает на нас. И больше всего любишь людей, уголки улиц, всякие окошечки и фронтоны именно утром, на серой заре, в улегшейся за ночь тишине. Именно утром возбуждается желание пожить еще некий срок, что-то успеть, кому-то из родных помочь, поставить на ноги детей, завершить свои интимные дела. В бессонницу, за беседой с другом или так вот, как провели ночь эти старые екатеринодарцы, вовсе расширяется твое чувство, и, когда идешь домой, к постели, чего-то в этой жизни жалко немножко, в жизни, такой короткой и такой все же чудесной, – она ведь не повторится.

Бурсак и Толстопят шли медленно. Над ними, где-то в зеленых верхушках акаций и еще выше, словно звучала, покрывала собою всю окрестность какая-то волшебная, классическая музыка, слышимая внутренним вниманием, и была ли то музыка утрат, прошедшего времени, нашей любви ко всему живому или одинокой радости – уточнить было нельзя, да и зачем? Сколько на свете невысказанного! И это самое, может, лучшее, самое дорогое, чем мы жили.

Сперва они молчали, потом изредка кто-то один ронял слово, другой так же кратко отвечал ему, и снова они шли и просто глядели. Молча же постояли они перед Доской почета в Ворошиловском сквере. Бурсак подумал о давнишних своих встречах на этом тротуаре с Калерией, а Толстопят вспоминал последнюю прогулку с Юлией Игнатьевной, когда она ему напомнила о молитве в 1919 году. Потом они как-то незаметно попали на улицу Ленина, и у самого угла улицы Шаумяна, несколько шагов дальше к Красной, Бурсак толкнул Толстопяту и кивком головы указал на овальное окно второго этажа. Не спала какая-то старуха с черными бровями, повалилась на подоконник и глядела вниз. То была та же старуха, которую видел Лисевичкий на рассвете, когда возвращался от Верочки.

– Интересно, о чем она думает? – спросил Бурсак.

– Не о нас, не о нас. Прошли, скажет, какие-то приезжие. Я ее не первый раз вижу. Может, наша ровесница. Может, знает, что были на свете Бурсаки. Не понимаю, зачем тебе ехать назад в Париж. Как это дико!

– Ну а что же мне делать? Ты успел вскочить в свой поезд, а я прозевал. У меня там две пенсии. В Париже я с вечера заказываю обед на завтра. А здесь что я буду делать? Кому я здесь нужен?

– А там ты ну-ужен... Аким Михайлович уже тяжелый, долго не протянет. Вернешься, и будете доживать с Калерией... Чего уж теперь. Страницы жизни перевернуты...

– А раз так, то и тебе я привез... это не сюрприз... это называется... Да вот сейчас придем, покажу...

Дома поставили чайник на плитку, открыли окно. Толстопят со вздохом повалился спиной на постель, подложил под затылок любимую думочку Юлии Игнатьевны; Бурсак, чувствуя, что друг не забыл его обе-

щания, распустил на чемодане ремни, поднял крышку, что-то долго перебирал.

Наконец вынул длинную книгу, обернутую бумагой с цветками, но прежде, чем протянуть ее Толстопяту, зацепил ногтем страничку, отвернул и прочитал:

– «14 октября 1921 года, в день Покрова по старому стилю, наша семья, состоявшая из шести человек, погрузилась в Константинополе на Пароход, предоставленный Красным Крестом для русских беженцев...» Интересно?

– Странный ты какой-то, братец Дема, черт тебя знает... Почему это должно быть интересно? Роман, что ли? Я романов не читаю.

– Маленький роман о любви. Пять страничек.

– Ты меня чем-то разыгрываешь...

Бурсак отлистал четыре странички, опять прочел:

– «Мир праху его. И. К. Сафьянщикова». Говорит тебе что-нибудь эта фамилия?

– Сафьянщикова? И. К.? – Толстопят поднялся с постели. – Сафьянщикова... Не та ли? Я дал ей три года назад отповедь в нашей газете «Голос Родины».

– Сафьянщикова по мужу, а девичью не знаешь?

– Откуда же мне знать? И зачем?

– Сафьянщикова И. К.

– Уж не помню, мой друг, прости, пожалуйста. Из Аргентины?

– Да, сейчас она там. Что же ты написал в «Голосе Родины»?

– Я им всем писал, – сказал Толстопят жестко. – Она опубликовала статью в «Новом русском слове». Мне в Москве показали. Статья – одна брань. Ну как брань: все в России опустилось, опростилось, ехать туда, мол, незачем. Я подскочил: ка-ак? Опять?! Ставлю заголовок: «Почему я пересмотрел свои взгляды». И написал: не слушайте злых языков! Обиду на Родину никогда нельзя иметь. Это Родина-мать. Я провел на чужбине сорок лет и вернулся по велению своей совести, и мне, блудному сыну, простили былые заблуждения.

Бурсак слушал внимательно и настороженно.

– Так.

– Я не принял иностранного подданства, – продолжал Толстопят, накаляясь, – а мог бы. Все мы были беспаспортными беженцами, и от нас часто шаркались, как от зачумленных.

– Ну, это ты чересчур.

– Как же чересчур, как же чересчур, братец? – Толстопят даже вытянулся вверх. – Да я же помню двадцатые годы.

– То двадцатые. Как бы то ни было, Франция дала нам кров.

– Спасибо, – поклонился Толстопят. – Но я написал нашим: довольно скитаться! Я живу здесь не по милости, а по праву. Мне не надо сострадать, я и без того доволен. Жил за границей, сам себя наказывал. – Толстопят вспомнил про чайник, вышел; Бурсак про-

шелся за ним. – Еще я написал: мне сейчас смешно вспоминать те предсказания, которыми напутствовали там. Возвращайтесь домой! Живут и никогда не умрут наши народные обычаи. Возвращение на Родину – ни с чем не сравнимое счастье. Зачем терпеть, чего ждать? Вздохнуть по прошлому, даже если оно у вас было безоблачным, сейчас поздно. Если есть еще соотечественники, которые говорят: «А что нам дала Россия? Нас отвергли», то их мало, они холодные эгоисты. Они рассуждают так: «Да, мы жили в старой России, и жили хорошо». Одна дама, когда мы уезжали, вырвала у моей жены сумку с деньгами и кричала проклятья. Она, верно, и сейчас сидит у входа в русский магазин и как будто просит милостыню. Но она не нищенка. У нее фабрика. Ее родным детям страшно, что мама еще говорит по-русски. Что хорошего?

Бурсаку хотелось перебивать Толстопяту, но он знал его вспыльчивый нрав и, чтобы не доводить друга до крика, отвечал ему взглядами.

– А как, Петя, зачеркнуть годы, прожитые в эмиграции? Там тебе не было легче?

– Дело не в том, Дема, где легче, а в том, где ты чувствуешь себя дома. Там, где был наш Панский кут с «Яром», где мы с тобой кутили, теперь свалка. Может, оно и правильно.

– Ну хорошо. Я приеду. А с кем жить? Города моего нет, никого нет. Все другие. И чужие, как в Париже.

– Бог тебе судья. А коли уж я русский, то слова Петра Великого помню: «Кто к знамени хоть единожды присягал, тот у оного до смерти стоять должен». Трехцветное российское, красное советское – все одно знамя Родины.

Бурсак молчал. Но в запасе у него был удар, и этот удар он привез ему в чемодане. Книга в обертке все еще была в его руках.

– Вот это все я и написал. И еще, и еще другое. Я им напомнил о Шульгине²³, принимавшем как-никак отречение царя, он сейчас живет и здравствует во Владимире. Разочаровался в белом движении давно. Я, говорит, не видел в нем ни одухотворенной идеи, ни смысла, ни справедливости. За что мы боролись? За сохранение своих классовых сословий и имущественных привилегий? Это Шульгин!

– Наверное, вынудили сказать.

– Да не-ет, – засмеялся Толстопят, отмахиваясь и жестом унижая друга, верившего в ежеминутное насилие в родной стране. – Не-ет! Поезжай, поговори. От Москвы близко.

– Мне кажется, Петя... Мне все-таки кажется... извини меня... мне кажется, что, как только русский оттуда переступает границу (на восток), он говорит фальшиво уже на другой день. Его что-то стесняет.

²³ В. В. Шульгин (1878–1976) – монархист, член Государственной думы, после революции белоэмигрант. Умер на родине.

Бурсак говорил и побаивался Толстопята. Побавался его страшного гнева, которым славился тот все сорок лет за границей. И даже в молодости. Но Толстопят улыбнулся.

– Ты у меня в гостях, Дементий Павлович. Печально, но ты, Бурсак, твои деды в кошевых атаманах ходили, приобретали эту землю, а ты в гостях... а-ах, как мне тебя жалко. У меня характер скверный, боюсь обидеть тебя. Но ты знаешь кто? В чем твое горе, трагедия, знаешь?

Толстопят минуты три только качал головой. Бурсак невозмутимо, даже победоносно ждал банального обвинения. Но слова Толстопята стали для него новостью.

– В чем?

– Не обидишься?

– Мы старые друзья.

– Мы старые друзья. Ты добрый, честный, но ты, Дементий Павлович, вечный либерал. Как писали про вас в «Новом времени», такие вы и нынче.

– А ты, кажется, все еще монархист.

– Я Толстопят! Я всю жизнь проигрывал, на фронте с турками (как мы их ни били), я подавал заявление во французскую армию, а они сдали немцам Париж. Я казак, а с самостийниками разминусь, и меня ненавидели. Но я вернулся домой, и это все... Я был в пекле, а вы, мои умные беспочвенные Милюковы, всю жизнь только рассуждали и кривили губы... Ваша участь – быть всегда чем-нибудь недовольным. Я бы раздраконил тебя, милый мой, да ты у меня в гостях. В гостях, боже мой. Бурсак в гостях. Даже мне тяжело. Че-орт тебя знает! В доме для престарелых в Монморанси он хотел бы умереть...

– Хотел бы здесь...

– Так давай умирать! Рядом положат. И от батьки будем недалеко, они на старом войсковом. И тополя какие высокие. Так давай... Ну что тебе этот Париж? Он, конечно, сиреневый, ему нет равных, но наш, маленький, лучше, главное – родней. «Ныне отпускаеши раба Твоего...» – запел Толстопят вдруг, взмахнул руками и сел. – Шульгин правильно написал из Владимира эмигрантам: «Моим домом будет этот, хотя его больше уже и нет». У меня есть вырезка из «Известий». И Толстопята того уже нет. Приехал – значит, хотел быть своим. Никогда не кривить душой. Меня тут опекает Верочка Корсун. И вот гуляли мы с ней, гуляли по городу и зашли на Екатеринодарское кладбище. И там я ей вдруг рассказал о том, что себе самому запретил помнить. Никто этого, кроме меня, во всем городе не знает. И в Париже уже никого нет из посвященных. В двадцатом году, мой друг, перед уходом белых, вызвали двадцать пять высших офицеров и почему-то меня в их числе. Показали нам на листочке чертежик. На чертежике указано место, куда из Екатерининской церкви перенесли прах генерала Алексева. «Вот, смотрите, изучайте, запомните. Когда бы вы

ни вернулись в Россию, вам, кому-нибудь, может, последнему, придется указать могилу вождя Добровольческой армии. Она здесь». Листочек на наших глазах порвали. Могила в правом углу кладбища. Я не искал, хотя я как раз остался последний. Но я приехал, Дементий Павлович, не на поминки генерала Алексева.

– Тогда прочитай... – Бурсак шлепнул книгу на стол. – Хроника одной московской семьи. Но читай сначала то, что тебя касается... Страница сто шестьдесят...

– С удовольствием...

Их уже нет

Я все позабросил, бумаги свои засунул в нижние полки шкафов, ездил по станицам и писал в наши газеты статейки об урожае, о бригадирах и председателях и как ветхий сон вспоминал свое увлечение кубанской стариной. В прошлом году ко мне подошла на улице Красной нарядная Верочка, такая веселая толстущечка с черными ресницами и намазанными ободками под глазами, и заплотшно, радостно заговорила со мной, сказала, что она уже целый год думает передать мне одну новость, да все как-то не было случая. Летом 1969 года она плавала на теплоходе с туристами вокруг Европы, и в Югославии на пристани у нее была встреча с казаком-эмигрантом, уже стареньким, седым, трясущимся от нездоровья. Он громко спросил: «Нету ли кого-нибудь с Кубани, со станицы Пашковской?» С Кубани в группе было десять человек, но они уже забрались в каюты или бродили перед последним гонгом по палубе.

– Я уже не вернусь на родину, – сказал он ей, заплакав, – скоро умирать, у меня семьи нет, а друзья в могиле, так я вас попрошу, если вы мою просьбу выполните. Я принес тетрадочку с воспоминаниями, отдайте ее в музей, может, кому понадобится когда. Я казак станицы Пашковской, у меня там сестра, она малограмотная, писем от нее нету, может, умерла. Моего деда Луку знала вся Кубань...

И Верочка взяла эту тетрадку Диониса Костогрыза, и я ее прочитал в архиве.

В 1971 году я снова стал перебирать свои бумаги. Как-то после тяжелого сна сидел я не одетый в кресле, пил чай, курил и долго глядел на старинную фотографию петербургского мастера, которую приставил накануне к лампе Лисевички. «Попросите кого-нибудь переснять, – сказал он мне несколько раз, – чудесная пара! Жалко, нет фамилии». Он горланил в моей комнате до часу ночи и, как я ни упрашивал его сбить свой голос до шепота, не смог совладать со своим темпераментом. В семь утра он позвонил: «Доброе утро, драгоценный мой. Ну как, помогла вам хоть немножко моя фотография в вашей работе?» – «Странный вы человек, Юрий Мефодьевич, ведь я ночами не пишу. Я же говорил вам, что все выбросил, сжег». –

«Какое горе, это может сравниться только с моим пожаром, ведь я горел, знаете?» – «Знаю. Вы горели в шестьдесят третьем году». – «Вы правы».

С фотографии смотрели на меня двое, еще не потасканные жизнью, и они были моложе меня. Но их уже давно не было на свете.

Мне кажется, по огромной стране нашей много людей сидело так-то вот перед старыми фотографиями и чувствовали то же, что и я: а их уже нет, никого нет на этой земле!

В прекрасной черкеске кубанский казак, чтобы сравняться головой с головкой супруги, склонился на локоть к высокой резной тумбочке, а она в бархатном длинном платье с нашитыми на груди и на рукавах кокетками стояла чуть-чуть сзади. Лица их были счастливыми и привлекательными: у него живые круглые глаза, загибающиеся усы, гладкие, точно приклеенные, волосы, круглым листиком свернувшиеся надо лбом; у нее патриархально-покорное лицо молодой жены-провинциалки и уложенная на голове коса. Она, казачка, еще не избалована Петербургом, ее приведи в гостиную – она растеряется и за весь вечер не проронит слова, но все заметит верно и потом скажет мужу; он, службой приученный к придворной толпе, гораздо смелее жены.

Не у кого спросить, кто это.

Да, кто они, из какой станицы, какого года рождения, кто их родственники? Может, я не раз встречал его фамилию в послужных списках? А из чьей семьи она?

Не к кому понести фотографию.

И что с ними стало? Отслужил ли он до войны или его бурным ветром снесло, как листок, на юг в перевороченный город? Погиб ли он сразу или уехал из Новороссийска навсегда? Казалось бы, зачем знать и спрашивать? Но так же гляжу я на любую фотографию, на лица людей, которым не было дела до нас, еще не родившихся, но которые нам загадочно интересны...

На другой фотографии красноармейцы хоронили в 1919 году своего товарища. Подписи не было. Пока я читал о них, они были живы, были со мною: служили, женились, ходили на базар, воевали, писали жалобы. Все кончилось.

Но что! То незнакомые люди, я их никогда не видел.

Нету уже и тех, кого я слышал, с кем здоровался за руку.

Иду ли мимо дворов, вытащу ли письма из папки, переверну ли записи – я думаю: их уже нет, их никого нет! Они там, где «несть ни печали, ни воздыхания».

Нет какого-нибудь мужичка, читавшего псалмы над покойником, говорившего мне, что в их курской

деревне любому прохожему давали ночлег. Нет казака из станицы Пашковской, все певшего гостям «Прощай, мой край, где я родился». Висит у вдовы извозчика Ляхова хомут, который Терешка надевал на шею своей лошади, – самого Терешки давно нет, и в прошлом году не стало Ляхова. Нет добрых екатеринодарских женщин, ходивших на войсковое кладбище убирать могилы отцов и старших братьев, погибших в японскую и германскую войны; нет порою тех, кто приходил на могилы войны последней. Вчера еще, кажется, я бродил по улицам среди людей, которые ограждали меня живой стеной у того скорбного края жизни, куда клонится все живое; нынче их нет, и край тот стал ближе.

Нет Акима Михайловича Скибы. На 50-летие советской власти он в числе немногих старых большевиков открывал шествие, потом махал рукою, словно веточкой, с трибуны; вечером Шкуропатская вызывала скорую помощь. В ноябре приезжала к нему Федосья Христюк из Елизаветинской, привезла свяченную воду в бутылочке, которая у нее стояла на окне с 1930 года. «Кто знает, когда смерть возьмет. Давай, Акимушка, попрощаемся. Прости меня». – «И ты меня прости». Умирал тяжело. В железнодорожном клубе возле камеры хранения лежал он в гробу, поставленном на бильярдное зеленое сукно между лузами, с измученными от болезни щеками. Давние товарищи его по кубанскому подполью сидели на скамейках в оцепенелой думе о прожитом, поднимались на ноги с помощью комсомольцев, присланных в почетный караул, а до кладбища проводить сил не было: потрогали Акима Михайловича за холодные руки, помолчали, глядя последний раз на его выросшие в мученические дни усы и закрытые веки. Толстопят везде был рядом со Шкуропатской. Лисевецкий распорядился машинами, напоминал кому следует о поминках, раздавал венки. Никто, пожалуй, так не плакал в последнюю минуту, как он. На кладбище ездил и Попсуйшапка, заодно проведая могилу своей жены, подобрал сор, поговорил с нею шепотом: «Ты мне, Катя, советовала сразу же поехать в Васюринскую и жениться на Иванове, я не послушал, но дело в том, что и ее уже нету...» Как-то через год брал я интервью у знатного животновода в станице Елизаветинской и от него узнал, что Федосья Кузьминична Христюк скончалась летом, легла на ночь и не проснулась. Накануне еще выпила с гостями рюмочку, пела. Наверное, то же и пела, что нам: «Козак отъезжает, а дивчина плачет...» На чердаке у нее Лисевецкий нашел фарфоровую супницу и хвастался, какой знаменитой старухе она принадлежала.

К. Н. Шкуропатская после смерти Скибы пустила в переднюю комнату девочек-студенток, в слабости на-

нимала соседок ходить за продуктами, даже в обиде боялась проронить слово против: ведь она одна, ей со всеми надо жить мирно, иначе горе ей будет, когда ляжет в постель. Как-то возле Екатерининского храма старик в грязной одежде, называвший себя о. Сергием, сказал ей: «У вас дома лежит Евангелие, а вы в него не заглядываете!» Она испугалась: он угадал! На ночь она в тот год читала в журнале «Звезда» исследование Касвинова «Двадцать три ступени вниз», принесла подруга юности – на закате жизни они все увлекались мемуарами. Я видел ее последний раз у ее дома под акацией: она стояла с соседями, ждала машину, чтобы освободить от мусора ведро. Тогда-то она и отдала мне коробку из-под отцовского ордена Станислава 2-й степени – я хранил в ней открытки Екатеринодара. И тогда же она позвала меня к себе и показала поминальную карточку: «Волею Божией 5 июня с. г. в госпитале Монморанси после тяжелой болезни скончался ДЕМЕНТИЙ ПАВЛОВИЧ БУРСАК, о чем с глубокой скорбью извещают друзья его. Отпевание было совершено 9 июня с. г. в церкви ДОМА РУССКИХ ИНВАЛИДОВ, погребение на русском Инвалидном участке кладбища в Монморанси. В 9-й день кончины в субботу 13 июня в 11 час. в церкви Дома Русских Инвалидов в Монморанси будет отслужена панихида по усопшему». К. Н. Шкуропатская умерла в декабре в дождливый день, я был в командировке.

Из Парижа Бурсак прислал мне однажды открытку с видом церкви в Ницце, а в архив – книгу «Два года гражданской войны на Кубани» Д. Скобцова, мужа знаменитой матери Марии (бывшей поэтессы Кузьминой-Караваевой, в девичестве Пиленко). Просил Бурсак передать привет всем-всем, кто привечал его на родине в 1964 году. Умер, и некому было на Кубани печалиться о нем.

Так проходит слава земная.

Но всегда жили и будут жить в своем веку последние.

В хорошую погоду можно было видеть в городе, как гуляют два старца – один высокий, величавый и молчаливый, другой маленький, разговорчивый и какой-то хозяйственный. Оба, кого-нибудь встретив, так чинно и добродетельно раскланивались, что хотелось у них этому поучиться. Кто издавна жил здесь, знал, что это за люди, а остальные, городу не родные, лишь удивлялись: откуда они? чего они так степенно ходят туда-сюда в белых костюмах? То были Толстопяты и Попсуйшапка. В дни майских и октябрьских демонстраций я неизменно заставлял Толстопяты на тротуаре у Пушкинской библиотеки; и всякий раз, когда стройно шла мимо армия, он радостно плакал...²⁴

НЕНАПИСАННЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ

П. Бурсак

Из записок кавказского офицера

Вместо князя Барятинского 6 декабря 1861 года наместником кавказским стал великий князь Михаил Николаевич. 16 февраля 1862 года он проследовал из Варениковского к Крымскому, Ильскому и Григорьевскому укреплениям.

Для встречи мы выстроились в походной форме, со скатанными шинелями. Около полудня замаячили всадники. Впереди ехал двадцатидевятилетний красавец Михаил Николаевич, рядом граф Евдокимов, а далее свита. Великий князь принял рапорт Бабыча, которого обнял и поцеловал, а затем начал здороваться с каждой частью. После легкой походной закуски в особом шатре он двинулся дальше, конвоируемый всем Адагумским отрядом. Дорога пролегла по границе абадзехских земель, по местности, еще не пройденной нашими войсками и известной только по рассказам. Горцы, конечно, узнали, что мы встречаем царского брата, и весьма возможно, что у них явилась дерзновенная мысль попытаться счастье и захватить самого великого князя в плен.

Как только наш головной отряд втянулся в дефиле, горцы не выдержали и подняли стрельбу из-за поваленных бревен и с деревьев. Весь отряд мгновенно стал.

Кавалерия тем временем набрела на богатый аул и, ввиду ночлега, произвела обильную фуражировку, захватив до ста штук рогатого скота. Перестрелка не прекращалась, хотя была довольно слабая, урывчатая. Отряд приблизился к глубокой балке, заросшей дубовым лесом. Три раза горцы переходили в атаку, теснили наш арьергард. В это время по правой цепи из засады неожиданно раздался залп, и партия абадзехов с гиком кинулась на нас в шашки.

Его высочество все время находился на возвышенном пункте и в бинокль следил за ходом битвы. В официальном донесении дело справедливо названо «поистине молодецким».

Через неделю после великокняжеского проезда по земле шапсугов были предприняты разведки через лазутчиков – искали пропавшего пять месяцев назад казака Толстопяты. С радостью мы все узнали, что он жив и шапсуги не прочь его выдать за известный выкуп. Началась торговля, и в конце концов сошлись на двух тысячах серебряных рублей. Деньги были немедленно высланы графом Евдокимовым. И вот, когда мы все ждали, что со дня на день нас известят о привозе Толстопяты, вдруг прибыл лазутчик и объявил, что другая какая-то партия шапсугов выкрала Толстопяты и теперь требует за него на пятьсот рублей больше. Пришлось согласиться. В тот момент в

²⁴ Не окончено. – В. Л.

войсковых ящиках не нашлось достаточного серебра. Трогательно было видеть, с какою готовностью солдаты и казаки несли свои рубли и абасы (двадцать копеек).

Наконец мы выступили к пункту между Абином и Хаблем. Я вез в переметных сумках деньги и новую одежду. Часам к одиннадцати мы были на месте. Я с несколькими офицерами забрался на холм, и оттуда мы жадно всматривались в опушку леса, с нетерпением ожидая появления нашего несчастного товарища. Как бы новая какая партия не увезла беднягу, чтобы начать торг!

Наконец на краю просеки замелькало несколько горцев. Среди них без шапки, в одной рубашке ехал пленник. Он еще издали махал нам руками. Я проехал навстречу. Уполномоченные-горцы взяли от меня мешок, разостлали кошму и начали считать деньги, раскладывая их на кучки и внимательно осматривая каждую монету, иную даже пробуя на особом камушке. Окончив, они сказали: «Яхши, чек яхши».

Толстопяту развязали ремни, которыми были опутаны его ноги. Он с трудом слез с лошади и, шатаясь, подался вперед, но, пройдя несколько шагов, споткнулся и упал. Казаки, никого не слушаясь, бросились вперед, подхватили беднягу и принесли его на руках. Несчастный целовал их, плакал и стонал: «Братцы, братцы мои! Наконец-то!» Истощенный, бледный, с ввалившимися щеками, он даже стоять не мог на ногах и тут же упал с рыданиями на разостланную шинель. Мы наклонялись к нему и целовали его...

21 мая 1864 года война на западном Кавказе завершилась навсегда. Едва шестая часть горцев осталась в пределах области; большинство должно было поселиться в Турции, где им было обещано так много и где оно большею частью нашло голод, нужду и депотизм власти. Нам больше не с кем было воевать.

П. А. Толстопят

Сегодня 5 октября старого стиля, день Алексея и бывший праздник всех казачьих войск. Коли судьба заставляет меня приступить к воспоминаниям, пусть они будут чистыми, объективными фотографиями прошлого. Не знаю, в чьи руки после моей смерти попадут они и успею ли я их написать. В настоящих условиях, без перспектив в личной жизни, приятно вспоминать то, что прошло как сон.

Перекладывая свои вещи, между ними нахожу вышитыя Манечкой полотенца, которых у меня было изрядное количество, уцелело только два, все остальные, в числе прочего имущества, пропали. На одном кроме узора вышито: «15 мая 1906 года». Вышила сестра Манечка и подарила мне его при моем отъезде в армию. Это полотенце вот уже шестьдесят лет сопровождает меня на моем жизненном пути и весьма ценно для меня как воспоминание о моей любимой се-

стре. Это единственная моя вещь столь долголетняя. И вещи жены-покойницы, которую я не могу забыть...

Мы не смели в детстве оставаться в гостиной после восьми вечера, а шли спать. После чая и еды мы целовали руки своих родителей. В 1-м Екатеринодарском полку я наблюдал, как зять командира полка постоянно при встрече, не только в доме, целовал руку своему тестю. Кое-где родители заставляли своих мальчиков приветствовать не только старших, но и младших сестреноч, целуя у них руку. Так я приветствовал сестру Манечку...

Юлия Игнатьевна (мадам В.)

...Я храню твои засушенные цветы, лепестки сирени. Хранишь ли ты мою засушенную розочку? Слушаешь ли «Осенний вальс» Джойса и ждешь ли меня, мой родной? Зачем думать о смерти? Будем жить – ты меня этому учил всегда. Но как было бы прекрасно, думаю я здесь, на древних каменных скамейках театра в Эпидавре, вновь на склоне лет оказаться там, где, по словам Кольцова, соловьем залетным юность пролетела, – на родине. Не дождусь, когда повезут меня к тебе в Париж. Храни тебя Бог. Юлия. Июль, 1933, Греция.

А. М. Скиба

...До рассвета, все еще спят, мать затопит печь, месит тесто – хлеб на десять. Мы встаем, умываемся, молимся Богу, – на столе уже самовар, чай. Мать напечет драных коржей, орешков на сковородке, а то яичницу на сале. А в комнате висит впереди кровати колыска, подвешенная к сволоку, она редко бывает пустая, в ней убаюкивают ребенка. Когда мать перестанет кормить ребенка грудью, она жует хлеб (иногда с сахаром) – вкладывает его в марлю и сует в рот. А мы после школы помогаем по хозяйству: выгоняем с база скот и лошадей к корыту у колодца, замешиваем лошадям полову, накладываем скоту соломы, наносим в хату топлива – кизяка и дров или одной соломы – да принесем от церкви доброй воды. В хате печь большая, залезем на печку, там и уроки учим. На ночь рядом вносится солома, расстилается ровным слоем в головы потолще, застилается рядом, и на этой постели, помолившись Богу, ложатся покотом спать, укрываясь рядом, а если холодно, то и кожухом. Мать вечером садится за прялку или веретено, прядет пряжу для полотенца, мешков, штанов, портянок. Нам дает каждому вымнать по одной или две мычки (горсть волокна), а в колыске ребенок заплачет – надо качать. Все мы уснули и не знаем, когда мать легла, а утром она будит нас. Мати моя, где ты теперь, горяшко? Целы ли твои косточки?..

В одну из первых встреч с Калерией Никитичной я сказал ей: «Без доверия друг к другу у нас не получится откровенного разговора. Надо верить, что твои

или мои слова не будут брошены в грязь, на посмешище соседям». И она заверила меня в том, что, о чем бы мы ни говорили, она сохранит в тайне.

– Бедная моя сиротиночка, – сказал я и хотел приласкать ее, взяв за голову, но она закрыла ее руками.

Уезжая в Горячий Ключ, я сказал ей: «Поеду поищу себе женщину, может, в приемы пристану». – «Езжайте», – сказала она. А когда я вернулся, то сказал: «Не стал я искать себе женщины, авось сгорю и так, как-то деды наши же сгорали. А лучше тебя все равно не найдешь».

Ее лицо прояснилось улыбкой.

– Погоди, пожалуйста, я хоть обойму тебя...

И обнял ее руками, как малое дитя, приник к ее чистой и святой груди, а руками стал ласково поглаживать ее спину, а она стала поглаживать мою голову...

В. А. Попсуйшапка

Вы спрашиваете, кого ж я помню? Да я всех помню. Я ж не сплю и всех вижу по очереди. Помню скрипичного мастера Гавриленко – в старости спал на кровати Рубежанского, купил у его дочери в тридцать четвертом году; старосту извозчиков Дейнеку – простой, как три рубля; сестер Саморядовых – возле Нового рынка теперь в их доме столовая; ассенизатора Кочкина – его сестра училась в купеческом училище, уехала с греком в Афины; священника Куца – у него была горничная Настя, я поухаживал за ней немножко, один раз сказал: «Возьми в театр кольцо на пальцы – пригодится»; комиссара Нового рынка Деревлева – съедал за завтраком двадцать штук яиц, двадцать стаканов чаю выпивал, москаль; вора Гаврилу Святодухова – после переворота служил в милиции; сына атамана станицы Суворовской, за сокрытие ему десять лет высылки дали, вернулся; Мусю Голопышку – я водил ее в баню, когда вдовец был, – она за красоту получила первый приз в Армавире, при всех достоинствах женщина, ушла с «волчьей сотней» Шкуро в Пятигорск да там и пропала; Н. Коренухина – его покусала собака Данилюка в девятьсот десятом году; владельца скобяного магазина Н. П. Кобылянского – его хоть об дорогу бей, а он все вам на здоровье жалуется; доктора Платонова – в восемнадцатом году отступил в Калужскую, снег был по колено, он пошел по воду (прислуги ж с ним не было) и упал в колодец, его вытащили за веревку, а умер в Каире; Процяя – ездил с оркестром в Ливадию, у него все четыре степени Георгиевских крестов; Одновалова – яблоко дает пробовать из кармана, а насыпает из мешка. Ну и других, их много было, теперь никого нет. Дома их стоят. Я иду мимо, кто окажется за воротами – спрошу: вы не такого-то дочь? И про каждый дом что-нибудь вспомню и назову хозяев: кто, что, когда умер, убит, где дети. Жизнь человеческая как свечка: ветер дунул – свечка погасла...

1979

Дионис Костокрыз²⁵

...21 февраля 17-го года стало известно, что в Петрограде беспорядки, а 2 марта – что государь отрекся от престола. Узнав это, я сделался больной, с меня служащие смеялись, но я молчал. Я в то время после ранения был камер-казакком у ея величества императрицы Марии Федоровны. Императрица скоро уехала в Могилев в Ставку к государю. Государь был в форме кавказской – серая черкеска и бешмет серый, погоны 6-го Кубанского пластунского батальона, ботинки на шнурках, цвета красного. На меня подействовало то, что ея величество, когда выходили из вагона, сказали государю: «Вот я тебе и Костокрыза привезла». Государь ответил: «Очень рад, мама». Эти слова засели в сердце на всю жизнь и для поучения детям моим. В Ставке мы прожили четыре дня, жили в поезде, завтракать ездили во дворец, а к обеду государь приезжал к нам в поезд. После этого приехали два разбойника Государственной думы, одного фамилию забыл, а один был Бубликов.

Когда государь приехал в автомобиле, то за ним были двенадцать гимназисток, провожали и плакали. Когда они добежали до нашего поезда, то стали просить хорунжего Ногайцева, конвойного офицера, чтоб он доложил, что они просят у государя что-нибудь на память. Тогда государь взял лист простой бумаги, порвал на карточки и написал на каждой «Николай» и отдал хорунжему Ногайцеву, а тот раздал гимназисткам. Они целовали листочки, прятали и плакали. Было несколько лишних – то стоящие люди, старики и старушки, просили и то же делали. Эта картина была вся слезна. Когда поезд был готов к отправке, то доложил государю флигель-адъютант полковник принц Лихтенбергский, как бы в то время дежурный. И когда государь выходил из вагона, то императрица его благословляла, осеняя крестным знамением, и обливала слезами. Мы стояли...²⁶

5/18 июля 1919 (Лондон)

Утром ея величество возвращалась от королевы и несла в руках вырезку из английской газеты. Я спросил: «Ваше величество, что хорошего есть?» Она мне сказала, что статья написана Сувориным об России. Он пишет, что никто ничего не знает за Россию, и вообще сказала, что статья очень хороша и правдива... И я сегодня совершенно успокоился. Был в 12 ч. 20 минут утра великий князь Михаил Михайлович, женатый на внучке Пушкина Софии, говорил со мной, любезно спрашивал, имею ли я сведения от своей семьи и как дела на Кубани. Я сказал, что все хорошо. Он сказал: «Очень рад, слава Богу». И спросил меня: «Как вам нравится Лондон?» Я ему сказал: «Меня ничто не

²⁵ Несколько листочков дневника из той тетрадки, которую Дионис Костокрыз передал в 1969 году Верочке Корсун в Югославию. – В. Т.

²⁶ Нет листа. – В. Т.

радует, когда у нас России нет, и чужая радость меня не утешает».

9/22 июля. Представлялись дети в. к. Михаила Михайловича, сын и дочь. Оба были ко мне очень любезные и говорят на русском языке. Очень хорошие. Я спросил, были ли они в России. Нет. Я за это в душе своей их осудил. Как они могут любить Россию, когда в ней не были?

Извозчик Терешка

...Чаши серебряные, позолоченные, кресты серебряные, тарелки серебряные, мельхиоровые, блюда, кадилница, плащаница, дубовый иконостас, иконы, облачения, ковры, все прочее имущество, означенное в сей описи, приняты на хранение и пользование для религиозных и обрядовых целей, что и свидетельствуем своими подписями...

*Терентий Трегубов
Екатерина Трегубова
Надежда Трегубова
улица Базарная, 28,
1921 г. 2 июня*

Неизвестная

В середине 1922 года в жаркий день появилась на набережной в Новороссийске высокая старая женщина в черном. Она выжидающе смотрела вдаль на море. Я указала на нее моей маме, и она мне сказала, что это мадам Елизавета Александровна Бурсак, из-за которой стрелялся молодой офицер. Она стояла как вкопанная и чего-то ждала. Наконец к бухте, отгороженной от моря двумя молами, приблизился рыбацкий баркас. У пристани рыбак протянул к мадам Бурсак руки и, подхватив ее, посадил в баркас. Тотчас же баркас отплыл. Говорили, что «эта старая женщина» зарегистрировалась с турецким рыбаком и уехала в Турцию на пароходе. В 22-м году была как раз объявлена репатриация всех иностранцев, проживавших в России и желавших уехать на родину. Многие наши женщины регистрировались с ними и отправлялись за границу, где этот брак не признавался...

К. Н. Шкуропатская

...Когда мы заканчивали Мариинский институт, сдали экзамены, наказный атаман Бабыч пригласил выпускниц в театр, купил тридцать мест, и мы решили, что пойдем не в платьях, а последний раз в форме. В ложе для каждой из нас лежала коробка шоколадных конфет...

При маме на бал еще ездили по нашему Парижу на волах...

Д. П. Бурсак

Что же я вам скажу, милый молодой друг, какие теперь воспоминания, коли завтра мне покидать Рос-

сию и затем где-то умирать в Париже? Жизненный путь так долог, что выпадают из памяти не только месяцы, но и целые годы. Род приходит, и род уходит... До свидания, до свидания, прощайте, не судите нас кое-как, живите, а мы уже свои земные дни исчерпали. Аминь...

Краснодар, 1964 г., месяца не знаю, бо календаря не маю (шучу). Д. Бурсак (последний из запорожского рода).

ГОРОД НЕВЕСТ

(послесловие)

Уже тысяча девятьсот восемьдесят третий год. Рукопись Валентина Т. заканчивается годом семьдесят восьмым, потому что после этого года Толстоляп²⁷ уже не появлялся на улице Красной, редко прогуливался даже в своем дворе. Моя дочка Настенька была у него несколько раз в гостях, и он подарил ей парижские открытки, вышитое полотенце (от сестры Манечки) и на будущее – французский словарь «Общественно полезные разговоры». Он уже все свое раздавал.

Настенька, пока я доводил чужие бумаги до кондитерии, часто подбегала к моему столу, трогала листы пальчиками, изредка задавала мне какой-нибудь вопрос и звала в большую комнату поиграть с кукольным медвежонком Потанькой.

Однажды без меня она написала: «Папа, желаю тебе скорее закончить дядин роман и поиграть со мной, если ты друг. Настя. 21 мая, 83».

– Как ты выросла! – сказал я.

– Зачем ты над стариной сидишь? Старина уже выбыла. Давай я тебе продиктую свое сочинение «Весна пришла». Только я не буду называться Настей, а по-другому.

Полчаса записывал я ее длинный рассказ, который кончался словами: «И все-таки: как хорошо было бы, если бы весь год стояла зима».

– Как ты, деточка, выросла! – повторил я и прижал ее к себе.

– Почитаешь Лисевицкому, ладно? «А я, – скажет, – глубоко одинок и закутываюсь в пять одеял, ведь я не топлю».

– Ждешь его? Любишь его подарки?

Она, видимо, запомнила, как Лисевицкий расхваливал ее в прошлом году: «Будет удивительная красавица! Сказочная красавица. Даже царские дочери не сравнятся с ней. Мама-государыня ею довольна? Ах, я шел из аула полем, такой аромат цветов, кизяка... И августейшее дитя льнет к свету жизни...»

Настенька вытянулась за последние два года, многому научилась в школе, а еще недавно она ниче-

²⁷ Всем уже знакомым героям даю здесь те же фамилии, что и в рукописи. – В. Л.

го не знала. До обеда я закрывался в своем кабинете, но она каждые десять минут стучала ножкой в дверь и покрикивала: «Папа, откройся! Ну на минуточку! Ну, папа... Какой ты...» Когда кто-нибудь приходил, она взбиралась ко мне на колени и слушала непонятные ей разговоры. Маленький седой Попсуйшапка был для нее странной живой игрушкой. «Вот, Настенька, – говорил я, – это сама история; Василий Афанасьевич на девяносто лет тебя старше». Это ее нисколько не удивляло. Попсуйшапка между тем терзал пальцами пуговицу на старой шубе и, заметив, как Настенька смотрит на руку, пояснял со старческой важностью: «Это, Настенька, кх... пуговица тысяча девятьсот двадцать четвертого года... Вот считай: в двадцать четвертом году купил я эту шубу. Шуба хорошая. Хорьковский мех, черно-бурый, самый лучший в старое время...»

Что ей тот 1924 год?

Еще неведомы ей пути человеческие, непонятна в радиоизвестиях гражданская война в Сальвадоре, и страдает она оттого, что мама выгоняет на улицу кота Тимошку. Ничем еще не напугана Настенькина душа.

Завтра мы пойдем с ней по городу. Она за ночь позабыла, что вчера поздним вечером обижалась на меня. Все забежала ко мне из своей комнаты и не хотела ложиться спать. Мама уже читала в постели «Женский портрет» Г. Джеймса. Я ловил Настеньку, укладывал, но она снова прибежала мешать мне, пряталась в уголку. Тогда я ее отшлепал. Она заплакала.

– Открой мне шкаф, я возьму рубашку.

Я ей открыл, она надела через голову рубашечку, смяла в пальчиках платочек, вытерла носик и легла, безутешно всхлипывая, прикрывая платочком глаза, – подобно женщине, не знающей, куда деваться от своего горя. Мне стало ее жалко. И пока я сидел у себя, в какой раз перебирая листочки «Нашего маленького Парижа», раскладывая потом части по конвертам, подписывая адрес издательства, мне все хотелось подойти к ней, сонной, и ладошкой попросить прощения. Завтра мы понесем конверты на почту. Если роман напечатают, Настенька когда-нибудь прочтет, доберется до первой строчки последней главы: «Уже тысяча девятьсот восемьдесят третий год» – и взгрустнет: «Как давно это было...» Все на свете движется к старости. Я сижу и боязливо мечтаю. Жить бы ради нее долго-долго, чтобы у нее всегда была где-то под боком верная защита. Мне хотелось бы знать, станет ли она такой, какую я мечтаю ее вырастить. Я ее буду все годы подталкивать, чтобы она прилежно читала лучшие книги, верила им даже тогда, когда в суете и обидях они кажутся нам обманом. И чтобы она потом перечитывала то же, что много раз в году кладу себе к ночи на столик я: «Жизнь Арсеньева» Бунина, его поздние рассказы, «Даму с собачкой», «Дом с мезонином» Чехова, «Казачки», «Войну и мир» и «Два гусара» Толстого, «Тихий Дон» Шолохова, «Унесенные ветром» М. Митчелл, «Свечечку» Казакова, всего Пуш-

кина, «Жизнь Пушкина» А. Тырковой-Вильямс и все прочее, что указано в моем дневнике. Хочу, чтобы она играла на пианино, пела старинные романсы. Не терпела лжи, была простодушна, но мудра, была ласкова, как в детстве. Чтобы любила нашу историю. Чтобы ты, Настенька, говорил я наедине, съездила в Новосибирск, в Топки (где я родился), в Тамань, в Пересыпь, в Тригорское, Константиново, в Москву, туда, где я провел лучшие дни моей жизни. А пока ты маленькая и еще не чувствуешь, как убывает время. С тобой я рад бы побыть на земле до ста лет – как Попсуйшапка.

Легко на помине Василий Афанасьевич. Утром вышел я на звонок и вижу: в новом белом костюме, в соломенной шляпе, с палочкой в руке просится ко мне всем видом Попсуйшапка! Я усадил его в кабинете на низкое кресло. Он бережно снял с головы шляпу, потом очки; мутнеющими глазами поглядел на меня, и я понял, что у него ко мне какое-то дело. Белые усы, такая же борода украшали его – как всегда. Ничто, кажется, его не берет, и рукопожатие у порога было крепким.

– Хотел возле дома Фотиади встать... Ну, на рынке встал, на автостанцию зашел: нет ли кого из Васюринской? Нет никого. Всегда кто-нибудь едет. Поговорю, про всех распрошу в станице...

Мы помолчали.

Позавчера ему поменяли в милиции паспорт, и он без единого слова похвалился им. Он и не думал умирать. На лице почти не видно морщин, так, какие-то паутинки. Но на фотографии в паспорте Василий Афанасьевич был древний. Глаза глядели на нас из далекого-далекого времени. Сколько ему еще ходить в пашковскую баню, на Сенной рынок и к шапочным мастерам в ателье? Я так привык к его долголетию и его младенческому интересу к жизни, что иногда со страхом думаю: неужели он когда-нибудь умрет?!

– Я вот чего к вам, – начал он, подчищая голос покашливанием. – Помните, я вам рассказывал, как в тысяча девятьсот восьмом году, когда Швыдка ездил к Ивану Кронштадтскому (помните?), меня ограбили на Пластуновской?

– Вас ограбили Драганцев, Цвиркун и Парфенов.

– Правильно. Трое. Они отобрали у меня кошелек...

– ...А там двести двадцать рублей сорок копеек было.

У Василия Афанасьевича от обиды закрылись глаза и долго качалась голова.

– И я подумал вчера: пойди к сестре Парфенова, чтоб она выплатила мне те двести рублей через милицию. А для того взять газету «Кубанский курьер», где написано про меня, она ж у вас?

«Вот она, смерть, – испугался я и пожалел старика. – Сознание потухает, первые странности, забывчивость, неузнавание и тому подобное».

– У меня газеты нет, – говорю ему, – я в архиве читал. Она подшита, на государственном хранении.

– М-м... – протянул он и задрал подбородок.

– Семьдесят четыре года прошло, кто ж вам отдаст те деньги? Сестра-то при чем? Это еще при старой власти было. И почему вы вспомнили?

Я был изумлен и не узнавал Василия Афанасьевича.

– А потому, что люди придут, а я за что их буду принимать? Ведь они сказали: «Мы придем». А я не в состоянии накрыть стол.

– Кто сказал?

– Вот эти, что работают в ателье мод головных уборов. Я ж тоже принадлежу к этому цеху пожизненно. Я всегда захожу к ним. Везде в металлических шкафах холодная газированная вода, а у них теплая, комнатного содержания, я и попью. Там моих напарников покойных дети работают, вдовы их сыновей. – Он перечислил всех по имени-отчеству. – Я им, Виктор Иванович, сказал, что мне через год сто лет – на праздник трех святых: Ивана Златоуста, Василия Великого и Григория Богослова. Так мать моя покойница говорила.

– Знаю.

– Мне сто лет – пожалуйста, новый паспорт получил. Вынимаю. «О, на ваш юбилей мы придем». Господи, думаю, а как я их буду обслуживать? Это ж надо не осрамиться, стол накрыть, подать и принять. Я ж не работаю. Пришел домой и думаю: чем я буду их встречать? Живой человек о живом и гадает. Я и вспомнил стишок, как один пришел Настю сватать.

Настенька засмеялась.

– Поставили барабульки нечищенные, вареники, а я, говорит, на них косо поглядываю. Пришло время, погасили свет, а я за те вареники та с хаты шукать себе место, чтобы вареники слопать. Поел вареников, макитру свиньям выкинул. Вот я и пришел к вам, чтоб моя коротенькая пьеска была сполна.

– Семьдесят четыре года прошло, – сказал я. – Не ходите никуда. Вы пережили всех воров и судей. А юбилей мы вам отметим.

– Ну спасибо, дорогой Виктор Иванович, если вы так говорите. У дочки я не имею права просить, она учительница.

– Давно уже другое время, все поумирали, забудьте о тех деньгах.

– Я забыл, а тут – не сплю ж – и вспомнил. Я дверь закрыл, ключ положил и поехал к вам. – И добавил медленно, вразяжку: – Я уже, может, больше не приеду к вам.

– Что снится?

– Снилось два раза покойница жена. Пятая, самая крайняя. Лежала в платье на той кровати, которую мы с ней продали в Нальчике, – железная, со спинками. Лежала в той кровати в бордовом платье, и волосы не распущены, а так, целиком, и аж до колен. И во второй раз – в том самом платье.

– Слабеете?

– Глаза... По две капли закапывал в глаза, а теперь по четыре. Ноги болят. Уже и пчелы не помогают.

– А что это у вас?

– Картонка. Подобрал на Красной у зеленого гастронома. Хороша на подкладку. Для фуражки. Валяется, я по привычке поднял. Нету хозяина.

Настя теребила меня:

– Папа, когда на почту?

В двенадцать часов мы с ней закладываем пакеты в сумку и выходим на улицу Ленина. На углу ждем, пока проскочат машины. Солнышко светит на деревянный зеленый магазинчик (наверное, то была когда-то персидская лавочка, двери ее забили, и так до сих пор). Старый город не сносят как будто в угоду Попсуйшапке. Через год сто лет, а ему еще хочется полететь в Болгарию на свидание с кумой Христовой. «Интересно, Виктор Иванович. Все в жизни интересно».

– Я такая легкая, – говорит Настенька возле дома Фотиади, – могу идти долго-долго. Наш маленький Париж!

– Кто тебе сказал?

– Я прочтала у тебя на столе. Папа! Сейчас меня приняли в октябрята, потом в пионеры, а потом в комсомол?

– Никак не дождешься?

– Ага. Как ты догадался?

– Я сам ждал. Под дверью стоял, боялся – не примут. Троек нет, четверок нет, в кружках участвую, а стою и боюсь, что не примут.

– Приняли? Ты рад был?

– Я не спал целую ночь, хотел похвастаться поскорее в классе, какой у меня на груди значок.

– Я тоже хочу поскорее значок.

В Ворошиловском сквере я покупаю газеты.

Если у Дома книги мы не застанем Лисевецкого, то, значит, на каких-нибудь океанских островах совершился переворот – только так это можно и объяснить. Но Лисевецкий на месте, в кучке книголюбов. В его руках бумажная сумочка за четыре копейки, лоб его блестит, как помазанный. Он мгновенно предает кружок менял и семенит к нам.

– Здравствуй, чудное дитя! В какие неведомые дали? Дайте прикоснуться к вашей бессмертной руке, маэстро.

Он держится за нас руками, отскакивает, вновь приступает. Мы с Настей смеемся. Лисевецкий никогда не изменится. Раз сто уже он славил мою руку.

– И кажется мне – не из плоти рука, а в мраморе, в бронзе уходит в века! Сам сочинил. Экспромт. Иногда вдохновение осеняет. Стою на перехвате, делать нечего. Я когда-то написал песню о Кубани, ее печатали в пятьдесят седьмом году к фестивалю в «Комсомольце Кубани». Я и музыку написал, и стихи, и сам пел. Как Вертинский. Наш поэт Варавва обещал напечатать в сборнике кубанских народных песен.

– Вы классик. Что еще?

– Думаю о том, как бы мне проникнуть в дом Фотиади и посмотреть на ванну из розового мрамора. Я бы отдал сто рублей сразу только за то, чтобы залезть и тут же вылезть. Крошечка Настенька смеется. Я, деточка, не могу жить иначе, ха-ха... Да-да! Достал! «Записки кавказского офицера» Петра Бурсака полностью. Огромная тетрадь.

– Поздно. С «Записками» Бурсака вы опоздали. Кому это теперь нужно? Вам, мне. Но и я уже старинной не занимаюсь.

– Глубоко дышите современностью? Понимаю. К вам вопрос. Роман, как вы считаете, будет иметь успех?

– Читать-то особенно некому. Это как фотография на память: более всего говорит она чувству родственников. Тем, кто разбирается в нашей истории хоть немного, и тем, у кого здешние бабушки, будет заметнее при чтении романа, как много уходит вместе с людьми. Так же что-то уйдет и с нами. И с ними, – показал я на Настеньку.

– Дитя заскучало с многомудрыми старцами, ха-ха... Еще вопрос к твоему папе, Настенька, навеки занесенному...

– ...в амбарную книгу...

– ...чудесной Кубани. Скажите, где бы вы ни были, вы обязательно вникаете в психологию людей? Изучаете пороки, страсти человечества? Вы, как Штраус, записываете на банкнотах, на клочках, а потом ваша музыка облетает весь мир?

– Хорошо с вами, но надо идти.

– Пойдите рядом с простым смертным, ха-ха... Как будто Гоголь ходит по Миргороду с Афанасием Ивановичем и... – кивок в сторону Настеньки, – с Пульхерией Ивановной... Не удивляйтесь, на меня действует весна. Наша Кубань – край вечной весны, вечной любви и истории, ха-ха... Неужели Попсуйшапка еще жив? Значит, и я буду жить да жить. Священный старец покрывает меня своим омофором, ха-ха... Уходить мне на пенсию?

Двадцать лет он клялся познакомить меня со своей тетушкой, которая без очков вдевает нитку в иглолку и сама таскает лук на горище; лет пятнадцать обещал найти в своих ящиках старую карту Кубани и уже около десяти лет отправлял себя на пенсию по выслуженному стажу.

– Придется вас вставить в роман. Оригинал!

– Я буду счастлив, если вы поднимете из праха мою мумию.

– Жду в гости, но не в одиннадцать.

– Да как вы можете ложиться в девять? Только начинается жизнь. Слышны голоски комаров, лепет крылышек всякой моли и букашек. С высоты небес летят души великих людей. Бедный месье Толстопят, он уже там, где нет ни книг, ни воздыханий. Вы помните, что он сказал в парикмахерской в первый год приезда? «Вам шею побрить?» – мастер спрашивает. «Го-

лубчик! – по-офицерски ответил ему месье Пьер. – Шею брили только кучерам». Ответ, достойный священных скрижалей!

И опять он повторялся. Может, мы напрасно считаем, что ничего на свете не повторяется? Повторяются слова, люди, мысли, характеры, женские лица и проч. И Верочка Корсун повторяла те же самые слова другому человеку и даже так же восторгалась им ночью. Она сейчас шла по тротуару под тенью недостроенной гостиницы «Москва», разговаривала с дочкой. Лисевецкий заметил, повеселел, сказал: «Недавно встретились на трамвайной остановке, я проводил ее, и говорить было не о чем». Полная пожилая дама, вполне счастливая, шла вдаль, и я припомнил некоторые страницы романа, в котором Верочка может узнать себя.

– Нет, ваше величество, – сказал он печально, – не все повторяется на этом свете. Уже Верочка не то что никогда не скажет, а и не поверит, что так говорила: «Я счастлива, я все время колдую, чтобы ты тоже думал обо мне, ты снишься мне с того дня, когда выпал снег. Я счастлива, что просыпаюсь с твоим именем. Я бы согласна умереть, но только бы знать, что у тебя не будет ни одной женщины». Плачу и рыдаю, но ни о чем не жалею...

Настенька тянула меня от Лисевецкого:

– Ну, па-па...

Мы прощаемся с книжником.

– Лисевецкий пирожок откусил...

127

Вот и Настенька уже посмеивается над его странностями; всегда эти странности, нелепости его характера на первом месте. Но кто же, кроме него, согласится полдня бродить с учениками по улицам города, угощать их всех до единого мороженым и сладостями или в другой раз вести их на опытное поле к академику, «пшеничному батьке»? Кто вдруг подзовет на старом кладбище курсантов военного училища, расчищавших завалы мусора: «Мальчики, помогите поднять плиту над могилой офицера!» – и полчаса красочно рассказывать им «великие подвиги войны и мира»? И кто бегал по аптекам за морфием для корчившегося в предсмертных муках ветерана, покупал венки? Не профессор же истории, всегда тупоумно правильный и назидательный. Лисевецкий! Побежал к девяностолетней тетушке своей, «нюнечке», с четырехкопеечным бумажным пакетом, полным пирожков. Если напечатают «Наш маленький Париж», купит триста штук и будет разносить по дворам: «Читайте! Это же про наш город. Боже мой, как я счастлив! Будто это я написал...»

– Папа, – говорит Настенька мне у филармонии, – ты... Только ты не сделаешь...

– Ну, ну...

– А ты сделаешь? Вечером поиграешь со мной? Если ты друг.

– Конечно. Мы сейчас с тобой сдадим бандероли, и вечером я ничем заниматься не буду.

На почте принимает заказные корреспонденции все та же кругленькая женщина в темном халате. Очередь у нее идет быстро. Я еще раз проверяю адрес издательства, шепчу на конверт заклинание, отмечаю про себя: 7-е, счастливое число. За мной два красивых высоких эфиопа. Настенька побаивается их. Впереди меня простая женщина из станицы Северной. Грустная почему-то, смущенная. Ей, кажется, трудно подавать большой конверт с австралийским адресом. «В Австралию?» – спрашиваю как можно невинной. «Брату». Фамилия казачья, и это значит, что он беженец последней войны. Заблудился ли, увезли немцы или был полицаем? Я вспомнил, как Лукерья из Пашковской рассказывала мне: «Рано, рано, – говорю им, – хлопцы, вы взяли винтовки. Ой, хлопцы. Придут наши – будет вам». И пришли наши. Они сели на коней, запели, да так горько: «Прощай, мой край, где я родился...», а матери идут за ними и плачут... А теперь что? Кому там нужны?» Вот и этот неведомый казак сидит на «чердаке человечества» – в Австралии.

Настенька меня теребит, ей не хочется домой – мама ее там посадит на вертящийся стульчик у фортепьяно.

У Дома книги я поднялся с Настенькой в кафе-мороженое. Мы скушали две порции мороженого, выпили кофе, потом Настенька с конфетами в руке побежала вперед по Красной. Одноглазый старик в черкеске, в папахе опять прохаживался туда-сюда по улице, словно нарочно дразнил обывателей своим музейным нарядом, пренебрегая усмешками и порою репликами. Фронтоник, потерявший глаз в разведке, почему он в черкеске кажется людям дикарем?

«Да-а... – думал я. – Блажен, кто все помнит. Ура простодушным... Настенька бежит себе... Город невест. Нигде нет столько красавиц... Настенька! не беги... Нигде нет... И в Париже их нет. Таких нет. Только в нашем, маленьком... Иди сюда, деточка. Я буду счастлив, если роман выйдет. Счастье в исполненном долге перед совестью. Блажен, блажен, кто помнит и у кого душа справедлива. Душа всегда справедлива. Если она у тебя есть... И придут времена, и исполнят-

ся сроки... Да-да, и придут времена... И не постареет лишь одна улица Красная...»

Улица Красная!

С той казачьей поры, как в дубовом лесу вырубил просеку, плугом провели первую борозду и наставили турлучных хаток, вытянулась она за два века на много верст. Всем позволяла она ступать на мостовые. Ходить по ней – вспоминать свою раннюю жизнь. В каком бы углу города ни свили мы себе гнездо, на главной улице Красной скопилось столько неисчислимых наших забот и приятных мгновений. Куда это, с кем мы все шли и шли по ней? кого замечали? кто останавливал нас голосом или рукой? в чьи лица мы влюблялись, от кого отворачивались, с кем долго, до сумерек стояли на углу? кого ждали и не дождались? кого дождались себе на радость или вечное несчастье? какую заветную книгу, какой костюм, платье, какую брошь или сувенир там купили? Все это наша жизнь – узкая улица Красная. Когда-то прошли мы по ней в первый раз; когда-то пройдем и в последний. Когда летней порой погаснут окна и ты по Красной, в тишине и одиночестве, добираешься домой, вдруг промелькнет теплое чувство к главной улице. Красная! ты забудешь меня, как позабыла тысячи прочих! Я твой незаметный прохожий...

Я убыстряю шаг, на улице Орджоникидзе беру Настеньку за руку, и мы идем, не сговариваясь, к затону. Под высокими сводами деревьев на улице Тельмана, у домика, где жила когда-то любимая моего приятеля, Настенька вырывается и бежит вперед, напевая:

Один раз в год сады цветут...

– Папа! – кричит она. – Ты мне вечером историю про Потаньку расскажешь? Если ты друг...

Она уже далеко, я тороплюсь за ней и тихо кричу:

– Настенька! Подожди... Настенька... Куда же ты бежишь, деточка?

Она оглядывается, взмахивает рукой и ждет, когда я подойду. «Ради нее мне и надо жить долго-долго...»

1978–1983 гг.

Краснодар – поселок Пересыпь



**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ
СОВЕЩАНИЕ
АВТОРОВ СИБИРИ
И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА**

Елена ПЕРЕТОКИНА

БАТЫР

*Что гадать там, если бы да кабы: вскорм-
ленный молоком молодых кобыл, жил герой, мо-
гучий степной батыр, и когда-то, как все, он
не был, а после был, а потом, как все, он не
был; с тугой губы звездной рыбы летела сырая
пыль, он лежал, где другие разбили лбы, вот и
он разбил, и амба, и гор горбы поднимались на
горизонте, и ветер выл, он лежал, и степная
свистела плетью, только ветер не знает, что
значит плоть, только горы не знают, что зна-
чит быть, да и мы не знаем, что значит быть,
только можем помнить и можем петь...*

ТРИ НОТЫ

*Кто бы ты ни был, сущий на небесах:
Если слышишь это,
Замени в моей голове голоса
На мелодию ветра.
Высвисти прочь из черепа моего
Все слова и тревоги,
Чтобы флейта три ноты пела,
а более ничего.*

*Да и трех-то много.
Йориком бедным по свету пусти,
Перекажи-полю,
Только флейта все же пускай свистит.
Три ноты – не более.*

* * *

*Вот страшно, страшно, а потом
не страшно,
а после снова страшно – и вот так
под диафрагмой бьется и трепещет
наукой не описанная рыба
с хвостом, с зубами, с клейкой чешуей;
вот бьется, бьется, а потом не бьется,
но дернет плавниками – и тогда
на миг под ребрами вдруг всколыхнется
море –*

*и снова схлынет; пена захлестнет,
дойдет до легких, выше, до гортани,
и слова не сказать: ведь все слова
в отлив снесет в соленые глубины.
Увы, молчание не золото, а рыба
глухая тишина, зевок беззвучный,
ведущий к снам, которым нет конца,
где вроде жили, жили, а не жили,
где были? не были? никто не разберет,
а есть лишь зной и марево морское
под диафрагмой, в легких, в голове.
Дай мне крючок – я выйду на рыбалку
во внутренних недремлющих морях.*

Вот больно, больно – а потом не больно...

г. Иркутск

Татьяна ЯРУШИНА

ХУДОЖНИК

*На дешевой палитре размазаны краски:
В хаотичном порядке, бессмысленно дико.
Проникают друг в друга, сливаются в
пляске...
Цвет насыщенно-красный с оттенком
индиго.*

*На холстах силуэты, штрихи и наброски,
Как забор покосившийся сложены рамы.
И художник сидит в грязно-рваной
матроске
И печально глядит на последствия драмы...*

*Он, познавший давно прелесть творческой
муки,
Кровь свою заменил на густую гуашь.
А теперь он старик, дрожью тронуты руки,
И проблемно держать на весу карандаш.*

*Он, как прежде, творец, но как стены
пусты,
Так пуста его жизнь, так печально безлика.
Он палитру берет на исходе мечты
И рисует закат. Красный.
С цветом индиго.*

ДУРАК

*Он шел по набережной, шаркая подошвой,
Пинал листву и руки потирал.*

Казалась осень серой и продрогшей.
 Последний день – сентябрь догорал.
 Он шел в пальто широком нараспашку
 И улыбался без причины, так,
 Как улыбаются счастливые – взятяжку,
 Как улыбается бессмысленно дурак.
 Он шел по набережной медленно и шатко.
 Смотрел наверх, на тусклый небосвод.
 А в стороне, за детскою площадкой,
 Толпился в очереди трудовой народ.
 «Какой дурак! – сказала дама в красном. –
 Идет беспечный, голову задрал!
 Уж лучше бы за хлебом и за маслом,
 Как мы, путевые, весь вечер отстоял».
 «Какой чудак! – ей вторили с азартом. –
 Какой глупец! Придурок! Идиот!»

Но шел дурак, не следуя стандартам,
 И завернул в ближайший поворот.

г. Благовещенск

Анна ЗОРИНА

* * *

Переплавляю образы в слова,
 От сложности кружится голова.
 Безмолвие – тяжелая наука.
 И все же мне милей словесный шум,
 Я золото совсем не выношу,
 Хотя без тишины не будет звука.

А звук рожденный обретает вес.
 В цветочных куцах на краю небес
 Садовник потрудился не напрасно,
 От самого рассвета дотемна
 Созданиям давая имена.
 И каждый обретенный был им назван.

Оставлен позабытый райский сад,
 И яблоками пахнут чудеса,
 А истины просты и человечны.
 Во мне поет Адамово ребро,
 Я собираю Божье серебро
 И рассыпаю по дороге в вечность.

* * *

Льется, льется по крышам солнце,
 Как из банки кленовый мед.

А над ними блестит червонцем
 Проплывающий самолет.

Лето, друг, береги коленки!
 Комариная кутерьма.
 На рассвете молочной пенкой
 Над рекою встает туман.

А в траве земляника спеет.
 День пробегал – живот бурчит.
 По дороге домой вкуснее
 Магазинные калачи.

Как же это? Одни вопросы!
 И до ночи недалеко.
 Солнце скатится абрикосом
 Вдоль сиреневых облаков.

День истает ломтем арбузным,
 Ночь под крышей сгустит навес.
 В детстве лето всегда со вкусом
 Приключений, легенд, чудес.

* * *

Покидает солнце зенит,
 Разнотравный льется дурман,
 Лепестками лето звенит.
 И чертог лесной не тюрьма:
 Мне в тени сухой бузины
 Выстилает мхами постель
 Суетливый друг коростель
 До зимы.

«Не гуляй в лесу допоздна»,
 Но в траве цветов кружева.
 Ни тоски, ни боли, ни сна:
 То, что я давно не жива,
 До сих пор никто не узнал,
 И, как дань былой красоте,
 Лишь сухих и ломких костей
 Белизна.

Обнимает лес вековой,
 Злые тайны верно хранит.
 Над моей пустой головой
 Покидает солнце зенит.
 Прорасту медвяной травой,
 Разведу меж ребер ужей.
 Жаль, и это чудо уже
 Не впервой.

г. Новосибирск

Лидия ШАРКУНОВА

* * *

Человек, не знающий покоя,
 Произносит легкое такое,
 Легонькое, легонькое, ле...
 Слово отправляется в полет.
 Слово отправляется, отпра...
 К неизвестной точке невозвра...
 Точка растворяется как дым.
 Точим лясы, что-то говорим.

* * *

Себя в себе не слышу отчего я?
 Пространство тут совсем безречевое,
 Без окон, без дверей и без начала –
 И потому я тоже замолчала.

Чужие мысли рядом проплывали,
 Но внутрь меня они не проникали –
 Ни отзвук, ни вибрация, ни шепот...
 И я перенимала этот опыт.

АВГУСТ

Август поздний. Речь сырая.
 Приближает к сентябрю.
 Говорить о чем – не знаю...
 Я о чем-то говорю.

День выходит из потемок
 И торопится на спад.
 Ухмыльнется мой потомок
 Странной речи невпопад.

Мокрые слова раскусит
 И покрутит у виска...
 Лето нос прощально куксит.
 Увядание. Тоска.

* * *

Так важно оставаться тем, кто ты...
 Вытаскивать себя из темноты,
 Из немоты, невежества и мрака,
 Осознавать, что мир не одинаков.

Идти, идти куда-то с фонарем,
 Искать себя все время днем с огнем.
 Идти к себе без страха и без стука,

Протягивая дружескую руку...
 И вдруг услышать, кто-то шепчет в ухо:
 «Ау, ау! Как слышите? Прием!»

г. Иркутск

Александр ЕГОРОВ**ГИМН ВЕЧНОЙ МЕРЗЛОТЕ**

Вечная мерзлота –
 нет ее непокорней.
 Вечная мерзлота
 не пропускает корни.
 Вечная мерзлота –
 гнется, скрипя, лопата.
 Вечная мерзлота
 мамонтами богата.
 Ясно, что перегной
 даже и не сравнится
 с вечною мерзлотой.
 Слышь, агроном-тупица,
 нечего ждать плода
 от неродящей тверди.
 Вечная мерзлота –
 это синоним смерти.
 Окоченелых туш
 тыщи. Покой их долог.
 Землю хоть сколько рушь –
 бивня найдешь осколок,
 максимум. Навсегда
 мамонтов поглотила
 вечная мерзлота,
 злая земная сила.
 Кстати, пещерных львов
 и носорогов тоже...
 Сказано много слов,
 надо бы подытожить.

Тленные господа,
 дамы, ловите фразу:
 вечная мерзлота –
 смерть и бессмертье сразу.

АРЕЙСКОЕ

Даурские жемчужницы хрустят, как лед,
 под сланцами.
 Зловонных ржавых водорослей
 бессмысленная вязь.
 Решительно настроены сегодня
 искупаться мы.

И что, что солнце спряталось
и буря поднялась?

Заходим в воду, брызгаясь... Коричневую,
мутную.
Нас четверо: две девушки (читинки),
я и брат.
Одну зовут Мариною, коль ничего
не путаю,
другую Соней. Встретились примерно
час назад.

Глядим, грязедобытчики на самодельном
катере
пришвартовались к берегу. Волнуется
Арей.
Когда ныряешь – чувствуешь
себя в утробе матери.
Выныриваешь – заново рождаешься,
ей-ей.

Не надо моря чистого, не надо пляжа
белого,
не надо представительниц шаблонной
красоты.
Лукавлю я? Нисколечко. Достаточно
и этого:
жемчужниц, ржавых водорослей, толстушек 729
из Читы.
г. Иркутск

Михаил ПИСЬМЕННЫЙ

ИСТОРИЯ С ПОЖАРОМ У ВЕЛИКОЙ РЕКИ

Веселой, допотопной лесенкой
сбегала вниз платформа «Весенки»,
спешила к лесу и воде
и, оттолкнувшись отраженьем
от тишины и от простора,
взлетала облаком тугим
туда, где виден дальний дым,
и снова падала на землю,
где мчал тяжелый товарняк
и пела речка да сосняк...

А в то седое воскресенье
мы шли по мед-
лен-
ным

ступеням
к останкам леса вдалеке,
молчком, к обугленной реке...
.....
Так омут переходят вброд,
так покидают эшафот...
За нами следом по ступеням,
летучий, словно привиденье,
как дым, косматый и седой,
ступал старик, сойдя с иконы,
и бязь спадала балахоном
с покатых плеч, скрывая горб...

Я вздрогнул. Я узнал его.

Да, это был тот самый странник,
который иногда под утро
во снах являлся, говорил,
те сны сбывались почему-то,
и колокол звонил, звонил...

А ныне, во плоти болезной,
перекрестившись на восток,
простер он руки к поднебесью
и тихо молвил: «Как Ты мог!
О, как Ты мог! О, все не так,
бесплотны неба караваны,
тайга горит, и воют раны
земли, как можешь Ты глазеть,
пообещай хоть из газет
дождя в седмицу на Ивана...»

Тут гром ударил вдалеке,
а ветер, до того дремавший,
перебежал через мосток
и бросил под ноги листок...

г. Сосновоборск

Александр ПАНОВ

* * *

Отзывается зову коней
ширь лугов переливами ржанья,
и слышнее становится мне
первозданная тишь мирозданья.

Здесь и я на покосах потел,
неокрепшие руки мозолил
и глядел, как глядит мой отец
на стога, золотые, как зори.

Напряженно гудела река.
Сердце жаждало ветра свершений.
Жадно пили туман ивняка
кони, выгнув упрягие шеи.

А меня выносило на стрежь
нашей жизни отцовское русло, —
И светилося созвездье надежд
надо мною надеждами русских.

* * *

Тихо, тихо за окном.
Спит вселенная тревожно.
Осторожно дышит дом.
Дышит время осторожно.

Осторожная луна
пробирается сквозь годы.
Осторожно спит страна.
Осторожно спят народы.

Но, тревогою полны,
замирают в парке липы,
и сквозь сумрак тишины
льются лип глухие всхлипы.

И вселенная во мгле
вздрагнет вдруг, зевая сонно...
Тихо, тихо на земле,
как в душе моей, бездонно.

г. Томск

Екатерина ПЕШКОВА

ИЗ ДЕТСТВА

В деревне вечер движется лениво,
Закат еще горит — неспешна мгла.

В руке держу тарелку: мама сливы
Сегодня утром с рынка принесла.
Чтоб солнце проводить, я напоследок
Сажусь у палисада на скамью.
Не дотянуться до макушки лета —
Мне только шесть. Цветет сирень. Июнь.

* * *

Изрезан поездками горизонт
На лоскутки моментов «до» и «после».
На привокзальной площади ремонт,
Цветет в пыли кустарник низкорослый.
Разруха и печаль. Один Ильич
Глядит на всех с надеждой и усмешкой:
Гранит не слышит, как хрустит кирпич,
А с ним и наши судьбы вперемешку.
Гранит не видит, как бушует май
В твоих глазах.

Прошу.

Не уезжай.

АЛИСА

Лавочки сделались ниже, дни почему-то
короче:
Не поболтать ногами, не поболтать
языком.
Выросла вдруг Алиса, выросла быстро
очень.
Не виноваты микстуры, дело совсем
в другом.
Выросла до отчетов, до ежедневной
текучки,
С нею случилось время, сделав ее умней.
Реже творит безумства, ждет, как и все,
получки,
Реже заходит Шляпник на чаепитие
к ней...
г. Чита



**Евгений
ЧИРИКОВ**

КАК ЗАКАЛЯЛАСЬ СТАЛЬ В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ

Очерк

Детство и отрочество завода

Во второй половине сентября 1941 года, после катастрофы советских войск в котле под Киевом, фронт неуклонно приближался к Харькову. Большой город, третий в стране после Москвы и Ленинграда по индустриальной мощи и населению, которое с притоком беженцев возросло с 900 тысяч до полутора миллионов человек, в тревоге ожидал оккупации.

В Харькове насчитывалось почти 70 крупных предприятий, среди них выделялся завод № 135 (авиастроительный) и паровозоремонтный, где собирались танки Т-34. Завод «Красный Октябрь», выпускавший в основном горное оборудование, тоже считался флагманом машиностроения. На нем работало около семисот человек, причем триста носили звание стахановцев. Специальный цех № 2 производил минометы М-82, разработанные СКБ во главе с Борисом Ивановичем Шавыриным.

В конце сентября началась эвакуация харьковских предприятий. Первый эшелон с оборудованием «Красного Октября» ушел в город Ленинск-Кузнецкий Новосибирской области 27-го числа.

В начале октября в связи с возникновением котла теперь уже под Вязьмой обстановка на фронте для Красной армии резко ухудшилась. Командование сняло несколько частей с юго-западного направления и отправило на оборону Москвы. Немцы получили все возможности для взятия Харькова с его важнейшими заводами, которые они не бомбили, руша жилые дома и наводя ужас на людей.

Еще одна партия станков «Красного Октября» отбыла в Сибирь 8 октября. Но завод продолжал работать. Минометы чуть ли не из-под рук рабочих выхватывали военные и увозили на передовую.

Третий эшелон отправился на восток 19 октября. Возглавлял его Анатолий Алексеевич Грищенко – молодой, худощавый, энергичный руководитель.

Родился он в 1913 году. Начинал монтером телефонной станции в Днепропетровске, потом работал слесарем паровозоремонтного завода в том же городе. С 1934 по 1938 год был конструктором в монтажно-техническом тресте и на заводе № 135 в Харькове. В 1938-м окончил институт и начал работать на «Красном Октябре» конструктором, затем стал заместителем начальника механосборочного цеха, начальником техотдела, а перед войной в 1941 году был назначен главным инженером.

Директор завода П. Г. Руденко задержался на один день, чтобы сделать последние распоряжения, вместе с главбухом выдать рабочим зарплату и сдать кассовый остаток финорганам. Шагая по территории завода, Павел Григорьевич поглядывал вверх. Все небо затмевали самолеты со свастикой. Они кружили над центром города и над окраинами, временами с воем пикируя группами по 9–18 одновременно и сбрасывая бомбы.

Рабочие резали станки автогенном. Оставалось взорвать электроподстанцию...

Бои в предместьях Харькова продолжались до 25 октября, после чего наши части отступили и немцы стали хозяевами города.

20 октября Руденко и главбух успели сесть на последний пассажирский поезд и со многими пересадками добрались до Ленинска чуть ли не к Новому году – 16 декабря.

131

Приказом наркомата угля от 17 декабря 1941 года завод «Красный Октябрь» слился с ЦЭММ (центральными электромеханическими мастерскими) треста «Ленинскуголь». Директором его оставался П. Г. Руденко. Он родился в 1894 году, в коммунистическую партию вступил в 1919-м. Был председателем Харьковского облисполкома, до 1940 года возглавлял сельхозотдел Харьковского обкома партии, затем получил назначение на завод.

Приняли эвакуированных хорошо, с теплом, заботой и вниманием. Разместили по квартирам, обеспечили углем.

На новом месте немедленно развернули производство военной продукции. А поскольку станки для изготовления минометов из Харькова не привезли (работали на них до последнего), начинать в Ленинске пришлось с нуля, преодолевая множество трудностей.

Ствол, опорная плита, казенная часть требовали высокой точности и чистоты обработки. КМК в сжатые сроки освоил и начал поставку специальных труб для стволов и листовой стали для опорных плит. А на «Красном Октябре» сделали сложную оснастку, разработали операции расточки, шлифовки, полирования внутренней поверхности стволов до зеркальности, сварку, отжиг, мехобработку. Для об-

точки минометных стволов приспособили токарный станок.

Испытания минометов на полигоне показали высокие результаты. Причем многие предприятия Новосибирской области не справились с подобным же заданием в срок.

Особую техническую сложность представляла отливка минных корпусов из чугуна. Тонкостенные отливки должны быть предельно чистыми, без малейших изъянов. На всех операциях проводился тщательный контроль. А мин десятки тысяч! Проверялось качество на ощупь, кончиками пальцев. Но отверстие – всего 50 мм, и в него проходили только ручки двух девушек-комсомолок. На один корпус уходило 35–40 секунд. Работа в две-три смены, девушки не успевали прощупать всю массу изделий. Технологи и рационализаторы разработали портативные приспособления для проверки, что позволило увеличить выпуск мин. Заряжать их отправляли гужевым транспортом.

Как работали в военное время – это понятно. Станки таскали на себе. Катали по трубам, тащили волоком. А среди рабочих – неокрепшие ребята, много девушек. Подъемных механизмов нет, громоздкие детали ставили-снимали вручную. Для голодных подростков токарная работа порой оказывалась непосильной.

Нет выходных и отпусков, смены по двенадцать часов и более. Иной раз и по двое суток не отходили от станков. Уснувших из-за переутомления обливали водой.

Когда ввели казарменное положение (в середине войны оно было отменено), ночевали прямо в цехе на топчанах с матрасами и подушками, набитыми соломой. Никто не имел права покидать территорию завода.

Туго приходилось зимой, в сильные морозы. Руки так и примерзали к металлу. Грелись за счет болванок, раскаленных в литейном цехе. Или бежали к литейщикам греть ноги в шлаке.

В перерыве рабочим давали по паре картофеля, немного хлеба и овощей, чтобы поддержать пацанов, иногда падавших в обморок. На обед, как правило, прозрачный суп. И если горняки в шахтах получали по килограмму хлеба в день, то заводчане – всего по 450 граммов черного, безвкусного суррогата, который весь крошился и разваливался...

Вскоре завод обзавелся подсобным хозяйством, где выращивали картошку и овощи. В Сталинске для него сделали трактор из запчастей разбитых самолетов и танков, привезенных на переплавку.

Несмотря ни на что, нытиков не встречалось. Общая беда сближала людей, все жили дружно, как родные. Помогали друг другу. Шутили, пели песни и даже по голод забывали.

Жизнь города шла по-своему интересно. Работали красные уголки и клубы, кинотеатр, Дворец культуры треста «Ленинскуголь», городской парк с библиотекой и летними площадками. Выступали с концертами местные самодеятельные артисты, приезжали и такие знаменитые, как Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Вольф Мессинг. Действовали средние школы и школа ФЗО, горный техникум и различные курсы.

В конце 1942 года Ленинск посетил нарком угля В. В. Вахрушев. И с апреля 1943-го завод полностью перешел на изготовление и ремонт горного оборудования, так как ввиду оккупации Донецкого бассейна требовалось ускоренно развивать добычу угля в Кузбассе. В том числе и поэтому в январе 1943 года была образована Кемеровская область.

С отъездом П. Г. Руденко руководство заводом «Красный Октябрь» принял А. А. Грищенко. Руденко был отозван в освобожденный Харьков восстанавливать прежний завод под тем же названием. Через год и Грищенко вернулся в Харьков.

В те тяжелейшие годы на заводе в Ленинске работало 700–900 человек.

После войны директора завода часто менялись, вплоть до И. П. Митюнина, проработавшегося десять лет, начиная с 1957 года.

132

С 1948-го главным инженером на кузбасском «Красном Октябре» работал Яков Яковлевич Георге. Он родился в 1918 году на Украине. До войны окончил учительский институт и работал учителем немецкого языка и математики, затем поступил в Одесский техникум сельского хозяйства. В 1941 году его призвали в ряды Красной армии, но потом, как немца, направили в трудовую армию на строительство Челябинского металлургического комбината. В 1948 году Яков Яковлевич переехал в Ленинск, к эвакуированным родителям. Отличный специалист, Георге сыграл важную роль в развитии завода. При нем строились новые цеха, расширилось литейное производство.

Государство из года в год повышало производственный план, который, впрочем, если и выполнялся, то больше на бумаге, в отчетных документах. За 25 лет существования завода на кузбасской земле валовый выпуск его продукции увеличился почти в десять раз. Но это не говорило об отсутствии проблем.

По существу, завод попал в незавидное положение из-за безразличного отношения вышестоящего руководства. Хотя и свое начальство должно было активней добиваться решения главной проблемы. А она заключалась в низкой заработной плате. На шахтах платили больше и просто переманивали к себе самые сильные рабочие кадры.

Тем не менее завод мог гордиться своими сталеварами (возможно, как раз потому, что шахтам они не надобились). Коллектив литейного цеха всегда отличался высоким трудолюбием, дисциплиной и дружностью. С 1956 года литейщики выполняли норму в среднем на 130 процентов.

В хрущевское время повсюду началось движение за коммунистический труд. В октябре 1958-го везде только и слышалось: «Семилетка... Железнодорожники Москвы... Соревнование...» Шло организованное партией обсуждение инициативы железнодорожников станции Москва-Сортировочная.

Дошло и до «Красного Октября». Пять формовщиков-энтузиастов литейки первыми решили соревноваться за коммунистический труд. Они организовали небольшую бригаду, которая доказала свой приоритет перевыполнением плана и обратилась ко всем трудящимся завода с призывом последовать их примеру.

Бригада начала дружить с пионерами 5-го класса. Школьники приходили в литейный цех, в обеденный перерыв устраивали концерты, дарили рабочим цветы. А бригада докладывала о трудовых свершениях и дарила детям книги со своими автографами за лучшее исполнение в концерте. Настоящая дружба, с отцовской и дочерне-сыновней любовью.

Вскоре уже три цеха носили звание коммунистических: литейный, инструментальный и кислородный. Но в дальнейшем, видимо, порыв ударников как-то иссяк, и завод попал в число самых отстающих предприятий города. На праздничных демонстрациях колонны строились исходя из производственных показателей, и обычно «Красный Октябрь» плелся последним.

В очередную годовщину Октябрьской революции руководство завода пожалело людей (все-таки холодно) и решило выйти на демонстрацию не заранее, а так, чтобы поспеть к концу. Но в тот день колонны прошагали быстрее, и заводчане увидели уже опустевшую площадь. На трибуне резвились мальчишки. Они и приветствовали опоздавших демонстрантов хором: «Да здравствует завод «Красный Лапоть!»»

В 1967 году генеральный директор комбината «Кузбассуголь» Владимир Павлович Романов снял Митюнина с должности и назначил на его место Бажанова.

Владимир Иванович Бажанов приехал в Ленинск после майских праздников. Завод встретил его смрадным дымом, закрывшим небо. В темных цехах копошился рабочий люд. Территория по колено утопала в грязи. На работе директор ходил в резиновых сапогах.

Роль личности в истории

За плечами Бажанов, родом из крестьян, имел 37 лет жизни и сиротскую юность. Его дед по отцу Антон Андреевич в начале XX века приехал в Томскую губернию, получив от государства заем на освоение целины. Работящая семья прочно осела на сибирской земле, корчюя пни и распахав несколько десятин. Сеяли в основном рожь.

В годы коллективизации старшего сына Антона Андреевича раскулачили и отправили в Нарым. А младший Иван, отец будущего директора «Красного Октября», уехал в Томск, где обеспечивал семью своим трудом печника. Однако и его репрессировали, как «сына кулака». Лишившись кормильца, семья просто умирала с голоду.

Мать одна воспитывала троих детей. А Володя, старшенький, помогал матери. Он очень хотел учиться, но не смог окончить и семи классов: землеробил, ловил рыбу, шишковал.

Когда Владимир дорос до восемнадцати, мать решила отпустить его в город Шахты Ростовской области, где жили родственники. Там он устроился горнорабочим и одновременно учился в вечерней школе.

Мощность угольного пласта в шахте не превышала 70 сантиметров. Фактически лишь нора в земной тверди. Дважды Владимир чуть не погиб. Однажды его завалило. Спасли два электрослесаря, работавшие неподалеку. Они заметили ноги в лаптях, торчащие из-под породы, и вытащили бездыханного парня. Еле откачали его тогда.

После этого Владимир ушел из шахты. Но нужда опять погнала под землю. И снова он оказался между жизнью и смертью: придавило сошедшей с рельсов вагонеткой. Хорошо, что лебедчица сумела ее остановить.

Вернувшись в Томск, Бажанов поступил в горный техникум, учился и работал. Выпустился через три года (вместо положенных четырех) с красным дипломом. Затем его приняли на очное отделение Томского политехнического института.

После окончания вуза, в 29 лет, на выпускном вечере студентов мединститута он познакомился с 22-летней Людмилой, ставшей его верной спутницей жизни. Поженившись, молодые специалисты уехали по распределению в Анжеро-Судженск, где Бажанов скоро дорос до главного механика шахты.

Он занимался автоматизацией и был на хорошем счету у руководства комбината «Кузбассуголь» – умный и ответственный инженер. Не раз Бажанов ездил в Ленинск на «Красный Октябрь», и всегда у него оставалось чувство досады: как трудно пробиться с заказами на завод, причем сроки их исполнения не гарантировались.

И вдруг как раз сюда Романов бросил его на прорыв.

Прежде всего Владимир Иванович решил избавиться от грязи на территории. Ему удалось приобрести аэродромные плиты и ликвидировать проблему.

Конечно, начинающему директору пришлось нелегко. Весь заводской коллектив пребывал в апатии, ничто людей не интересовало. Бажанов задумался: как же их пробудить?

Начал, во-первых, с того, что... купил футбольную команду. То есть устроил спортсменов «подснежниками» в штат, чтобы они своей игрой поднимали дух заводчан. Во-вторых, взялся за организацию самодеятельности.

При этом Бажанов постоянно заседал на руководство «Кузбассугля»: как можно рабочим жить на такую мизерную зарплату?! И уже в 1967 году доходы у людей заметно выросли. Примечательно, что Владимир Иванович завел себе настольную книгу учета оплаты труда буквально каждого работника!

Отток кадров сократился. И работали люди на совесть. Авторитет завода повысился. При профкоме создали штаб по культуре производства, а при парткоме – штаб по потере рабочего времени, действующий под лозунгом «Каждый час – делу коммунизма».

В 60-х годах угольная промышленность вступила в фазу модернизации. На замену комбайнам и индивидуальной крепи пришли механизированные угледобывающие комплексы со многими элементами гидравлики. Поэтому и «Красному Октябрю» требовались более высокие технологии.

На заводе создали участок по внедрению новой техники, куда вошли лучшие специалисты из числа ИТР и рабочих. Развернулось рационализаторство. Ведущие специалисты ездили в другие регионы страны и перенимали передовой опыт на родственных предприятиях.

Сам директор все больше вникал в машиностроительный профиль и вносил рацпредложения. За усовершенствование конструкции проходческого комбайна Горловского машзавода он был награжден своим первым почетным знаком «Шахтерская слава».

В 70-х выпускалось множество продукции, причем в некоторых ее видах завод обошел всех конкурентов. Анкерной крепи производили миллион комплектов в год. Отправляли ее и в европейскую часть страны, и на восток: в Приморье, на Сахалин. Не говоря уже о том, что все шахты Кузбасса пользовались ею. Все новое и лучшее, что появлялось в технологии изготовления анкерной крепи, применялось на «Красном Октябре». Все охотились именно за ленинской крепью, даже самая современная

шахта «Распадская» выбирала ее из ряда аналогичной продукции (к примеру, междуреченского, осинниковского и прокопьевского заводов).

Завод работал ритмично, на счету всегда лежали хорошие деньги. Правда, не могли тогда приобрести никакого дополнительного оборудования: все регламентировалось Министерством угольной промышленности. Так что средства было тратить особо не на что.

Еще в 1968 году на «Красный Октябрь» устроился 26-летний хормейстер Александр Степанович Суворов. Он родился и провел юность в деревне, по натуре таежник, охотник и рыбак. В наследство от отца ему досталась гармонь, которую он освоил так хорошо, что впоследствии приезжал лауреатом с Маланинских конкурсов, проводившихся в Новосибирске.

Людей не на шутку захватила художественная самодеятельность, каждый цех соревновался на сцене с другими. Заводские самородки занимали первые места в городских и областных конкурсах. И хор, созданный Суворовым, превзошел все ожидания. Пели хористы самозабвенно. Общие увлечения сближали людей, поднимали настроение, что положительно отражалось и на производительности труда.

На заводе всегда чувствовалось приближение праздников, возникало оживление. На концертах неизменно присутствовало все заводское начальство, зал набивался битком. Со сцены лились «Ой, туманы мои», «Скажите, девушки, подружке вашей...», «Моя страна», «Мир, мир, мир нужен всей планете», «Песня о хлебе». И вот эта самая песня, где «хлеб всему голова», всегда особенно волновала слушателей.

Однажды на смотр прибыла областная комиссия, оценивающая качество самодеятельных коллективов. Когда хор завода умолк и растаяла последняя нота «Песни о хлебе», зал на несколько секунд замер. Потом публика поднялась и аплодировала стоя. Поневоле и члены комиссии тоже встали и захопали в ладоши. Аплодисменты переросли в овацию...

Бажанов тщательно подбирал команду главных специалистов, ища людей одаренных, с искрой энтузиазма.

Отношения с главным инженером Георге у него как-то не сложились, хотя тот безупречно знал производство. В 1970 году Якова Яковлевича повысили – перевели в комбинат «Кузбассуголь». А на «Красном Октябре» должность главного инженера принял молодой специалист Антон Казимирович Скурвидас. Бажанов с ходу почувствовал в нем деловую хватку и особую творческую жилку. Впоследствии тот усовершенствовал технологию ремонта мехкрепи, ги-

дравлики, очистных и проходческих комбайнов. Триумфом жизни Скурвидаса стало получение в 80-х годах Государственной премии за успехи в изготовлении анкерной крепи.

По достоинству оценил Бажанов и мудрость начальника литейного цеха А. А. Михайловского, подняв его до должности замдиректора по экономике, на которой Аверий Аронович, «экономист от Бога», неумоимо работал как генератор смелых идей.

Завод расширялся, строились новые цеха. Михайловский подумал: а что, если привлечь к производству местные исправительные колонии? Задействовали около трехсот заключенных, а были среди них и первоклассные станочники. Так удалось закрыть потребности шахт в ремонте горного оборудования.

В 70-х годах заместителем директора по производству работал Борис Николаевич Усачев. Начал он со слесаря. На заводе с 14 лет. По путевке с производства пошел в институт. После его окончания – снова в родном коллективе. Инициативный, авторитетный Усачев входил в партбюро завода, к его мнению все прислушивались.

Николай Иванович Дорошкевич тоже из бажановской плеяды. В юности он поработал шофером. На завод пришел слесарем. Окончил Свердловский горный институт и со временем стал заместителем генерального директора по производству. Немалую роль в росте Дорошкевича как специалиста сыграл Б. Н. Усачев, который и оставил его на этой должности после себя.

Понятно, что и до Бажанова на заводе водились все положенные избираемые руководители – партторги, комсорги, профсорги. Однако при Владимире Ивановиче люди на эти посты стали подбираться грамотно и на перспективу, чтобы не сидели пустым местом и давали отдачу.

В 1970 году Ф. М. Карбышев был избран председателем профкома завода, имевшего в то время клуб, библиотеку, турбазу, пионерский лагерь. Дети заводчан отлично питались, лето проводили за городом.

Люди шли к Федору Михайловичу, зная, что он не отмахнется от них. Карбышев уважал других и потому сам был уважаемым человеком. Достойным преемником его стал Валерий Ильич Харитонов, 28 лет руководивший завкомом (1990–2018).

Партийная организация «Красного Октября» начала свою деятельность в октябре 1941 года, когда первые вагоны с оборудованием прибыли из Харькова. За следующие полвека, вплоть до роспуска КПСС в 1991 году, в парторганизации сменилось около десятка секретарей. Первый из них – харьковчанин Нарыжный, один из организаторов запуска оборудования в производство.

В начальный период директорства В. И. Бажанова партийным лидером была Мария Алексеевна Головлева, фронтовичка, всей душой преданная идее коммунизма. После нее партком возглавил А. Догдов, но работал на этом поприще недолго. Его сменил Анатолий Васильевич Дульцев, ставший заметной фигурой на заводе. Связка Бажанов – Дульцев – Карбышев осталась в памяти многих людей самой продуктивной за всю историю «Красного Октября» советского времени.

В последние годы секретарем парткома избрали С. Пискунова. Ему и пришлось сдавать личные дела коммунистов в архив.

А. А. Михайловский любил собирать грибы и в выходные нередко выезжал за город. Как-то раз, выйдя из березового околка, он остановился, с любопытством озирая открывшийся пейзаж. В голове возник целый рой мыслей.

Аверий Аронович видел перед собой недостроенный поселок шахты «Никитинская» с фундаментами зданий и кое-где начавшими возводиться кирпичными стенами. Когда-то здесь заложили новую шахту, но недооценили силу грунтовых вод, которые хлынули в штреки. Ствол законсервировали до лучших времен и покинули это место, расположенное в 20 километрах от города. Поселок, по сути, бросили на произвол судьбы.

Следующим утром Аверий Аронович изложил свою идею Бажанову:

– Почему бы нам, учитывая недостаток рабочих сил, не трудоустроить безработных, которые там живут, и не достроить поселок?

Владимир Иванович сразу поддержал предложение, сулившее богатые перспективы. Свежий ресурс оказывался как нельзя кстати.

Документы в горисполкоме быстро согласовали. Заводской ОКС немедленно развернул работу. Финансовое положение предприятия позволяло не стесняться в средствах.

В Никитинке вырос целый квартал пятиэтажек: завершили шесть домов долгостроя и возвели два новых. Часть квартир получали врачи, учителя и другие бюджетники. Кроме того, в поселке появилась сберкасса, поликлиника, овощной магазин и новая артезианская скважина.

Вообще завод ежегодно сдавал примерно по 50 квартир. Отработав добросовестно три года на предприятии, человек гарантированно получал жилье. К концу 80-х заводчане полностью самообеспечились жильем.

И вдруг, когда сдавали на Никитинке очередной жилой дом и люди уже получили ордера, городские власти распорядились отдать первый этаж под музыкальную школу!

735

Владимир Иванович потерял покой. Как сказать потенциальным жителям первого этажа, что они не получат долгожданных квартир? Это было бы просто бессовестно. Убеденный в своей правоте, Бажанов принял твердое решение о вселении.

Скандал вышел невероятный. Хозяев квартир едва не заблокировала милиция, зато люди не обманулись в своих ожиданиях и справили новоселье.

Однако теперь над Бажановым нависла неизбежная кара. Конечно, ему было не привыкать к несправедливости и оплеухам сверху. Он помнил, например, случай с новым цехом по ремонту гидравлики. Открывать его на завод приехал министр угольной промышленности СССР Борис Федорович Братченко. «Спасибо за цех», – поблагодарил он Бажанова, а тот ответил, что слова благодарности ему особенно дороги, тем более что за этот цех его уже «поощрили» контролирующие органы, усмотрев какие-то нелепые нарушения нормативных актов и сняв с директора два должностных оклада. Министр побагровел от гнева и потребовал, чтобы руководство комбината премировало Бажанова в размере хотя бы одного оклада...

Но случай с Никитинкой грозил кое-чем покруче. Дело могло кончиться исключением из партии и дальнейшими оргвыводами. Возмущенный Бажанов жаждал дать бой горкому партии, ведь сам он тоже коммунист, у него есть право на критику и отстаивание собственного мнения. Почему он, а не горком должен признавать свою ошибку?

Но один близкий товарищ, директор шахты, посоветовал ему все же не лезть в бутылку: никакие, мол, разумные доводы тут не помогут. И Владимир Иванович внял совету.

Словно Галилео Галилей на суде инквизиции, стоял он перед сидящими за длинным столом хмурыми членами бюро горкома и, превозмогая себя, мучительно каялся. То есть признал ошибку и в то же время пытался оправдаться желанием не подвести людей. Вся его тучная фигура выражала покорность (после тридцати лет он начал полнеть и никак не мог справиться с лишним весом).

Признание вины Бажановым горком принял, тем не менее наказали его довольно сурово: лишили городского депутатского мандата и сняли фотографию с Доски почета.

До конца дней своих Владимир Иванович сокрушался из-за того, что повинулся и не выступил с решительным обоснованием своей правоты. Его всегда вела вперед вера людей, для них он жил и работал. Заводчане абсолютно доверяли ему. Даже в конце 80-х годов, когда бастовали все угольщики, «Красный Октябрь» продолжал работать, потому что Бажанову удалось убедить стачком: забастовка сродни самоубийству, у завода в таком случае не будет ни денег, ни заказов.

Лекарства от кризиса

Экономически простодушное время позднего социализма может теперь казаться примитивным, но многие заводские ветераны ностальгируют о нем: так хорошо, так весело тогда жилось! Турбаза, пионерский лагерь, детский сад, дешевая столовая. А какая самодеятельность! А какие были понижающие и душевные люди! Жили дружно, праздники отмечали всем коллективом.

На ленинских субботниках работа кипела под музыку. Территория завода и цеховые интерьеры преображались до неузнаваемости: везде чистота, окна промыты, сделаны ровные проходы, все аккуратно уложено. Выезжая после зимы на уборку пионерского лагеря, ИТР дружно трудились на свежем воздухе, с шутками и прибаутками.

В глазах скептика действительность может выглядеть иначе. На территории завода высится гора металла. Вход с задней стороны ограды открыт – любой бери себе по мелочи чего хочешь. За «жидкую валюту» всегда можно заказать у токаря нужную по хозяйству мелочевку. В цеховых закутках нередко спят пьяные работяги, если не бродят по заводу. Заседают комиссии, которые настойчиво внушают алкоголикам, что трезвость – норма жизни...

В технологических процессах большое место занимал ручной труд. Самый простой пример: женщины стояли у конвейера, по которому уголь из бункера поступал в котельную, и руками отбрасывали поро-
136
ду (сейчас этого нет, уголь привозят без породы).

Очень неприятную проблему представлял собой мазут для цеховых печей, приходивший два-три раза за зиму. По-хорошему, то есть по правилам перевозки, цистерны должны были бы отапливаться специальной системой прогрева. Но на практике эта система бездействовала, забитая шлаком.

Мазут замерз, в подземное хранилище не сливается, а вагоны надо возвращать железной дороге, иначе штраф. Единственный способ – разжечь под цистерной костер (не устроив при этом пожар) и довести продукт до точки плавления плюс 40 градусов. Когда процесс подходит к концу, слесаря-сантехники по горячему кострищу подлезают под цистерну и открывают вентиль гофрированного шланга. И вся эта героическая эпопея, продолжавшаяся до полутора суток (причем главный механик до ее исхода домой ни-ни), благополучно завершается...

Последние годы директорства В. И. Бажанова совпали с катастрофическим распадом социализма. Все вокруг трещало и ломалось, как в шторм на паруснике.

Резко уменьшился объем заказов от шахт. Численность трудового коллектива завода упала с 1800

до 1000 человек. Хотя никого не сокращали – наоборот, старались удержать людей.

Объединение «Ленинскуголь» предложило заняться изготовлением напольных канатных дорог совместно с германской фирмой. Сначала из-за малого договорного объема сотрудничать немцы не хотели. Но заводчане все-таки ухитрились заключить контракт.

Однако кончилась валюта – не стало и напольных дорог. На помощь пришли шахты, где работало много польских конвейеров: решили изготавливать их на «Красном Октябре». Это тогда спасло завод от банкротства.

А еще создали свое подсобное хозяйство: более 500 голов крупного рогатого скота, в том числе 250 дойных коров. Приобрели сельхозтехнику, засеяли 1500 га полей. Такого огромного ПСХ не имело ни одно предприятие области. В сутки заводская пекарня выпекала 2000 буханок хлеба, который выдавался в счет зарплаты: хлеб всему голова!

В 1994 году, выйдя из состава «Ленинскугля», завод перешел в ведомство Комитета по машиностроению.

Однажды Бажанов пришел к выводу, что, несмотря ни на какие невзгоды, он счастливый человек: есть любимая работа, крепкая семья, дом и город, ставший родным.

В 1996 году Владимира Ивановича проводили на заслуженный отдых, он повел образ жизни обычного российского пенсионера. На склоне лет супруги Бажановы продолжали жить в квартире старого двухквартирного дома, которую получили по приезду в Ленинск-Кузнецкий. Они ни разу никуда не брали путевки, предпочитая отдых в Сибири. Для Владимира Ивановича рыбалка и охота в тайге всегда были отдохновением души.

На покое дома он с наслаждением трудился в теплице, разводил кур и нутрий. Смотрел по телевизору футбол, читал газеты и книги.

Владимир Иванович Бажанов ушел из жизни в 2013 году.

После проводов В. И. Бажанова на пенсию новый директор по существовавшим тогда правилам должен был избираться трудовым коллективом. Однако многое зависело от предложения Владимира Ивановича. И он из ряда достойных кандидатур: В. А. Жукова, замдиректора по производству Н. И. Дорошкевича и бывшего парторга А. В. Дульцева – остановил свой выбор на первом. Жукова и избрали на собрании коллектива.

Вячеслав Александрович пришел на завод в 1974-м мастером инструментального цеха, позже его по достоинству оценили как первоклассного технического специалиста и после отбытия

А. К. Скурвидаса в Москву назначили главным инженером.

Как первый в городе избранный директор, он чувствовал огромную ответственность перед людьми, оказавшими ему такое доверие. На долю Жукова выпали все испытания переходных лет – с денежной инфляцией, крахами банков, нестабильностью законов, когда закрывались и бесследно исчезали целые производственные объединения.

В то время завод действовал в правовой форме акционерного общества и назывался «КРОК» (аббревиатура от «Красный Октябрь»). Вскоре, однако, единодушно решили вернуть заводу его историческое название. И утвердилось АО «Красный Октябрь».

Жуковское десятилетие (1997–2007) знаменовалось отчаянной борьбой за выживание. Директор стремился сохранить коллектив, ценнейший костяк которого образуют рабочие-станочники. Вячеслав Александрович всегда следовал своему лозунговому афоризму: «Прививка от кризиса – самоотверженный труд».

В то же время стиль руководства Жукова отличали элементы самодурства, и ему ничего не стоило, скажем, понизить главного инженера (за высказанное им собственное мнение!) до начальника инструментального участка, где работает от силы полтора десятка человек. Несколько обиженных итэ-эровцев ушли с «Красного Октября» в другие места.

Для удержания кадров директор старался вовремя выплачивать зарплату и загружал цеха работой. Однако рынок диктовал свои условия: изделия, которые так хотелось продать, никто не покупал. Склады ломались от неликвидов...

Пришлось, конечно, отказаться от содержания подсобного хозяйства, равно как и от других социальных объектов: турбазы, детсада и т. д. Прекратилось и строительство жилья.

В целом же итог таков: завод выжил, но пока что не смог приспособиться к новым условиям. Он жил одним днем, не делая стратегических расчетов. В. А. Жуков как раз уходил на пенсию (и вскоре преждевременно умер).

В 2007 году в должность генерального директора ООО «Красный Октябрь» (правовая форма изменилась) вступил Вячеслав Мефодьевич Голубев и около двух с половиной лет занимался оздоровлением экономической ситуации. Горняк по специальности, он самостоятельно изучил мировой опыт спасения от банкротства, и «Красный Октябрь» стал не первым предприятием, где он выполнял эту миссию. Благодаря его антикризисной программе завод ожил.

В. М. Голубев снижал издержки, искал новую номенклатуру продукции. При нем выпустили другие типы конвейеров, дегазационные трубы, перегру-

жатели. Приняли и такую суровую меру, как сокращение кадров: с предприятия ушло около двухсот человек. Самое главное, В. М. Голубев и технический директор А. В. Аксенов дали толчок к изменению сознания заводчан: люди поняли, что производство должно быть рентабельным.

Наглядно сократились расходы. Если раньше, например, содержание котельной ежемесячно обходилось в полтора миллиона, то после реорганизации – не более чем в 450 тысяч рублей.

При этом на 60–70 процентов повысилась выработка продукции на одного работника. Выросла и заработная плата. Ушла уравниловка: Голубев ввел новую систему оплаты труда и систему учета качества. Станочники начали зарабатывать столько, что хотели работать две смены подряд.

Но едва в 2008 году на заводе наступила стабильность, как грянул мировой экономический кризис. К тому времени, в принципе, проблем с заказами не имелось, но как-то стало не до развития: лишь бы выжить.

За период кризиса не сократили ни одного человека, хотя объемы работ упали на 40 процентов, ниже стала и заработная плата. Конечно, неприятно и тяжело, но все в коллективе понимали, что эти обстоятельства от руководства не зависят. В то время завод хорошо поддержала компания «СУЭК» – добрый стратегический партнер.

Заводчане удержали свои позиции на рынке, веря в скорое завершение стагнации. Перелом наступил в 2010-м, когда возникло чувство твердой почвы под ногами: заказы просто посыпались.

Петр Борисович Панов – генеральный директор завода с 2010 по 2014 год. Он начал с того, что навел жесткий порядок в снабжении, сразу сократив издержки. Под его руководством специалисты скрупулезно разработали инвестиционный план. На заводе появилось уникальное для областной отрасли машиностроения оборудование.

Ветераны «Красного Октября» любят свой завод. Да и как не любить его? Он и кормилец, и друг, и

брат, он и в последний путь тебя проводит, выдав родственникам зную сумму на погребение.

В этом году завод отмечает свое 80-летие. За это время он пережил немало: военное лихолетье, два десятилетия аутсайдерства, 30 лет расцвета, потрясения перестройки, нерадостные испытания вхождения в рынок.

Сейчас ООО «Красный Октябрь» – это современное предприятие с числом работающих около 500 человек во главе с генеральным директором Александром Владимировичем Михайловым, который пришел на производство (после окончания НЭТИ с красным дипломом) в 1986 году и в начале нового века по праву занял должность главного инженера.

В последнее время на заводе освоены сложные технологии ремонта белазовской гидравлики, капитального ремонта проходческих комбайнов компании «Уралкалий», в которых более трехсот механических узлов. Продолжается ремонт и производство оборудования для угольных шахт, особенно в партнерстве с компанией «СУЭК-Кузбасс». И топ-менеджеры, и среднее звено ИТР, и рабочие-станочники ощущают себя в постоянном трудовом драйве – вот чему поражаешься, когда видишь их в деле, среди гула работающих цехов.

Подъем производства, испытываемый ныне, означает отсутствия проблем. Заводское руководство беспокоит дефицит станочников, так как государство самоустранилось от обучения кадров в ПТУ. Похоже, правительство страны не заботится и о научных разработках в области машиностроительных технологий: специалисты сетуют на то, что новинки знаний приходится наудачу ловить в интернете. Государство, полагают заводские интеллектуалы, должно повернуться лицом к машиностроению.

Но в целом завод «Красный Октябрь» с его славными конструкторами, технологами, механиками и рабочими смотрит в будущее оптимистично. На фоне целого ряда кузбасских предприятий, ушедших в небытие из-за экономического бессилия, у него есть повод радоваться чуду выживания.

138



**Виктор
ЧУРИЛОВ**

МАТЬ ПОЭТА

Многие из нас представляют творчество Некрасова, к сожалению, несколько однобоко – так, как нам внушали школьные и вузовские педагоги: певец народной скорби, поэт-гражданин, поэт-трибун и т. п.

Все это верно.

Но ведь Некрасов был не только мастером поэтической публицистики, сатиры и юмора, не только автором эпических полотен. Он был еще и тонким лириком. Если отложить в сторону школьную хрестоматию и взять в руки пусть даже не полное собрание его сочинений, можно найти великолепные, ничуть не уступающие по силе его гражданской публицистике стихи о любви. Причем обращены они не только к любимой женщине, но и к человеку, который дал ему жизнь – и телесную, и духовную. Светлый образ матери проходит через все творчество Некрасова.

«Я помню себя с трех лет, – говорит поэт в своих воспоминаниях. – Писать стихи начал с семи, помню, я что-то посвятил матери в день ее именин:

*Любезна маменька! Примите
Сей слабый труд
И рассмотрите,
Годится ли куда-нибудь...»*

Именно к матери обращены его мысли, его воспоминания, его любовь и перед самым уходом из жизни:

*...Но перед ночью непробудной
Я не один... Чу! голос чудный!
То голос матери родной:
«Пора с полуденного зноя!
Пора, пора под сень покоя;
Усни, усни, касатик мой!
Прими трудов венец желанный,
Уж ты не раб – ты царь венчаный;
Ничто не властно над тобой!*

.....

*Не бойся горького забвенья:
Уж я держу в руке моей
Венец любви, венец прощенья,
Дар кроткой родины твоей...
Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой,
Баю-баю-баю-баю!..»*

Восторженно отзывался об этом стихотворении знаменитый художник-портретист Иван Крамской – в те дни он писал портрет Некрасова: «...Какие стихи его последние, самая последняя песня «Баюшки-баю»! Просто решительно одно из величайших произведений русской поэзии!»

«Голос матери родной» вдохновляет Некрасова и в поэме «Мать», которую он не успел закончить. А начал ее поэт так:

*В насмешливом и дерзком нашем веке
Великое, святое слово: «мать»
Не пробуждает чувства в человеке.
Но я привык обычай презирать...
Я много лет среди трудов и лени
С постыдным малодушьем убегал
Пленительной, многострадальной тени,
Для памяти священной... Час настал!..*

139

Пожалуй, поэт излишне самокритичен к себе. О том, кем была для него мать, знали товарищи Николая по гимназии, которым он, по воспоминаниям одного из однокашников, часто о ней рассказывал.

А когда уже начал заниматься литературным творчеством всерьез, вплел образ матери в ткань одного из лучших своих стихотворений – «Родина»:

...Вот темный, темный сад...

*Чей лик в аллее дальней
Мелькает меж ветвей, болезненно-печальный?
Я знаю, отчего ты плачешь, мать моя!
Кто жизнь твою сгубил... о! знаю, знаю я!..
Навеки отдана угрюмому невежде,
Не предавалась ты несбыточной надежде –
Тебя пугала мысль восстать против судьбы,
Ты жребий свой несла в молчании рабы...
Но знаю: не была душа твоя бесстрашна;
Она была горда, упорна и прекрасна...*

Кто же она, мать поэта – с ликом болезненно-печальным, с душой гордой, упорной и прекрасной? О ком он так сокрушался и печалился? Кем так гордился и кого так нежно любил?

К сожалению, биографических сведений о матери поэта до нас дошло немного. Известно, что Елена Андреевна Некрасова (урожденная Закревская) была дочерью богатого польского пана. Красавица

полька получила хорошее образование, играла на фортепьяно, пела, читала в подлинниках иностранную литературу. И, конечно, семья ни за что не согласилась бы выдать ее замуж за небогатого армейского офицера в чине капитана. Но девушка влюбилась в него и, не спросив благословения родителей, позволила Алексею Некрасову увезти себя (по его словам, «прямо с бала») и обвенчалась с ним по дороге в полк. Счастливым замужество матери поэта не стало, что он с душевной болью подчеркивал всякий раз, обращаясь к этой теме. В той же автобиографической поэме «Мать» есть 3-я глава, единственная из трех, которой Николай Некрасов дал название («Письмо»). Бабушка поэта взывает к дочери, променявшей роскошный родительский дом, внимание блестящих поклонников, богатство, родину – на российское захолустье, на рабскую жизнь с мужем-деспотом, который чтит национальный обычай «любить и бить», на бедность, на чужбину:

*Какую ночь я нынче провела!
О дочь моя! Что сделала ты с нами?
Кому, кому судьбу ты отдала?
Какой стране родную предпочла?*

Письмо из Варшавы, найденное сыном в архиве родителей после кончины матери, потрясло его:

*Я книги перебрал, которые с собой
Родная привезла когда-то издалёка,
Заметки на полях случайные читал:
В них жил пылкий ум, вникающий глубоко.
И снова плакал я, и думал над письмом,
И вновь его прочел внимательно с начала,
И кроткая душа, терзаемая в нем,
Впервые предо мной в красе своей предстала.*

*И неразлучною осталась ты с тех пор,
О мать-страдалица! с своим печальным сыном...*

Беспокойство бабушки поэта о судьбе своей дочери оказалось не напрасным. Жизнь Елены Андреевны вдали от дома была и трагичной, и короткой. Восемнадцати лет она вышла замуж за двадцатидевятилетнего Алексея Сергеевича Некрасова, а на сорок первом году ушла из жизни.

Мы не знаем, что толкнуло навстречу друг другу двух этих, как выяснилось позже, во многом чуждых людей. Но свершилось то, что свершилось! Любовь прекрасной гордой панночки, отбросившей обычаи и нравы своего сословия, не побоявшейся стать «москаля презренной рабой», подарила нам певца, равного которому найдется мало не только на Руси, но и в мире.

В поэме «Мать» у Некрасова есть такие строки:

*Незримой лестницей с недавних юных дней
Я к детству нисходил, ту жизнь припоминая,
Когда еще была ты нянею моей
И ангелом-хранителем, родная.*

Не правда ли, эти строки чем-то напоминают стихи Пушкина, посвященные его няне Арине Родионовне? И думается: как хорошо, что у поэта Некрасова тоже был ангел-хранитель, а кроме того, наставник и учитель – его мать, к которой он столько раз обращал слова благодарности.

110

*...И если я наполнил жизнь борьбою
За идеал добра и красоты,
И носит песнь, слагаемая мною,
Живой любви глубокие черты –
О мать моя, подвигнут я тобою!
Во мне спасла живую душу – ты!*

г. Юрга



Юрий
ПЕРМИНОВ

ОМСК, ГДЕ ДОСТОЕВСКИЙ – МЕСТО ДЛЯ ГУЛЯНОК. ИЛИ ПОМИНОК...

Увы, в России о Достоевском вспоминают по преимуществу лишь в годы круглых дат. И с сожалением приходится констатировать, что и наш город в этом отношении выступает в парадоксальной ситуации «сапожника без сапог», оставляя на периферии общественного сознания то главное, что связывает гения с Омском. Да, можно услышать из уст чиновников, что-де Федор Михайлович «получил у нас... почву для написания великих романов, которые сегодня ценит весь мир». И только? А почему либеральный «дебошир» после четырех лет каторги стал и гением мировой литературы, и великим гражданином России?

Недавно оказался рядом с памятным знаком, представляющим собой тюремную дверь и орла, якобы вылетающего из нее на свободу. Не стану говорить о художественных достоинствах и недостатках композиции, ибо специалистом по городской скульптуре не являюсь. Безусловно, есть и то и другое. Но едва ли данное произведение монументального искусства даст ответ на поставленный выше вопрос. «Скульптура необычная, особенная, заставляет остановиться и задуматься», – резюмировал губернатор, добавив, что сия композиция непременно понравится гостям нашего города. Останутся – да, чтобы сфоткаться, высунув ржущую моську в широко распахнутый, точно во время выдачи баланды, шлиф (прошу прощения за мой французский). А вот задумаются – едва ли... Все-таки стоило прислушаться к мнению омского краеведа И. Л. Коновалова, заявившего о мировоззренческой неуместности такого образа...

А что у нас в программе празднования 200-летия Ф. М. Достоевского? Да, немало «разумного, доброго, вечного», но тут же – некие, прости господи, «плей-квесты».

Несколько лет назад в Омске появился ресторан-пивоварня «У Пушкина». А есть еще банкетный

зал «Достоевский». Это продуманное смещение понятий, перемена векторов. Бандиты и гламурные шлендры – герои нашего времени. Пушкин – всего лишь пивной «бренд». Достоевский – место для гулянок. Или поминок... Символы уровня культуры наших дней и нашего сегодняшнего общества. В том числе и «плей-квесты».

Главная человеческая подлость заключается в отсутствии верности собственной культуре, собственному языку, в глумлении над ними.

Вот разбуди иного более-менее начитанного омича среди ночи да попроси его процитировать что-нибудь из Достоевского; с большой степенью вероятности он выдаст фрагмент из письма писателя к брату Михаилу: «Омск гадкий городишка. <...> Городишка грязный, военный и развратный в высшей степени». Правда, после «городишка» чаще всего цитирование обрывается, хотя в письме есть и другое: «Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо, и так хорошо, как, может быть, не многие знают его. Но это мое маленькое самолюбие! Надеюсь, простительно...»

Это знание, по точному слову исследователя творчества Достоевского В. Н. Захарова, отличает автора бессмертного «Пятикнижия» от всех писавших и пишущих о народе: для него народ не был



предметом изучения, Достоевский жил с народом, разделил его судьбу и верования. «Уверю Вас, что я, например, до такой степени родня всему русскому, что даже каторжные не испугали меня, – писал Достоевский А. Н. Майкову из Семипалатинска в январе 1856 года, – это был русский народ, мои братья по несчастью, и я имел счастье отыскать не раз даже в душе разбойника великодушие, потому, собственно, что мог понять его; ибо был сам русский...»

А «маленькое самолюбие» гения более чем простительно, и людей-то в Омске Федор Михайлович все-таки нашел, и немало, и полюбил их – страшных и несчастных, четыре года живя одной с ними жизнью...

Достоевский, осужденный в конце декабря 1849 года «за недонесение о распространении преступного о религии и правительстве письма литератора Белинского» на смертную казнь, а затем помилованный, лишенный чинов и всех прав состояния, сосланный на четыре года на каторжные работы в Сибирь, привез в Омский острог две книги: полученную от брата еще в Петербурге Библию на церковнославянском языке и подаренный ему в Тобольске Новый Завет на русском языке. Библию украл и пропил арестант Петров. Остался только Новый Завет.

Вряд ли найдется кто-либо еще, кто, как Достоевский, не только четыре года читал одно Евангелие, но пережил и прожил его как свою судьбу – страдания, смерть и воскрешение Христа как свою смерть в «Мертвом доме» и свое воскрешение в новую жизнь. Эта книга – священный ключ к пониманию творчества великого писателя и его сложной противоречивой натуры – вобрала в себя не только страдания, но и духовный опыт Федора Михайловича. Непрерывный внутренний диалог, постижение мудрости и открывающегося величия Нового Завета вызвали у Достоевского потребность вновь и вновь перечитывать Священное Писание.

Об этом свидетельствуют его многочисленные (более 1400 на 600 страниц) пометы карандашом, чернилами, отметы ногтем в тексте и на полях, установленные и реконструированные с помощью оптико-электронного оборудования учеными отдела рукописей Российской государственной библиотеки. Итоги этой работы легли в основу подготовленного Общественным благотворительным фондом «Возрождение Тобольска» и Российской государственной библиотекой факсимильного трехтомного издания «Евангелие Ф. М. Достоевского». Как говорит уже упомянутый почетный президент Международного общества Достоевского В. Н. Захаров, «эти пометы, видимые и невидимые, в полном смысле превращают Книгу в дневник перерождения старых и рождения новых убеждений».

Евангелие стало настольной книгой Федора Михайловича на протяжении тридцати с лишним лет до дня его смерти. Достоевский не только читал и перечитывал, не только вглядывался и вдумывался в смыслы Священного Писания, – оно было и инструментом, и языком творчества...

Понятно, что нет никакой «заслуги» собственно Омска в том, что именно здесь свершилось «перерождение убеждений» Достоевского, начавшееся на Семеновском плацу в Санкт-Петербурге, но это был именно наш город. «О! это большое для меня было счастье: Сибирь и каторга! – восклицал Достоевский, например, в 1874 году в разговоре с писателем Вс. С. Соловьевым. – Говорят: ужас, озлобление, о законности какого-то озлобления говорят! ужаснейший вздор! Я только там и жил здоровой, счастливой жизнью (курсив мой. – Ю. П.), я там себя понял, голубчик...» (Ну и при чем здесь хищная птица, принадлежащая к семейству ястребиных и куда-то рвущаяся? Или это как-то связано с эмблемой омской хоккейной команды?)

Именно в Омске Федор Михайлович «...Христа понял... русского человека понял и почувствовал, что и я сам русский, что я один из русского народа. Все мои самые лучшие мысли приходили тогда в голову, теперь они только возвращаются, да и то, да и то не так ясно. Ах, если бы вас на каторгу!»

Вспомним, чем заканчивается вторая часть «Записок из Мертвого дома»: «Кандалы упали. Я поднял их... Мне хотелось подержать их в руке, взглянуть на них в последний раз. Точно я дивился, что они сейчас были на моих ногах. <...> Да, с Богом. Свобода, новая жизнь, *воскресение из мертвых* (курсив мой. – Ю. П.)... Экая славная минута...» Таким образом, логика композиции романа, да и жизни автора (от начала каторги до освобождения) прочерчена: от ада к воскресению. Нельзя не заметить и то, что в первой части помещена глава «Праздник Рождества Христова», а в части второй в главе «Летняя пора» идет речь о Святой неделе и Пасхе. Таким образом, герой повторяет путь Христа: от рождения, через смерть и ад к воскресению... Этот путь был пройден и самим Достоевским, который выехал из Петербурга накануне Рождества, а вышел из острога весной, накануне Пасхи.

Вспомним также о том, что в центре всего сибирского эпистолярного Федора Михайловича – незыблемый «Символ веры», сформулированный писателем в письме из Омска Н. Д. Фонвизиной (конец января – 20-е числа февраля 1854 года): «Этот символ очень прост, вот он: верить, что нет ничего прекраснее, глубже, симпатичнее, разумнее, мужественнее и совершеннее Христа, и не только нет, но с ревнивою любовью говорю себе, что и не может быть. Мало того, если б кто мне доказал, что Христос вне истины, и действительно было бы, что ис-

тина вне Христа, то мне лучше хотелось бы оставаться со Христом, нежели с истиной».

«Приближаюсь к кризису всей моей жизни...» – признается Ф. М. Достоевский в том же письме Н. Д. Фонвизиной. Человек в моменты кризиса либо выздоравливает, либо перестает бороться... В самые трудные времена только сам человек определяет для себя символ веры – это напутствие Достоевского всему человечеству, каждому из нас, людей, нынешних, завтрашних, на все времена... Верующий – веру ищущий...

В стихотворении Достоевского «На европейские события в 1854 году», адресованном Николаю I, есть строки: «Мы верою из мертвых воскресали...» Писатель принял каторгу как очистительное страдание, а сегодня мы, нынешние, в большинстве своем «воскресать» не желаем – из страдающих мирских удовольствий, запамятовавших за повседневностью, что человек без «Символа веры», завещанного каждому из нас (нынешних, завтрашних, на все времена) Достоевским, вряд ли жив даже при самых блестящих медицинских показателях.

Нравственное перерождение гения начиналось в Омске, где, по сути, перед Ф. М. Достоевским, назвавшим себя «дитя века, дитя неверия и сомнений», открылась глубина неизведанной человеком Высоты. Едва ли оную хотя бы в малейшей степени символизирует открытый недавно в Омске «памятный знак», и уж точно не «плей-квесты».

Все-таки никогда не следует путать собственную физиономию с величием духовного подвига Федора Михайловича...

Ну и напоследок, памятуя о надеждах нашего уважаемого губернатора на благосклонность гостей Омска, предоставим слово одному из них – председателю совета по критике Союза писателей России, заместителю главного редактора журнала «Подъем» (Воронеж) Вячеславу Лютому:

«Вот и Федор Михайлович Достоевский столкнулся лицом к лицу с современным российским модернизмом. Не сказать, что памятник пребыва-

нию классика в омском каторжном «учреждении» уж совсем не соприкасается с духовной биографией писателя. Был в узилище? Действительно, был. Хотел на свободу? Разумеется, хотел. Но где же здесь отблески трудного «евангельского пути» – их нет катастрофически. Что же мы видим? Дверь дырявую, сшитую коваными скобами на архаичных винтах; птицу, которая рвется на свободу, хотя грубое пернатое скорее атакует невесть что, нежели пытается отчаянно вырваться из плена; висячий замок узнаваемого современного образца... И все это осуществлено в аляповатых очертаниях какого-то странного мультфильма. О том, что каждый желающий может примерить на себя долю Достоевского, засунув свою маленькую голову в огромное окошко тюремной двери, можно бы и не говорить специально: отечественный концептуализм печатает шаг – чтоб он однажды хорошо споткнулся... Но важно вот что: почему высоким образцам нашей истории, литературы, искусства подбирают чудовищные образные аналоги, не имеющие ничего общего с русской жизнью и трагической судьбой того или иного отечественного гения? Почему к отображению фигур и событий, знаковых для города или памятного места, допускаются топорные пластические опусы, которым место в каких-нибудь других, низовых местах человеческого обитания? Нужно прямо сказать: перед нами попытка девальвации высоких русских смыслов и настойчивое желание отобразить их в формах западного комикса, в котором всякое изображение не имеет глубины, но только – назывное обозначение эмоции без расчета на сосредоточенное размышление в координатах заданной сложной темы. Раньше я думал, что Сибирь бережно хранит свои здоровые дух и ум. Но после пермской вакханалии в театре и на площади, видно, творческий распад тихо пополз на восток, постепенно разъедая драгоценное сибирское духовное начало. Этого быть не должно – встань, встрепенись, старый Омск, и избуди ядовитый морок из своих пределов! Как я на это надеюсь...»

Многие омичи – тоже...



Вера
ЛАВРИНА

ФИЛИПОК
ДУБОВЫЙ ЛИСТОК

Сказочная повесть



Лесной Хранильник

В русской стране, в лесной стороне, на краю сельца, у синего озера, в новой избушке с высокою макушкой жили-были Любушка и Никита. Жили дружно, ладно, одно нескладно: не было у них детей. Печалился муж, горевала жена. Бывало, пойдет она по воду или на пруд белье полоскать, встретит по дороге детей – встанет, засмотрится, залюбуется, а то и слезу уронит.

Как-то пошла Любушка в лес по ягоду. Ягодка за ягодкой, куст за кустом, дерево за деревом – вот уж и вечер наступил. Оглянулась она – кругом места незнакомые, дремучие. Любушка туда, Любушка сюда, а лес только гуще и темнее со всех сторон обступает. Заблудилась она. Три дня плутала по дремучим чащам. На четвертый день забрела в диковинные места, вышла на большую опушку. Трава под ногами – шелковый ковер, цветами, как самоцветами, усыпана. Вокруг растут дубы могучие в три обхвата, кряжистыми корнями в землю углубляются, кронами в небо упираются, ветками друг с другом сплетаются. Бабочки лазоревые вокруг порхают, крылья у них с ладошку. Бегают по опушке и белки, и лисы, и оленята, и кабанята. Здесь им стожки устроены, кормушки поставлены, ручей звонкий бежит.

Идет Любушка по поляне, а звери игры с ней затевают, то за сарафан потянут, то вокруг нее

прыгать начнут, белки на плечи к ней запрыгивают, косу треплют. Видит, перед ней дерево не дерево, дом не дом. Стоит на могучих корнях избушка, которой обросла, крыша зелеными листьями покрыта.

«Ну, – думает Любушка, – коли звери здесь такие ласковые, то и хозяин не обидит». Набралась она смелости, поднялась на крыльцо: тук-тук – за дверью молчок. Толкнула дверь – та и открылась. Зашла в избушку, огляделась: пол мягким зеленым мхом устлан, на кровати вместо перины трава-мурава растет, стены пестрые выюнки оплели. Села гостя на лавку у порожка, стала хозяина ждать. А сама голодным-голодна, четвертый день хлебной крошки во рту не было. На печи стоит чугунок, дух сытный из него идет. «Дай, – думает Любушка, – попробую кашу». Ложку за ложкой – всю кашу и съела. «Надо сварить чего-нибудь для хозяина, – решила Любушка. – Придет голодный – осерчает на меня».

Нашла она закваску, муку, напекла пирогов с ягодами, что в лесу набрала. Только на стол выставила – дверь стукнула. Заходит в избу хозяин. Ростом велик, вместо волос трава, борода – зеленые побеги с дубовыми листочками. Лицо древесной корой затянуто. И глаза, как два синих огонечка, горят. У Любушки ноги подкосились, руки опустились, от страха ни жива ни мертва. «Наверное, – думает, – к самому лешему в гости попала».

ЛАВРИНА (ПРАВДА) Вера Леонидовна родилась в Казахстане, в с. Лавровка Кокчетавской области. Окончила исторический факультет Томского университета. Стихи и проза публиковались в журналах «Огни Кузбасса», «После 12», «Дружба народов», «Наш современник», «Врата Сибири» и др. Автор более двух десятков книг стихов и прозы, учебников. Член Союза писателей России. Доцент кафедры истории, философии и социальных наук КузГТУ. Живет в Кемерове.

А хозяин говорит:

– Чую дух сытный. Никак ты пирогов напекла, Любушка?

– Напекла, – еле слышно ответила та.

– Ну давай, сядем за стол, пироги твои отдаем.

А Любушка от страха с места сдвинуться не может.

Видит хозяин, совсем оробела гостья, и говорит ей:

– Не бойся меня, тебе ничего худого не сделаю. Я Лесной Хранильник, за лесом присматриваю, пожары тушу, болота сушу, зверя берегу, деревья стерегу. А ты, видать, заблудилась?

– Заблудилась, дедушка.

Тут гостья осмелела маленько и спрашивает:

– А ты меня откудова знаешь?

– Я все знаю, что в моем лесу делается, да и подалее его.

Лесной Хранильник ест пироги, а сам губами причмокивает, ногами притопывает, головой поверчивает, глазами синими посверкивает.

– Вкусны твои пироги, Любушка. Оставайся у меня, послужи, пирогами попотчуй, я тебя потом домой провожу, щедро награжу.

Делать нечего, осталась Любушка у Лесного Хранильника. Тот чуть свет – уже за порог. В лесу забот много: где зверушек подлечить, где пожары потушить, где рощи от тли и червя очистить. А у гостьи свои заботы: она и прядет, она и ткет. Носки, рукавицы Лесному Хранильнику вяжет, рубахи да портки шьет, заплатки ставит, дырки штопает. К вечеру каши наварит, пирогов настряпает.

Прошел так месяц, другой, хочется ей домой, а спросить боится.

На третий месяц хозяин говорит гостье:

– Славно послужила мне, Любушка, усердно поработала. Хорошая ты рукодельница, умелица, столько нашла рубах, навязала носков мне, старику. Отпущу тебя домой с наградою. – Расправил он бороду свою из молодых побегов, обломил одну веточку с зелеными листочками и протягивает Любушке: – Вот тебе дубовая веточка. Придешь домой, поставишь ее в кувшинчик; как пустит корни, высадишь в садике. Вырастет у тебя дубок с одним желудем. В нем найдешь ты малое дитяtko – будет тебе сын.

Любушка от радости вскрикнула, а Лесной Хранильник палец, как ветка, сухой вверх поднял, дескать, не торопись радоваться.

– Слушай дальше. Взрасти своего сына богатырем. Достигнет он совершенных лет – пришлешь его ко мне на службу. Коли сильный и храбрый будет молодец – справится с моей службой,

вернется домой живой и невредимый, а коли будет слаб да хил – обратно не жди, не увидишь его больше.

Поникла гостья.

– А трудна ли служба у тебя? – спрашивает.

– Служба нелегкая, но храбрец и удалец справится.

Достал Лесной Хранильник плетеную куколку ростом с ладонь.

– Ну-ка, накорми ее сладкой кашей.

Любушка накормила куколку – ручки, ножки у той задвигались, с лавки она прыгнула.

– Иди за куколкой, она тебя к дому приведет. Как до дому дойдешь, спрячь ее. Наступят совершенные лета у сына – ты ее опять накормишь сладкой кашей, куколка приведет твоего сына ко мне на службу. Ну, прощай, Любушка, и помни: взрасти сына могучим богатырем.

– Прощай, дедушка, век добром вспоминать буду, что приветил ты меня и от смерти спас. А коли сын у меня будет, то высказать не смогу тебе свою благодарность.

А куколка уж за порог прыгнула, Любушка за ней. Бежит куколка по лесу, плетеными ножками перебирает, Любушка не отстает. Сердце у нее готово птицей из груди вырваться от радости. Минували они чащу дремучую. Вот и места знакомые: озерцо синее виднеется, сельцо ее родное, дом. Дошла куколка до крыльца, села на порог и замерла. Подхватила ее Любушка и зашла в дом. В одной руке у нее куколка плетеная, в другой – веточка зеленая.

А Никита сидит один в доме, горюет. Увидел он жену, не поверил своим глазам:

– Ты ли это, Любушка?!

– Я, я, жена твоя, – смеется она, – живая и невредимая.

Рассказала мужу, как заблудилась в лесу, как попала к Лесному Хранильнику, как служила ему три месяца, как наградил он ее за службу, и показала ветку дубовую. Глядь, а ветка уже корни пустила.

Побежали они в сад и посадили там веточку. На другой день чуть свет – Любушка в сад. А ветка уже деревцем стала, и появился на ней маленький желудь. На второй день стал он величиной с орех. Любушка день и ночь от деревца не отходит, птиц и мошек отгоняет, корни поливает, с желудя глаз не сводит. На третий день стал он величиной с яблоко. Любушка все к желудю присматривается да прислушивается. Вдруг показалось ей, кто-то в нем то ли плачет, то ли песни поет. Приложила она ухо к желудю, тут он и лопнул, а в нем ребеночек.

Подхватила его Любушка и в избу занесла. Сердце у нее от радости в груди прыгает.

Смотрят Никита с женой на сыночка: малыш крепыш, щеки пухлые, глазки круглые. Только волосики у него зеленые и чубчик видом как дубовый листок, будто ровнехонько вырезан.

– Назовем его Филипок, – говорит Любушка. – А волосики-то отмоются или зелеными будут?

– Да пусть хоть красненькими станут, лишь бы сам он был здоровым да крепким!

Тут вспомнила жена слова Лесного Хранильника, рассказала Никите про его наказ.

– Надо вырастить нам из сыночка настоящего богатыря. – Глаза у нее слезой затуманились. – Сказал мне Хранильник: если будет он хил да слаб, не выдержит службы, не вернется обратно, – всхлинула Любушка.

– Не печалься, вырастет у нас богатырь. Смотри, какой он уже крепкий.

Сунул Никита палец в кулачок сына, тот крепко за палец ухватился. Поднял его отец, а Филипок гулит, ножками болтает, за палец Никиты крепко держится.

Как Никита и Любушка силу в Филипке возвращали

Растет Филипок не по дням, а по часам. В год он уже ростом как трехлетка, в два – как шестилетка. Только вот, сколько Любушка ни мыла, какие снадобья ни применяла, волосы на голове у Филипка так и остались зелеными и чубчик видом как дубовый лист. Сына так и прозвали: Филипок Дубовый Листок.

А Никита всякими потехами и забавами силу в нем приращивал. Дети малые соломенными да тряпичными игрушками забавляются, а Никита заказал кузнецу железные игрушки для сына: погремушки да зверушки по четверти пуда весом. Начнет ими Филипок играть-забавляться – пол сотрясается.

– Никита, как бы он себе ножки не отбил эдакими гирями, – переживает Любушка.

– Пусть лучше сейчас ноги отобьет, чем жизнь свою на службе у Лесного Хранильника потом потеряет, – отвечает Никита.

Придумал Никита еще одну забаву для сына. Как Филипок спать лег, Никита взял ниточку, один конец к двери привязал, другой – к печной трубе.

Проснулся утром сын, Никита ему говорит:

– Смотри, Филипок, видно, домовый ночью проказничал, дверь к печке привязал. Как теперь на улицу пойдем? Ну-ка, разорви ниточку, а то дверь не откроется.

Филипок разорвал ниточку, пошел на улицу гулять.

На следующий день Никита взял две ниточки, сплел их в одну и так же один конец к двери привязал, другой к печной трубе. Утром сын проснулся, Никита ему говорит:

– Опять домовый проказничал – дверь к печке привязал.

Филипок разорвал две ниточки, пошел на улицу гулять.

На третий день Никита три ниточки сплел в одну и опять привязал дверь к печной трубе. Сын и три ниточки разорвал. Так Никита каждый вечер добавлял по нитке к веревке, которой дверь привязывал. Пока Филипок не разорвет их – на улицу выйти не может. И скоро тот уже веревку толщиной в палец разрывал, как травинку, такая сила у него в руках появилась.

С силой своей Филипок даже сладить не мог. Начнет рубаху надевать, чуть потянет – она и разорвется. За столом ложкой заиграется, чуть надавит – ложка переломится. Пойдет с ребятами в городки играть, бросит биту – та как стрела улетит, с глаз скроется, ищи-свищи ее до вечера.

– Не будем, – говорят дети, – с тобой в городки играть, ты нам все биты растеряешь.

Филипок заплачет, пойдет к Любушке, жалуется ей, что дети не берут его в игры играть.

Она его утешает, чубчик его зеленый поглаживает:

– Ты, мой сынок, силу маленько придерживай.

– Я потихоньку кинул, а она ка-а-ак полетит, – всхлипывает сын.

Матери хоть и жалко сыночка, а улыбку не может сдержат, рада-радешенька, что Филипок таким сильным растет.

Вот минуло ему десять лет, а он уже с Никитой ростом стал. Пошел Никита к бочару, заказал ему три дюжины бочек, одна другой больше. Самая маленькая бочка – на три ведра, самая большая – на сто.

Прикатил их домой и наказывает жене:

– Пусть Филипок в этих бочках воду с озера носит. Первую неделю – в трехведерной, вторую – в той, что побольше, и так по чину, пока до самой большой не дойдет. А уж как в стоведерной бочке сможет воду носить, считай, он богатырь, каких по всей земле еще поискать надо.

На другой день дала Любушка сыну самую маленькую бочку и послала его на озеро за водой.

– Мне, – говорит, – постирать надо, огород полить, принеси мне воды.

Филипок взял бочку, пошел на озеро, обратно несет ее и подкидывает, будто мячик. «Видно, бочка-то пустая», – подумала Любушка.

– Ты почему воды не набрал? – спрашивает.

– Как не набрал? – Филипок пробку из бочки вытащил – а она полным-полнехонька.

Удивилась Любушка, рассмеялась и дала сыну десятиведерную бочку. Пошел Филипок на озеро. Любушка ждет его, думает, как он эту бочку нести будет. А Филипок идет обратно, играючи ее подкидывает. Дала тогда Любушка сыну еще больше бочку, а он и ее будто пушинку домой несет. И так за один день шесть бочек сменил. Только седьмую, сорокаведерную, не смог подкидывать.

– Ну, Филипок, – говорит Любушка, – в этой бочке и будешь неделю воду приносить.

Так бочки неделя за неделей все больше становились. Любушке уже воду девать некуда. Она и стирает, и польет, и в доме во все ушаты и корыта воды нальет. И три дюжины бочек полными стоят. Любушка стала тогда сына к соседям посылать их огороды поливать, а то и на поля просила воду отнести, пшеницу да рожь полить.

Полгода носил Филипок воду. Подошла очередь стоведерной бочки. Взвалил ее на себя Филипок – его самого за ней не видно. Кажется, будто бочка сама с озера домой бежит. Неделю носил так Филипок воду.

– Теперь, – говорит Никита, – его хоть к самому царю или даже королю какому-нибудь заморскому на службу посылать можно – все ему будет по плечу. Не переживай, Любушка, справится наш сын со службой у Лесного Хранильника, вернется живой и невредимый. Он теперь богатырь хоть куда.

Любушка головой качает:

– Сила-то в нем есть. Но не для всякой службы сила нужна. Не сказал ведь Хранильник, куда пошлет нашего сына. Для иной службы и хитрость нужна, и изворотливость. А он у нас такой доверчивый, такой бесхитростный, всякий лихой человек его вокруг пальца обвести сможет.

– Не горюй, жена, что не хитер, радуйся, что душа – костер, всякий подле нее согреется.

И правда, рос Филипок Дубовый Листок добрым и ласковым, старших уважал, младших в обиду не давал. Нищих да бездомных привечал. Филипка первым делом на гулянья деревенские звали. Любили, когда силач забавы им устраивает. Принесет Филипок плотик, посадит на него всех детей деревенских и носит, катает их туда-сюда.

– Давай, Филипок, – говорят парни, – силой меряться.

– Давай, – соглашается тот.

Принесут парни канат. Вся деревня с одного конца тянет, а Филипок Дубовый Листок с другого. Как ни упираются парни, как ни стараются, ни на пядь не могут Филипка сдвинуть. А тот чуть поддаст – все на землю повалится.

Полушечка

Как-то послала Любушка сына на рынок, купить гвоздей да крынок. Встал он спозаранку, взял короб плетеный и пошел. Начал ходить по рядам, товар выбирать, прицениваться. Вдруг слышит, заиграла где-то свирель, да так красиво – заслушаешься. «Кто это так играет? – думает Филипок. – Пойду посмотрю». Пошел он на звуки. Видит, на краю рынка сидит на земле паренек, таких же годов, что и он. Сам рыжий, кудрявый да веснушчатый, будто солнышко его обрызгало. Одежонка на нем латаная-перелатаная, перед ним нищенская кружка стоит для монеток. Он-то и играет так дивно на свирели. Сел Филипок Дубовый Листок рядом, слушает, про все на свете забыл – так тронули его напевы.

– Ты кто? – спрашивает мальчика Филипок.

А мальчик весело отвечает ему с шуткой-прибауткой:

– Зовут меня Полушечка, от пяток до макушечки.

– Полушечка? – удивился Филипок. – Четверть копейки, значит?

– Всякие имена бывают, тебя-то, наверное, Дубовым Листком величают, – улыбнулся мальчик.

– А ты откуда знаешь? – изумился Филипок.

– А ты, чай, на себя в зеркало не смотрел? – рассмеялся Полушечка.

– И правда, – улыбнулся Филипок, – ты по чубу моему догадался. Ясно, почему меня Дубовым Листком зовут, а тебя почему Полушечкой кличут?

– У меня, у Полушечки, на уме одни игрушечки. Я день-деньской на свирели играю, мне за это кто сухарик даст, кто сушку, а кто и полушку, тем и живу. Вот меня Полушечкой и кличут. Батюшки с матушкой у меня нет. Меня моя дудочка кормит, полушечки мне собирает, поит, угощает.

– Ты сирота? – спросил Филипок.

– Круглая сирота-сиротинушка, пятую годичку. Эх, сиротиночка что травиночка, всякому ветру кланяется.

Жалко стало Филипку Полушечку. Достал он все деньги, которые ему Любушка на крынки да гвозди дала, и положил их в кружку мальчику.

– Поиграй еще, Полушечка, больно мне напе-вы твои нравятся.

– Что ж, – согласился тот, – играть – не голодать, добрых людей тешить.

Стал он снова на свирели играть. Филипок рядом сидит, слушает. Дудочка загрузит – и Филипок закручинится; польются из дудочки веселые напевы – и Филипок возрадуется. Не помнил, сколько времени он рядом с Полушечкой сидел.

Очнулся оттого, что прохрипел кто-то над ними:

– Хороший прибиток сегодня. Скоморох-горох, мухами засиженный, не дашь ли нам монетки твои?

– А если не дашь, сами возьмем, – добавил еще кто-то с хохотом.

Видит Филипок, стоят над ними трое здоровых молодчиков. Один краснорожий, другой носатый, третий плешивый. Были они гулящие люди, лихие, без стыда и совести, на рынке воровали, у нищих и сирот копейки отнимали.

Испугался Полушечка, побледнел.

– Кто сирот обижает, того Бог не уважает, не трогайте Полушечку! – говорит Филипок.

– А это что за лягушка-квакушка расквакалась? – расхохотался краснорожий. – Смотрите-ка, у него волосы как тина болотная!

– Ты из какой такой трясины вылез, малец? – хихикнул плешивый.

А носатый уже к кружке с деньгами руку тянет. Схватил его Филипок за руку, да, видно, опять не рассчитал своей силы: захрустели кости, затрещали пальцы, взвыл носатый от боли.

Накинулись молодчики на Филипка.

– Ты не жилец, головастик болотный! – орут. – Прощайся с белым светом!

А у Филипка одна думка в голове: как бы на смерть не зашибить их ненароком. Оттолкнул он легонько краснорожего – тот с гулом отлетел, как щепка от топора. Плешивый с кулаками на Филипка накинулся – и об землю со всего маху ударился. Не может понять: то ли запнулся, то ли ноги запутались в траве. Не поверил, что это малец его на землю уложил.

– Надо бежать! Бока спасать! – крикнул Полушечка.

– Ясное дело, надо. Пусть бегут, – говорит Филипок.

– Это нам надо бежать, забьют нас сейчас! – торопит Полушечка.

Филипок удивился:

– Меня и всей деревней не забьют, а эти трое – как кисель хлипкие.

А молодчики пришли в себя, с диким воплем на Филипка бросились. Тот сгреб всех троих и спрашивает:

– Говорил Полушечка, что бежать надо, почему не послушались? Придется вас теперь подальше забросить! Вас в одну сторону всех кинуть или поврозь дальше пойдете? Я тогда по разные стороны вас отправлю, денька через три найдете друг друга.

Почуяли тут молодчики силу Филипка, трещат у них ребра, глотки перехватило, стали они просить:

– Д-д-добрый мальчик, от-т-т-пусти н-н-нас, мы ш-ш-шутили.

– Д-д-да, д-да, и-играли. Мы с м-м-маленькими любим и-играть.

– Давай поиграем, – согласился мальчик. Взял он краснорожего за ногу и стал крутить его над головой, приговаривая: – Э-э-э! Смейся-веселись, играй-резвись!

Краснорожий стал бел как мел, руками за воздух цепляется, просит его простить, отпустить, помиловать. Поставил его Филипок на землю.

– Ну, наигрались? Теперь ступайте, откуда пришли.

Молодчиков как ветром сдуло. Будто их и не было. А Филипок еще просит Полушечку поиграть.

Прошло немного времени, подходит к Филипку незнакомый молодец и говорит ему:

– Друг сердешный, видел я, какая силища в тебе, пособи мне в добром деле. Эти трое держат в плену мою сестрицу, помоги ее вызволить.

Филипок – душа простая, сомнений не знает, пошел за молодцем, чтобы сестру его из плена вызволить. Привел его молодец на высокий утес над рекой. Тут выскочили из-за деревьев трое молодчиков – краснорожий, носатый и плешивый – и столкнули мальчика с утеса. Это они и подослали к Филипку своего подельника, чтобы заманил его на утес. Решили они отомстить – погубить Филипка.

Ударился Филипок головой о камни, упал бездыханный в воду. А молодчики, люди бессердечные, как тараканы запечные, пальцами тычут, хохочут:

– Похлебай водички, лягушка-квакушка!

– Ха-ха-ха! Отквакался уже!

Понесла река Филипка прочь от утеса высокого, от рынка шумного, от родимого дома.

А Полушечка почуял что-то недоброе. Не понравился ему тот молодец, что на обидчиков своих жаловался. «Эх, голова – орех, жизнь – молоточек. Никак он с ними заодно, – подумал Полушечка. – Глаза у него бегали, губы кривились. Пойду посмотрю, куда он Филипка приведет».

Подхватил мальчик кружку нищенскую, дудочку свою и пошел, прячась, следом. Видел он, как привели Филипка на высокий утес, как выскочили

трое молодчиков и столкнули Филипка в реку. Побежал Полушечка вдоль берега за Филипком. Как скрылся утес за поворотом, бросился он в воду, подхватил Филипка и вытащил его на берег. Стал его отхаживать, в чувство приводить.

– Филипок, Филипок, ты живой?

Открыл Филипок глаза.

– Живой! Братец родной! – обрадовался Полушечка.

Приложил он травку целебную к ране, обоврал рукава у своей рубахи, обвязал голову Филипка. Сильно тот ослаб. Повел его Полушечка домой.

А Любушка ждет-пождет сына. Дело к вечеру – его все нет. У нее уже сердце не на месте: она и в окно выглянет, и за ворота выбежит – нет Филипка. Наконец видит: идет сын, голова у него перевязана. Ведет его мальчик под руку, сам весь оборванный.

Вскрикнула Любушка, побежала им навстречу:

– Что с тобой случилось-приключилось, милое мое дитятко?!

Рассказал мальчик, как дело было. А потом добавил:

– Полушечка меня от смерти спас, будет он мне теперь названным братом. Приюти его, матушка, он круглый сирота. Полушечка веселый: что ни слово – то шутка, что ни речь – то присказка.

Матушка обняла Полушечку, расцеловала:

– Кабы не ты, Полушечка, не стало бы Филипка, а теперь у меня два сына. Окажи великую милость, останься у нас, будь нам с Никитой сыном, а Филипку братом.

Так остался Полушечка у Любушки с Никитой. Они полюбили его как родного, а Филипок в нем души не чаял. Не расставались они и на минуточку, вместе на гулянья ходили, вместе работу делали. Полушечка часто на свирели своей играл, вся деревня собиралась его послушать. И здесь полюбили веселого да мудрого рыжекудрого Полушечку.

Так счастливо прожили они все вместе до самого совершеннолетия Филипка. Чем ближе становился этот день, тем чаще грустила Любушка, нет-нет да и смахнет слезинку украдкой. Заметил это Полушечка и стал спрашивать, почему это она грустит и плачет беспричинно. Рассказала ему Любушка про Лесного Хранильника, про то, что пора приближается Филипка отправлять к нему в дремучий лес на службу суровую, опасную.

Задумался Полушечка, а потом и говорит матери:

– Эх, не грех доброе дело сделать. Отправьте вы меня, матушка, на службу к Лесному Храниль-

нику. Коли я погибну, вы поплачете обо мне, и слава Богу, а Филипок с вами останется.

– Что ты, что ты, Полушечка! – замахала на него руками Любушка. – Лесной Хранильник такую метку на Филипке оставил – чубчик у него как дубовый листик. Где ты еще такое видывал?

– А мы волосы мне зеленой покрасим, чуб мой дубовым листиком подстрижем. Лесной Хранильник меня за Филипка примет.

– А силу его откуда возьмешь? Хранильник нам наказ дал: вырастить из сына настоящего богатыря, вот мы с Никитой и старались. Без Филипка к Лесному Хранильнику тебя посылать – все равно что на верную смерть отправить.

Полушечка и так и эдак уговаривал Любушку. Материнское сердце дрогнуло.

– Ладно, – говорит она, – испытаем тебя в день совершеннолетия Филипка. Только ты, Полушечка, брату ничего не сказывай, не простит он мне этого.

И вот наступил день, когда шестнадцать лет назад появился из желудя Филипок Дубовый Листок. С раннего утра отправила Любушка его лошадей пасти, а сама стала собирать Полушечку на службу к Лесному Хранильнику. Покрасила его рыжие кудри зеленой, подрезала чубчик, как у Филипка, собрала узелок для него. Потом достала плетеную куколку, которую хранила на дне сундука, вытащила из печки чугунок со сладкой кашей и стала кормить куколку. Но та не ела кашу и оставалась недвижимой. Поняла Любушка, что не поведет куколка Полушечку к Лесному Хранильнику. Видно, такую волшебную силу дал ей Хранильник, что различает она, кого ей к нему вести.

– Нет, Полушечка, ничего у нас не получится, не хочет куколка вести тебя в дремучий лес. Разбирай свой узелок.

– Ну, тогда я вместе с Филипком пойду. Ведь вы отпустите меня, матушка? Буду тоже геройские дела совершать, наказы Лесного Хранильника исполнять.

Расплакалась Любушка, уронила голову на плечо Полушечки:

– Двух сыновей придется мне отправить в дремучий лес. Но я подожду еще, не сегодня вас отправим. Может, куколка потеряла уже волшебную силу за шестнадцать лет, а может, и образуется все, забудет Хранильник про Филипка. Не будет пока ничего говорить брату твоему.

Отмыла Любушка волосы у Полушечки, разобрала его узелок и снова положила плетеную куколку в сундук.

Как отправились Филипок и Полушечка на службу к Лесному Хранильнику

На следующий день пошла Любушка в поле за травами. Идет она по цветущему лугу, душицу, зверобой, таволгу собирает. Навстречу ей дряхлая старуха с клюкой ковыляет, в три погибели согнулась. Только поравнялись они, как у старухи клюка из рук выпала. Подняла Любушка клюку, подает старухе. А та и говорит:

– Сиротку на смерть посылаешь, а родного сына дома оставляешь? Негоже наказания забывать.

Отшатнулась Любушка, а старуха выпрямилась и пошла прочь, в один миг из глаз исчезла, будто ветер ее унес, только клюка у Любушки в руках осталась. Смотрит она, а это и не клюка вовсе, а змея извивается. Вскрикнула от страха, бросила змею и бегом домой. Прибежала и рассказывает Никите про слова старухи, и как исчезла она вмиг, и как клюка в змею превратилась.

– Ясное дело, это Лесной Хранильник нам привет шлет, – говорит Никита. – Отправлять надо Филипка к нему.

– Знаю, что надо, но не было же уговору день в день его отправлять. Погожу еще немного, не срок мне расставаться с сыном. Ведь и Полушечка увяжется за ним, опять одни с тобой останемся. Ну, пусть хоть недельку еще поживут с нами, потом и отправим.

Решила так Любушка. Но только вот с этого дня посыпались на Филипка несчастья за несчастьем. То ногу себе в бане кипятком ошпарит, то ненароком в колодец упадет, то конь его сбросит, копытами побьет. То чудом от пожара спасется.

Как-то началась сильная гроза. Тучи черные всю деревню накрыли, от грома избы сотрясались. А Филипок с Полушечкой как раз в лесу дрова рубили. У Любушки сердце не на месте: как там братья грозу переждут? Вдруг в раскатах грома почудилось ей, будто слова кто-то прокричал: «Гр-р-роза-а-а Филипку!» Любушку в жар бросило. Кинулась она в лес на делянку, где Филипок и Полушечка дрова рубили. Бежит, себя не помнит, холодный дождь ее будто плетью хлещет, молнии огнем тьму режут, громы как пушки бьют.

Прибежала она на делянку, видит: посреди дуб обломанный дымится, а под ним лежит Филипок – то ли живой, то ли мертвый. Чужало беду материнское сердце. Ударила молния в дуб, под которым Филипок с Полушечкой от дождя прятались.

Бросилась мать к Филипку, упала к нему на грудь:

– Сыночек, Филипок, очнись, пробудись! Не буду я тебя подле себя держать, отправлю к Лесному Хранильнику!

Филипок открыл глаза и спросил слабым голосом:

– К какому такому Лесному Хранильнику?

– Живой! – вскрикнула Любушка. – Слава богу! Что ж, дитяtko мое, пришло время все тебе рассказать.

Тут гроза кончилась, повела мать Филипка и Полушечку домой, по дороге поведала Филипку про то, как шестнадцать лет назад заблудилась в лесу, как набрела на дом Лесного Хранильника, как служила ему три месяца и как одарил он ее волшебной дубовой веточкой.

– Наказал он мне через шестнадцать лет отправить тебя к нему на службу. А служба тяжелая, опасная. Вырасти, говорит, из сына богатыря, а то не вернется он домой со службы. А я не хотела тебя отпускать, думала, недельку еще побудешь дома. Вот чуть не погубила тебя. Пришло время: завтра, сынок, пойдешь к Лесному Хранильнику. Тот, видно, не шутит. Не оставит тебя в живых, коли не отпущу к нему.

– А меня, сердечного, друга запечного, возьмешь? – спросил Филипка Полушечка.

– Куда уж вы друг без дружка! – горько улыбнулась Любушка.

На другой день ранним утром стала она собирать Филипка и Полушечку в дальнюю дорогу. Надела на них белые рубахи, узорчатым шитьем расшитые, собрала по узелку. Полушечкину свирель положила в кожаный мешочек, на поясок привесила. Потом достала Любушка плетеную куколку из сундука, накормила ее сладкой кашей. Та с лавки прыг и на порог, с крыльца скатилась и поковыляла в лес.

– Лесному Хранильнику поклон передай, пусть не сердчает на меня, – говорит Любушка Филипку. – Тяжко мне было расставаться с тобой, сынок. Берегите друг дружку, детки, да быстрее со службы возвращайтесь.

Благословили родители сыновей, попрощались и долго смотрели вслед им, слезинки смахивали.

Бежит куколка, плетеными ножками перебирает, Филипок с Полушечкой за ней торопятся. Целый день шли они по лесу. А лес все гуще, деревья все выше становятся. Идут они, а Филипку будто шепот в шелесте лесном слышится: «Ф-ф-филипок Дубовый Лис-с-сток с-с-с Полуш-ш-шечкой идут, Ф-ф-филипок Дубовый Лис-с-сток

с-с-с Полуш-ш-щечкой идут. Радос-с-сть, радос-с-сть!»

– Ты слышишь? – спрашивает Филипок брата.

– Что?

– Слова.

– Какие слова? Откуда?

– Будто в шелесте лесном: «Филипок Дубовый Листок с Полушечкой идут». Вот и сейчас, слышишь?

Полушечка прислушался.

– Нет, не слышу.

Но Филипок ясно различал слова в шелесте листьев.

– Светлый день, темная темь! Так ты, наверное, язык деревьев понимаешь! – догадался Полушечка. – Ведь ты же на древесной ветке, в желудевой утробе появился. Значит, ты не только матушкин сын, но и деревьев.

– Выходит, что так.

– Ну вот, ты и язык их должен понимать.

– Но ведь раньше я ничего не слышал, а в лесу сколько раз был.

– Раньше не понимал, хоть и слышал. Малое дитя тоже не сразу человеческий язык понимает, хоть и слышит его. А время придет – и понимает, и говорить начинает. Вот сейчас ты слышишь что-нибудь?

Филипок замер.

– Слышу. Они говорят: «Лесной Хранильник ¹⁵¹ ждет, ждет».

– Ух ты! – изумился Полушечка. – Истинную правду тебе говорю: язык деревьев ты стал понимать.

А Филипку радостно, оттого что стал он понимать шелест древесный. Будто дорогих друзей обрел.

– Ф-ф-филипок Дубовый Лис-с-сток с Полуш-ш-щечкой, – слышит он то громче, то тише – весь лес дремучий их приветствует.

Шли они, шли. Вот уже смеркаться стало, звезды на небе зажглись, тьма залегла меж деревьями. Куколку совсем плохо видно. Достал Филипок веревку, привязал куколку за ручку, чтоб не потерялась. Потом срезал несколько пуговиц медных и повесил их на плетенку: бежит та, пуговицы, как колокольчики, позванивают. Теперь и тьма не помеха.

Поздним вечером увидели они: огонек мелькает между деревьями. Куколка прямо на огонек бежит. Вышли Филипок с Полушечкой на большую опушку. Вокруг растут дубы могучие, кряжистыми корнями в землю углубляются, кронами в небо упираются, ветками друг с другом сплетаются. Стоит на опушке дом не дом, дерево не дерево

– избушка на корнях, вся древесной корой покрыта, крыша ровно зелеными листиками устлана.

Постучались братья в избушку. Им в ответ:

– Заходите, коли пришли.

Дернул Филипок дверь легонько – она не открывается. Братья снова постучались. А им опять отвечают:

– Заходите, дверь открыта.

Филипок посильнее дернул – дверь опять не открывается.

– Это каких таких немощных по ночам носит – дверь не могут открыть? – заворчали изнутри.

Рассердился Филипок, как дернет дверь – вместе с косяком ее и вывернул, скобы и засовы все отлетели, замки переломались.

– Дверь-то крепко на замки да засовы закрыта была, – шепнул Полушечка Филипку. – Видно, Лесной Хранильник силу твою проверял.

Поднялся навстречу братьям хозяин – в точности, как Любушка про него рассказывала: вместо волос копна сена, вместо бороды дубовые веточки с листиками, вместо кожи древесная кора. Глаза синие-пресиние огонечками горят.

– Ну, здравствуй, Филипок, – говорит Хранильник. – Заждался я тебя. А кто это с тобой пришел?

– Я брат его названный, зовут меня Полушечка, от пяток до макушечки, – отвечает тот. – Возьмите и меня на службу.

– На службу? А сила у тебя есть? – спрашивает Лесной Хранильник.

– Сила у меня такая: гвоздь в землю с размаху забиваю, лист с первого раза разрываю, свечку одним духом задуваю.

Рассмеялся хозяин, а Филипок ему и говорит:

– Силы у Полушечки нет, зато есть смекалка, доброе сердце, верность в дружбе. А моей силы нам на двоих хватит.

Улыбнулся в зеленую бороду Лесной Хранильник, посмотрел на дыру в стене, что от двери осталась, и сказал:

– Силы у тебя и вправду на двоих хватит, а верный друг на службе нескольких полков стоит. Принимаю на службу твоего брата Полушечку.

Братья обнялись на радостях.

– Ну, проходите, гости дорогие, – позвал Хранильник братьев в дом. – Садитесь за стол, ужинать будем.

Белочки стали стол накрывать, туда-сюда снуют, чашки да плошки носят с грибами жареными, кашами пареными, ягодами мочеными, орехами золочеными. А бурундуки принесли туески с пирогами, творогами и сушеными цветами – чай заваривать. Вылетели горлицы целой стаей с горницы, несут напитки пенные, сладкие, отменные.

Угощаются братья, а про дело не забывают.

– Когда нам, – спрашивает Филипок у Лесного Хранильника, – на службу отправляться?

– И какая будет первая служба? – интересуется Полушечка.

– Хвалю ваше усердие, – усмехнулся в зеленую бороду Лесной Хранильник, – только до настоящей службы вам не близко еще.

– Почему? – удивился Филипок Дубовый Листок. – Силы у меня хватает, верный друг Полушечка, брат названный, со мной.

– Нет у вас для службы ни добрых коней, ни острых мечей.

– Почему же матушке не сказали, чтоб мы коней добрых взяли да мечи добыли? – спрашивает Филипок. – У батюшки моего коней – большой табун и маленькое стадо.

– Для службы моей не годятся ни ваши кони, ни ваши мечи. Ложитесь-ка вы спать-отдохнуть, а утром отправитесь в путь-дорогу за добрым конем в Тамбарскую степь.

Как Филипок и Полушечка отправились в Тамбарскую степь за Орлецом

Утром Лесной Хранильник их напоил, накормил и стал им рассказывать про первую службу:

– В Тамбарской степи много табунов пасется, но вам нужен только один конь по прозвищу Орлец. Конь этот всем коням конь: прыгнет раз – долины перескочит, прыгнет другой – долина созда останется. Течет в Тамбарской степи Чубур-река, к ней Орлец каждый день на водопой приходит. Там ищите его. Поймать и приручить Орлеца – вот вам первая служба.

Вышли братья из дома. Видят, стоят два коня под седлами, копытами бьют, один рыжий, другой белый.

– Это мои коньки, Гнедко и Снежко. Они домчат вас до самой Тамбарской степи, кони дорогу знают. – Лесной Хранильник потрепал коней по гривам. – Коли добудете Орлеца, на нем и возвращайтесь, а Гнедка и Снежка оставьте на воле в Тамбарской степи. Ну, как сдюжите, так и послужите.

Сели Филипок и Полушечка на коней и отправились в путь-дорогу. Долго ли, коротко ли домчали их Гнедко и Снежко до Тамбарской степи, прямо к берегу реки Чубур.

Укрылись братья в камышах, возле лошадиной тропки, и стали ждать. Вот бежит табун на водопой. Смотрят братья, высматривают – нет Орлеца в табуне. Проходит время, бежит второй та-

бун к реке. И в нем нет Орлеца. Ближе к вечеру услышали Филипок с Полушечкой: затряслась земля, бежит табун лошадей. Пыль столбом до неба поднялась. Впереди всех несется могучий конь, хвост и грива золотыми прядями вьются, глаза черным пламенем горят. Все остальные кони против него – жеребята.

– Вот он Орлец и есть, с другими конями не спутаешь, – говорит Филипок, сам глаз от Орлеца оторвать не может. – Не конь, а загляденье.

– Светлый день, темная тень! Как ловить его будем? – сокрушается Полушечка. – Конь что огонь. Его никакой аркан не удержит.

– Завтра посмотрим, приглядимся, на что мы годимся. Есть у меня толстая веревка с медной ниткой, из нее и сделаем аркан.

Наутро нашел Филипок могучее дерево в роще, срубил его, сделал из него столб и вбил возле берега. Приготовили братья аркан из толстой веревки с медной ниткой. Один конец крепко-накрепко к столбу привязали, на другом петлю скрутили. Спрятались в камышах и стали Орлеца поджидать. К вечеру затряслась земля, взвился до неба столб пыли. Бежит табун, впереди всех Орлец. Грива и хвост золотыми прядями вьются, глаза черным пламенем горят. Выждал Филипок, когда Орлец к самому берегу подойдет, подкрался к нему и бросил аркан. Засвистела веревка, охватила петля Орлеца. Рванулся конь – веревка, как травинка, разорвалась. Филипок не успел прыгнуть на коня – Орлец в два прыжка из глаз скрылся.

Досада взяла Филипка:

– Где теперь искать Орлеца? Сюда он больше не придет.

– Степь большая, а река всего одна, – говорит Полушечка. – Вот и будем возле нее Орлеца поджидать.

– Мне бы только запрыгнуть на него, а там бы мы уж силами померялись. Да где мне его догнать, – сокрушается Филипок Дубовый Листок. – Он быстрее ветра мчится, сильнее скалы стоит – его ни один аркан не удержит. Видел? Веревку в два пальца толщиной как паутинку с себя смахнул. Вот сила так сила!

С той поры Орлец больше не приходил на водопой к камышам, сколько ни караулили его братья. Стали они Тамбарскую степь объезжать: то в одном месте увидят Орлеца, то в другом мелькнет он как молния. Но догнать его – все равно что ветер в шапке удержать.

Опечалился Филипок:

– Уж если первую службу не смогу я исполнить, что и об остальных говорить? Ни к чему сила моя не годна.

– Эх, голова – орех, жизнь – молоточек. Не горюй, – говорит Полушечка, – сила твоя еще пригодится.

Вот устроились как-то братья на ночлег в липовой роще. Полушечка на свирели своей наигрывает. И Филипку не спится, грустные мысли донимают его.

Вдруг слышит он в липовом шелесте слова:

– Не печ-ч-чалься, Ф-ф-филипок, мы помож-ж-жем тебе Орлеца поймать.

– Слышишь? – спрашивает Филипок. – Говорит кто-то.

– Я не слышу. Это, видно, опять деревья с тобой разговаривают. Что они говорят?

– Говорят, что помогут мне Орлеца поймать.

– Помож-ж-жем, помож-ж-жем, – шепчут липы. – Найди завтра на берегу реки могуч-ч-чий дуб Гуду-у-ун. В дубе этом три дупла. Как ветер подует – дуб гудеть начинает. Пророй под дубом тропку к реке для водопоя да прогони табун лошадей, чтоб утоптали тропку. С-с-сам с-с-спрячься в дупло и ж-ж-жди, когда Орлец по тропке на водопой придет. Как будет он мимо ду-у-уба прох-х-ходить, прыгай на него, вот тут тебе и пригодится твоя с-с-сила. А дуб Гудун тебе помож-ж-жет.

– Спасибо вам, липочки-сестрички, – обрадовался Филипок Дубовый Листок. – Все сделаю, как вы ска-зали.

– Слуш-ш-шай, слуш-ш-шай дальш-ш-ше, Филипок, – шепчут липы. – Пусть Полуш-ш-шечка найдет среди нас-с-с липку с розовыми лис-с-сточками, надрежет кору да наберет липового с-с-сока. Как обуздаеш-ш-шь ты Орлеца, ус-с-станет он, пить захочет, дай ему с-с-сначала с-с-сока от этой липки попить. Как напьется, век тебе служ-ж-жить будет, по первому з-з-зову прибегать.

– Не знаю, как и благодарить вас, липочки-сестрички! – вскричал Филипок.

Утром сели братья на коней, отправились искать дуб Гудун. Едут они вдоль берега, видят: на высоком берегу возвышается могучий дуб. А вокруг гул стоит, будто ветряная мельница крыльями машет.

Слышит Филипок в гуденье и гуле слова:

– Филипо-о-ок, мой сыно-о-ок, е-е-едет. Помо-о-о-жем Филипо-о-очку Дубо-о-овому Листо-о-очку. Устрой тро-о-опку под моими ветвями.

Взялись братья за дело. Срубили толстое дерево, заострили один конец и стали им земляные пласты откалывать, чтобы высокий берег пологим сделать. Прорубил Филипок широкую тропу. А Полушечка уже гонит к ней табун лошадей, в свирель посвистывает, плеточкой пощелкивает. Про-

гнали братья несколько табунов – вот и готова торная дорога на водопой прямо под дубом.

Взял Филипок уздечку, залез на дуб Гудун, спрятался в дупле и стал поджидать. А Полушечка неподалеку в роще в шалаше устроился.

День Филипок ждет, второй. Табуны один за одним к водопою под дуб Гудун идут. Только Орлеца нет. На третий день затряслась земля, поднялся столб пыли до неба, бежит табун, впереди всех могучий конь Орлец мчится. Увидел его Филипок, сила в нем взыграла, будто пар в котле.

– Эх, мне бы только успеть да не промахнуться. Дубок Гудунок, помоги мне!

Дуб Гудун ему гудит-шелестит:

– Как будет Орлец под моими ветвями пробега-ать, охвачу-у-у я его ветками, придержу-у-у, а ты сверху прыгай.

– Спасибо тебе, дубок Гудунок, – прошептал Филипок.

Как Орлец под дубом пробежал, Гудун склонил ветви, охватил Орлеца. Дернулся конь – затрещали корни у дуба, заскрипел ствол, накренился к земле. Еще миг – и вырвал бы Орлец дуб из земли с корнями. Но Филипок уже успел на коня запрыгнуть. Крепко охватил шею руками, бока – ногами. Орлец громко заржал, взвился выше дуба и пустился вскачь по Тамбарской степи. То на дыбы встает, то волчком вертится, то по траве катается – хочет сбросить Филипка. Но Филипок крепко сидит на Орлеце. Взвился тут конь выше деревьев, перемахнул в три прыжка Тамбарскую степь, перепрыгнул широкие долины и очутился в высоких горах. Стал он вверх-вниз по кручам скакать – изпод копыт искры да камни летят. Вверх поскачет – Филипка вниз сносит, вниз поскачет – Филипок того и гляди через голову коня улетит. Орлец будто устали не знает. Но и Филипок крепко на нем держится, руками, как железным обручем, шею коня охватил. Стал сдавать Орлец, хрипеть и задыхаться. Уже ветер в ушах у Филипка не свистит и слезы из глаз не выбивает. Все медленнее бежит конь, тут вовсе ослаб и остановился. Надел на него узду Филипок и потихоньку поехал в Тамбарскую степь, где поджидал его Полушечка. Набрал уже тот липового сока от липы с розовыми листочками.

Видит Полушечка, Орлец к реке Чубур плетется, нога за ногу запинается, на нем узда надета, на коне Филипок сидит.

– Светлый день, темная темь! Ты его усмирил! – обрадовался Полушечка. – Я уж и не чаял. Не конь, а сам черт с гривой!

Орлец к реке тянется, хочет воды напиться.

– Нашел ты липу с розовыми листочками?
– спрашивает Филипок.

– А как же! Вот и сока набрал.
– Угости-ка Орлеца!

Дал Полушечка коню липового сока, после Филипок его к реке подпустил. Напился конь, вернулись к нему силы.

– Ну, брат Полушечка, запрыгивай на Орлеца. Пора к Лесному Хранильнику возвращаться.

У Орлеца на спине хоть вдвоем, хоть вчетвером уместиться можно. Поскакали братья обратно. Солнце едва на небе сдвинулось, а Филипок с Полушечкой уже у дома Лесного Хранильника. Вышел хозяин: доволен, в зеленую бороду улыбается, Орлеца по золотой гриве треплет.

– Молодцы, удалцы, славного коня добыли. Не ходил еще такой конь под седлом, не носил узду. С ним всякая служба – забава. Заходите в дом, отдохните. Сегодня гостями будете, а завтра на новую службу отправитесь.

Лесной Хранильник братьев за стол сажает. Опять прибежали белочки, стали стол накрывать, туда-сюда снуют, чашки да плошки носят, с грибами жареными, кашами пареными, ягодами мочеными, орехами золочеными. А бурундуки принесли тuesки с пирогами, творогами и сушеными цветами – чай заваривать. Вылетели горлицы целой стаей с горницы, несут напитки пенные, сладкие, отменные.

Наутро рассказал Лесной Хранильник про новую службу:

– Теперь нужно тебе, Филипок, доброе оружие. Надо добыть крепкий меч, такой, чтобы ударил ты им плашмя об колено, и он не переломился.

– Где же мне такой меч добыть? – спрашивает Филипок Дубовый Листок.

– Этот меч ждет тебя, а где – сам найдешь.

Меч-древенец

Вышли Филипок и Полушечка из дому. Филипок свистнул громким посвистом – затряслась земля, бежит Орлец, грива золотыми прядями блещет. Ржанием хозяев своих радостно приветствует. Обняли братья любимого коня, оседлали и отправились в дорогу.

– Куда путь держим? – спрашивает Полушечка у Филипка.

– Поедем в стольный град искать самого лучшего кузнеца, закажем ему булатный меч.

– Светлый день, темная темь, что-то от нас Хранильник утаил. Знает он, какой меч тебе нужен, знает, где искать его, а не сказал.

– Сказать – не дать. Сами возьмем, – отвечает Филипок.

Домчал Орлец до стольного града в один день. Люди на них дивятся: два всадника на одном коне, а конь такой, каких здесь не видывали – ростом вдвое остальных, грива золотыми прядями вьется, земля под ним сотрясается. Толпы народа вокруг них собираются. Стали братья спрашивать, кто здесь самый лучший кузнец.

Им говорят:

– Самый лучший кузнец – Микула. Его клинки, как скала, крепки, век секи – не затупятся.

Нашли братья Микулу, заказали ему меч.

– Завтра приходите – будет готов меч.

На следующий день пришли братья к кузнецу, подает он им меч булатный. Ударил Филипок мечом об колено – тот, как щепка, надвое раскололся.

Почесал Микула затылок и говорит:

– Таковых силачей я еще не видывал. Приходите через неделю, скую вам меч вдвое крепче против этого.

Через неделю приходят братья к Микуле. Подает он им большой меч, сам едва-едва его поднимает. Взял Филипок меч играючи, ударил им об колено – тот, как ветка сухая, надвое раскололся.

Удивился Микула-кузнец:

– Ты откуда такой взялся? На моих мечах и трещинка редко появляется, а ты их, как хворост, ломаешь. Ладно, приходите через месяц, скую вам меч втрое крепче против прежних.

Приходят братья к Микуле через месяц. Тащат Филипку трое молодцов булатный меч-великан, от земли поднять его не могут. Взял его Филипок играючи, ударил об колено – тот, как жердь, надвое раскололся.

– Нет, не могу я по силе твоей меч сковать, – говорит Микула.

– А кто сможет сковать? Знаешь ли мастера? – спрашивает Филипок.

– Я и есть лучший мастер, это тебе каждый скажет. Нет еще такого булата, чтоб по твоей силе из него меч сковать.

– Эх, светлый день, темная темь, что будем делать? – сокрушается Полушечка.

– Поедем в другие страны меч искать, – говорит Филипок. – Ну, а для тебя возьмем меч у Микулы. Они у него и вправду хорошие.

Взяли братья меч для Полушечки, сели на Орлеца, а сами и не знают, куда ехать.

Вытащил свою свирель Полушечка, кинул через себя, потряхнул рыжими кудрями и говорит:

– Куда дудочка укажет острым концом, на ту сторону и поедем.

Смотрят, указала дудочка на восток, повернули братья коня и поехали. Вот засмеркалось уж. В роще на ночлег они устроились. Шумят, шелестят над ними березы.

Филипок их и спрашивает:

– Березоньки, березоньки, зеленые косоньки, скажите, где добыть мне меч по моим силам, чтоб не тупился, не терялся, об мою коленку не ломался?

И слышит Филипок Дубовый Листок слова в березовом шелесте:

– Поезжайте с Полуш-ш-щечкой в Хвалынс-с-ский лес-с-с. Там найдеш-ш-шь меч-ч-ч-древенец на сам-дереве.

– Меч-древенец?

– Да, да, меч-ч-ч-древенец.

– А как нам добраться до Хвалынского леса? – спрашивает Филипок.

– Леж-ж-жит Хвалынский лес-с-с на восточной стороне, за огненной рекой, за с-с-смертной чащей, за дурман-полем. Туда и поезжай.

– Скажите мне еще, березоньки, зеленые косоньки, почему Лесной Хранильник не сказал про меч-древенец? Быть того не может, чтоб не знал он про него.

– Знал, знал, – шепчут-шелестят березы. – Нельз-з-зя, нельз-з-зя это говорить Хранильнику, заклятие такое наложено: коли скажет он человеку – умрет этот человек в тот же день. Только нам, деревьям, можно это с-с-сказать тебе. Ты один наш-ш-ш язык разумееш-ш-шь, значит, тебе и владеть тем мечом.

– Березоньки-сестрицы, сказал Хранильник, что ждет меня меч, который не смогу я через колено переломить. Про этот ли меч-древенец говорил Хранильник?

– Про этот, про этот, Филипочек Дубовый Лис-с-с-сточек. Крепче этого меча на всем белом с-с-свете не с-с-сыщешь. С ним тебе вс-с-сякая с-с-служба по плечу будет. Трудно добыть его, но мы тебе помож-ж-жем, помож-ж-жем. Отправляйтесь с Полуш-ш-щечкой в Хвалынс-с-ский лес.

– Спасибо вам, березоньки, зеленые косоньки, – поблагодарил их сердечно Филипок и стал Полушечке рассказывать про то, что от берез узнал.

– Светлый день, темная темь, – дивится Полушечка, – вот про какой меч говорил Лесной Хранильник. Эх, голова – орех, жизнь – молоточек, поедем в Хвалынский лес.

Как только рассвело, сели братья на Орлеца, стали путь держать дальше на восток.

Мчится Орлец, раз скакнет – полдолины перекачет, два – долина сзади окажется. Дело к вечеру – солнышко к земле клонится.

– Смотри-ка, – говорит Филипок Дубовый Листок. – Солнце еще на западе не закатилось, а на востоке уже заря разгорается.

Посмотрел Полушечка – и правда: будто второе солнце собирается всходить на вечерней зорьке.

– Так это же огненная река и есть! – догадался Филипок. – Ух ты! Зарево от нее на полнеба!

Осадили братья Орлеца, стали потихоньку к огненной реке приближаться. Чем ближе подъезжают, тем жарче становится. Вот уже видят они, земля перед ними черным-черна, жаром опалена. Подъехали ближе – огненную реку увидели: языки пламени до неба поднимаются, с дымами мешаются. Проехали еще немного – невольно стало: жар как в печи печет, ехать дальше не дает.

– Где же эта река начинается, где кончается? Может, объехать нам ее? – говорит Филипок Дубовый Листок.

– Может, и объехать, – отвечает Полушечка. – Только кажется мне, что кольцом она Хвалынский лес огибает. А иначе про нее бы и речи не было.

Решили братья остановиться на ночь перед огненной рекой, а назавтра разведать, какой через нее есть проход или мосток. Нашли они последний ручеек перед огненной рекой. Течет он, как веревочка, узкий, между камней, вода в нем горячая, так что парок от нее поднимается, тоненькими клубочками свивается. Вокруг ни кустика, ни травинки живой не видно. Только каменные глыбы громоздятся от края до края. Слышно, как огонь над рекой гудит. Уж и ночь пришла, а сумерки не опускаются. Красная заря от огненной реки в полнеба стоит, все освещает. Посматривают братья на зарево – жуть берет: как через такой огонь пробиться?

– Если и есть место хуже этого, то в самом аду, – говорит Филипок.

– Эх, не грех и сбобеть подле этой реки, – соглашается Полушечка.

Наутро Филипок сделал метку у ручейка – сложил гору из каменных глыб, и отправились братья вдоль огненной реки. Едут день, едут два. Жар стоит такой, будто два солнца на небе пекут. Орлеца вскачь не пускают, берегут. Нет на реке никакого прохода, никакого мостка, пламя стеной поднимается. На третий день показалась гора из камней, которую Филипок сложил.

– Вот тебе и отгадка, – говорит Полушечка, – река и вправду Хвалынский лес кольцом опоя-

сывает. Светлый день, темная темь, теперь задача потруднее будет.

Стали они совет держать, что делать да как быть.

– Заметил ли, где огненные языки пониже, а где повыше? – спрашивает Филипок Полушечку.

– Видел я в одном месте, будто совсем низко огонь стоял, и жар не такой сильный с той стороны шел. Вся надежда на Орлеца: сможет ли он там огненную реку перепрыгнуть?

На том и порешили. Хоть и жар вокруг, а у братьев мороз по коже от такого испытания. Считаю, адское пекло им преодолеть надо. Обнялись они перед прыжком. Может, думают, в последний раз. Взяли воду из ручейка, облились с ног до головы, облили Орлеца, запрыгнули на него. Разогнался Орлец, взвился до неба – и перескочил огненную реку в том месте, где самый низкий огонь был. Как оторвался конь от земли, были они мокрые – вода с них капала, а очутились на другом берегу реки – одежда высохла в один миг. Вот какой жар стоял. Золотую гриву Орлеца огонь попалил, рыжие кудри у Полушечки черными стали, а зеленый чубчик Филипка как сухой листик свернулся.

Но о волосах не горевали, рады были, что сами не пропали. А как двинулись они дальше – тут и радости конец пришел. Встала перед ними смертная чаща: стелятся заросли в рост высотой, на кустах вместо листьев острые шипы с иголку. Остановили братья Орлеца, стали всматриваться в заросли. Мертвая тишина над ними стоит. Видят, в зарослях птички, зайцы, лисы бездыханные оплетены ветвями, исколоты шипами.

Стало ясно братьям, почему эти заросли смертными называются: только вступит в чащу человек или зверь – кусты его крепко оплетают, шипы иглами колют, ни вырваться, ни спастись живой душе.

Сошли братья с коня, приблизились к зарослям – кусты зашевелились, сухие ветки к ним потянулись, острые шипы на них нацелились.

Вдруг услышал Филипок тихое шипенье:

– Филипок Дубовый Лис-с-сток, ш-ш-шипы наш-ш-ши ласковы, ветки наш-ш-ши неж-ж-жные, не бойся, з-з-заходи. Мы тебя не тронем, ты наш-ш-ш.

– Ты что-нибудь слышишь? – спрашивает Полушечка Филипка.

– Говорят мне смертные заросли, что не тронут меня.

Только хотел Филипок зайти в заросли, схватил его Полушечка за руку:

– Стой! Не спеши! Испытать надо слова их. Вдруг заманивают они тебя, чтобы погубить?

– Какая им выгода губить меня? Сказано было Хранильником, что меч, за которым мы охотимся сейчас, меня ждет. Вот и должны смертные заросли меня к нему пропустить.

– Огненная река перед тобой не расступилась.

– А деревья мне родня, – упорствует Филипок Дубовый Листок.

– Смотри, эти кусты мертвые, на них ни побега, ни листочка нет, они только смертью и могут одарить. Смерть жизни не родня.

– Ладно, – согласился Филипок, – давай испытываем, пустят ли меня заросли.

– А как испытывать будем?

– Задача нам.

– Есть у меня задумка! – воскликнул Полушечка. – Снимай одежду.

Снял Филипок одежду. Сделал из нее Полушечка чучело: набил сухой травой, вместо головы камень приладил. Привязал чучело Филипка к длинной палке и засунул в заросли. Смертные кусты даже не шелохнулись, шипы не повернулись, в чучело не воткнулись.

– Видишь! – вскричал Филипок Дубовый Листок. – Говорил я: не тронут меня заросли.

– А все ж таки привяжись на всякий случай крепкой веревкой к Орлецу, а я наготове буду. Если начнут тебя ветки оплетать и шипы колоть, я пришпорю Орлеца, он тебя из зарослей выдернет.

Привязался Филипок к Орлецу, сел Полушечка на коня, приготовился. Стал Филипок в заросли заходить. Шаг сделал – кусты не шелохнулись, второй – ветки не шевельнулись. А как третий шаг сделал – сцепили ветки смертные петли, вонзились острые шипы в тело Филипка. Вскрикнул он от боли. Тут пришпорил коня Полушечка – натянулась веревка и выдернула Филипка из смертных зарослей. Тело его в ранах, кровью залито, шипами утыкано. Бросился Полушечка к Филипку, шипы вынимает, раны обмывает.

– Ах, ясный день, темная темь! Эти заросли хуже смерти: она-то не хитрит, а эти поджидали, когда ты поглубже зайдешь!

Три дня залечивал Филипок раны.

На четвертый говорит ему Полушечка:

– Можно попробовать еще одно средство. Нашел я неподалеку огромную каменную глыбу. Коли катить ее по зарослям, вондет она в землю кусты, все ветки перетрет и шипы обломает.

Как услышал это Филипок, вскочил без промедления:

– У тебя, Полушечка, ума бочка и кадушечка!

Подошли они к каменной глыбе, она в пять Филипковых ростов: не глыба – скала. Покатил ее

Филипок по смертным зарослям. Треск и хруст пошел по ним. Глыба кусты все в землю вминает, ветки перетирает, острые шипы обламывает. После нее торная дорога через заросли ложится. Идут по ней Полушечка с Орлецом.

Филипок катит глыбу и слышит, как злобно свистят и шипят кусты:

– Дос-с-станьте Филипка и Полуш-ш-шечку! С-с-сдавите, ис-с-сколите их!

Да только не дотянутся целым кустам до Филипка и Полушечки, а те, что под глыбу попали, – в труху превратились. Миновали братья смертные заросли, сели на Орлеца и дальше поехали.

– Говорили еще мне березки про дурман-поле, – вспомнил Филипок Дубовый Листок. – Жди новой напасти.

Едут братья, не торопятся, внимательно все оглядывают. А кругом как раз поля расстилаются – на все четыре стороны.

– Кабы где лесок или рощица, нашел бы я советчиков, – сокрушается Филипок, – а тут ни деревца. Поле за полем тянется, а какое из них дурман – поди догадайся.

На одном поле душица-трава синее, на другом – таволга кудрявится. А третье желтыми цветами усеяно, насколько глазу видно.

– Что это за цвет такой? – спрашивает Полушечка.

– Ни разу я такого не видывал, – отвечает Филипок.

– Вот и я не припомню такого. Смотри-ка, красивые какие, лепесточки желтые, глянцевого, середка пушистая, золотистой пыльцой обсыпана. И дух какой от них идет: густой, пряный!

Чувствуют братья: конь под ними запинается, спотыкается, голову к земле клонит. Да и самих тяжкая дрема одолевает стала, голова что чугун, глаза смыкаются. Поняли они, что это и есть дурман-поле, повернули Орлеца, пришпорили. Только в коне уже прежней прыти нет. Правда, успел он до края поля доскакать. Упали они все трое и заснули мертвым сном. День спали, два спали. Только на третий проснулись. Тяжелый сон наводит дурман-поле, желтые цветы сонный дух испускают. Хорошо, что успели они вовремя Орлеца назад повернуть и выскочить. А так бы остались спать в нем на веки вечные!

Стали братья думать да гадать, как им дурман-поле преодолеть. Красивое оно, манит к себе, как золотое море плещется из края в край. Кабы не дурман, который цветы его испускают, так бы и побегал, повалялся, покатался по нему.

– Эх, голова – орех! Что ж мы у деревьев не расспросили, как нам дурман-поле преодолеть?!

– вскрикнул Полушечка. – А в чистом поле найдем ли деревце? Все леса за огненной рекой остались, а до Хвалынского леса доберемся ли?

Стали братья искать деревья. Три дня рыскали по полям. На четвертый нашли наконец маленький росток дерева. Поднималось оно на три пяди над землей.

Склонился над ним Филипок и спрашивает:

– Деревце малое, скажи, как нам проскочить дурман-поле?

А деревце отвечает Филипку тихим голосом:

– Подождите еще три дня, отцветет оно, завянут и опадут дурман-цветы, тогда и отправляйтесь дальше.

На третий день стал опадать дурман-цвет. И дух уже не такой густой с поля идет. К вечеру закружились вихри, собрались черные тучи, загредел гром, забили молнии. Начался ливень, да такой, будто целое море с небес низвергается. Всю ночь хлестал дождь. Наутро ни одного цветка на поле не осталось: все дождь смыл.

А дорога уж недолгая братьям осталась. Сели они на Орлеца. Скакнул он раз, скакнул другой – перед ними лес стеной встал. Заехали в него братья и диву даются. Деревья в нем стоят исполинские, трава будто выметена и вычищена, на ней ни соринки, ни сухого листочка.

– Видно, тут деревья не желтеют, листья не роняют, – говорит Полушечка. – Лес такой, будто вчера его Господь создал: ни ветки сухой, ни травинки жухлой не видно.

– Наверное, это и есть Хвалынский лес, – сказал Филипок и тут же услышал в шелесте листьев слова:

– Правильно, Ф-ф-филипок, это Хвалынс-ский лес-с-с. Давно мы тебя ж-ж-ждем. Иди к сам-дереву, возьми меч-древенец.

Деревья клонят ветви в ту сторону, где сам-дерево растет, путь Филипку указывают. Вышли братья на небольшую опушку. Сам-дерево ростом невысокое, все веточки у него плотно к стволу прижаты и листочками сверху покрыты. Как подошел Филипок Дубовый Листок к волшебному дереву, листочки у него стали расправляться, ветки разгибаться, от ствола отклоняться. Распустилось дерево, как цветок, а в самой его середине увидел Филипок меч.

Зашелестели деревья:

– Это меч-древенец, меч-древенец, воз-з-зьми его, Филипок Дубовый Лис-с-сток. Он твой.

Взял Филипок меч, а тот как пушинка легкий.

– Он же из дерева! – вскричал Филипок. – Вы надо мной смеетесь?!

Деревья ветками радостно замахали, листьями заплескали:

– Из-з-з дерева, из-з-з дерева, из чис-с-стого дерева. Ударь им по колену.

Разозлился богатырь, размахнулся со всей силы мечом. Думал сразу его в щепки расколоть. Ударил мечом о колено – и взвыл от боли: будто кусок каменной скалы на ногу обрушился.

– Светлый день, темная темь! Вот так меч! – дивится Полушечка.

– Крепче этого меч-ч-ча на всем белом с-с-свете не с-с-сыщешь, – шелестят деревья.

Снял Филипок шапку, подбросил ее вверх, рубанул мечом – меч рассек ее на лету, будто нитку.

– Теперь не стыдно к Лесному Хранильнику с таким мечом вернуться, – радуется Филипок.

Поблагодарил он и дерево, хранившее меч, и Хвалынский лес.

– Прощ-щ-щай, Филипок Дубовый Лис-с-сток, береги меч, – прошелестели деревья.

Пора братьям в обратный путь отправляться, пока дурман-поле опять цветом не заросло и в смертной чаще просека осталась.

Сели Филипок с Полушечкой на Орлеца, в обратный путь отправились. Миновали дурман-поле, смертные заросли, перемахнул Орлец через огненную реку. Теперь, считай, уже дома. Пустили они коня во всю силу. Прыгнет Орлец раз, прыгнет другой – долину перескачет, взовьется вверх до небес – горы перемахнет. К вечеру были уже у дома Лесного Хранильника.

Вышел он братьев встречать – Филипок протянул ему меч-древенец. Взял его Лесной Хранильник, просияло у него лицо.

– Была моя надежда, как капля, мала, а теперь она, как море, велика! Скоро увижу я свое сокровище! То, что вы добыли, ни один богатырь не добывал еще, никто такой меч в руках не держал. Слава вам, Филипок с Полушечкой! Заходите в дом, сегодня гостями будете, а завтра, коли охота будет, отправитесь на новую службу. Есть теперь у вас и добрый конь, и славный меч.

Опять белочки туда-сюда снуют, чашки да плошки несут с грибами жареными, кашами пареными, ягодами мочеными, орехами золочеными. А бурундуки принесли туески с пирогами, творогами и сушеными цветами – чай заваривать. Вылетели горлицы целой стаей с горницы, несут напитки пенные, сладкие, отменные.

Лесной Хранильник братьев обо всем спрашивает, велит им подробно рассказать, как меч-древенец они добыли. Сам довольный, головой покачивает, ногами притопывает. Радостью лик его светится.

Шишига болотная

Наутро рассказал им Лесной Хранильник про новую службу:

– Далеко отсюда, в Черных топях живет шишига болотная. Леса она губит, гниль да топь в них разводит, если ее не победить – все леса сведет. Трудно до нее добраться: укрылась она в логове своем, в самой страшной трясине посередине Черных топей, ни человек, ни конь туда не проедут. Найти эти топи нетрудно. Коли поедете вы на северную сторону, скоро в них и уткнетесь. Весь северный край покрыт уже ее трясинами. Надо выманить оттуда шишигу болотную и убить ее, пока она все земли и леса в топи не превратила. Против нее только меч-древенец можно выставить. Другие мечи она как щепки ломала, копы на лету хватала, а камни и вовсе глотала. Много богатырей посылал я туда, никто не смог одолеть шишигу болотную. Вот такая вам служба.

– Эх, голова – орех, жизнь – молоточек, отдохнули денечек – поедем на новую службу, – тряхнул кудрями Полушечка.

Вышли братья из дому. Филипок свистнул громким посвистом – затряслась земля, бежит Орлец, грива золотыми прядями блещет. Ржанием хозяев своих радостно приветствует. Обняли братья любимого коня, оседлали и отправились в дорогу.

Едут они, Полушечка Филипка спрашивает:

– Слышал ты, говорил Лесной Хранильник про какое-то сокровище?

– Слышал.

– Видно, отправит нас скоро сокровище добывать.

– Может, и отправит, а пока наше сокровище – шишига болотная.

Рассмеялся Полушечка:

– Наверное, первая красавица на болоте.

– Ну, коли других кикимор там нету.

Мчится Орлец на север – реки перепрыгивает, озера перескакивает, долины перемахивает. Видят братья, леса кругом стали редкие, рощи чахлые. Листья на деревьях жухлые, потеряли они зеленый цвет. На лугах все больше болотные кочки попадаются.

Слышит Филипок, как стонут деревья, жалуются ему:

– Пропадаем мы з-з-здесь, Филипоч-ч-чек Дубовый Лис-с-сточек. С-с-совс-с-сем близко болото к нам подступило. Гниют наш-ш-ши корни, вянут лис-с-стья. Губит нас шишига болотная, с-с-спасите нас-с-с, Филипочек Дубовый Лис-с-сточек и Полуш-ш-щечка!

Жалко Филипку деревья.

– Все сделаем, что сможем, сестрицы мои, зеленицы. Уж мы эту шишигу отыщем, выманим ее из болота.

А потом и вовсе болотистые места начались. Леса все погибли, вместо деревьев повсюду одни стволы торчат да полуживые кустики хиреют. Не слышит Филипок шепота деревьев. Все мертвым-мертво.

– Это они и есть, Черные топи, – хмурится Филипок.

Над болотами серая мгла стелется, солнце закрывает, птицы, будто человечьими голосами, жутко кричат. Дух стоит тяжелый, гиблый. Между кочками черная трясина колыхается, чавкает да булькает. Орлец с кочки на кочку перепрыгивает, места потверже выбирает. Но вот и он остановился: нет дальше пути – впереди топь непроходимая.

Стали братья высматривать: где там логово шишиги болотной и как ее можно оттуда выманить? Нет у них ни метки, ни верного знака, по которому можно ее найти. Куда глаз ни кинь – всюду гиблая трясина тянется. Спешились они. Сделал Полушечка шаг – тут же по пояс провалился в трясину. А она, как живая, тянет его вниз, закручивает. Ухватился Филипок за Полушечку, дернул его. Полушечка взвыл от боли.

– Ты почему так кричишь? Я тебя из грязи вытаскиваю, а не из шкуры, – удивляется Филипок.

– Такая сила у этой трясини – будто кто-то меня снизу тянет! Думал, что без ног останусь.

– Да ну?! – дивится Филипок.

– Или в трясине чародейная сила, или...

– Или что?

Полушечка придвинулся к брату.

– Или, – шепнул он, – сама шишига за ноги меня тянула.

Вдруг неподалеку трясина ходуном заходила, громко зачавкала, забулькала, выпрыгнула из нее птица не птица, лягушка не лягушка, человек не человек. Нос у нее утиный, глаза лягушачьи, на голове тина болотная, руки как гусиные лапы. Выпрыгнула и глазами заморгала: морг, морг.

– Никак это и есть шишига болотная! – вскрикнул Полушечка.

Сорвал Филипок с себя лук, выстрелил, а чудище стрелу на лету поймало, переломило и выбросило. Метнул в нее Полушечка копье – чудище и его поймало, как тростиночку сломало, обломки назад бросило.

– Это она! Нечисть топкая! – крикнул Филипок.

Хотел он кинуться к ней, но схватил его брат за руку:

– Стой! Не ходи! Она нарочно нас в трясину заманивает. Вишь, лупает своими глазами лягушачьими. Если ты провалишься – не смогу я вытащить тебя. Со страшной силой затягивает болото поганое.

Выхватил Филипок меч-древенец, погрозил шишиге. А та глаза еще больше вытаращила, позеленела вся и – плюх! – нырнула в трясину. Только черная тина во все стороны разлетелась.

– Видел, как она переменялась, испугалась? – обрадовался Филипок. – Узнала меч-древенец – смерть свою!

– То-то и оно. Может, рано ты меч ей показал, теперь она забьется в трясину – век ее не достанешь.

Сели братья на кочку рядом с трясинной, стали думать, как же достать им шишигу. Думали, думали, ничего не придумали. В трясину зайдешь – сразу свою гибель найдешь, а шишиге разве забота? Ей дом родной болото. Будет в нем век сидеть.

– Эх, голова – орех, жизнь – молоточек, – сокрушается Полушечка. – Зачем ей меч показали, вспугнули поганую? Теперь поджидай, голову ломай, как ее оттуда выманить! Ни входа, ни выхода нет в трясину.

Ничего не осталось братьям, как сидеть меж болотных кочек и ждать, не появится ли шишига.

Ждут день, ждут второй, а на третий день Полушечка вдруг как хлопнет себя ладошкой по макушке:

– Знаю, как выманить ее!

– Как?

Наклонился брат к брату и начал шептать:

– Прикинемся, будто поссорились с тобой, будем громко ругаться, орать во всю глотку, чтобы шишига услышала. Потом достанем мечи, начнем рубиться. Я тебя раню легонько – а ты прикинься мертвым. Упадешь на землю со своим мечом, а я вскочу на Орлеца и ускачу прочь. А ты лежи, жди шишигу, она обязательно вылезет из болота посмотреть, что случилось. А как увидит, что лежишь ты мертвый с древенцом, захочет взять его. Это точно, никуда она не денется, в нем смерть ее. И как только вылезет она из болота, приблизится к тебе – тут ты оживай и рази ее со всего маху мечом!

– Ну, Полушечка, ума бочка и кадушечка! Славно придумано! – воскликнул Филипок.

– Тише! Тише! – замахал тот руками. – Ты, главное дело, вовремя очнись. Раньше подскочишь – она успеет в болото прыгнуть. Но и к себе близко не подпускай. Мало ли каким она там чаро-

Царь-дерево и на весь лесной род. Надо вам избавить от него лесные угодыя и Царь-дерево спасти.

Братья долго не собирались, вышли из дому, свистнули, гикнули – тут же Орлец отозвался веселым ржанием, прибежал к хозяевам. Сели они на коня своего любимого.

Хранильник говорит им на прощание:

– Коли не сможете совладать с Удушником, отправляйтесь за помощью к сестре моей Леснее. Живет она в Араданских горах на озере Светлом. Сестра вам поможет.

Попрощались братья с Лесным Хранильником и отправились на службу. Скачет Орлец – мелькают города и села, долины и реки, горы и поля. Как добрались путники до дальних лесов, безотрадная картина открылась им: стоят все деревья, обвитые серыми плетями, чахнут, сохнут в смертных объятьях. Не слышен шелест, не шумит листва. Усохли, скрутились листочки, опадают на землю. Средь ясного лета листопад начался.

– Какое злодейство Удушник учинил! – сокрушается Филипок. – Мертвые леса стоят. Нечем им шелестеть-разговаривать. Не слышу я ни единого словечка.

Осмотрелись путники и увидели: возвышается вдали громадное дерево, то, что посредине белого света растет.

– Вон оно, Царь-дерево, – догадался Полушечка.

В один прыжок домчал их Орлец до цели. Верхушка Царь-дерева за облаками скрывается, в синее небо упирается. Филипок и Полушечка как кузнечики рядом с ним. Смотрят братья: белый свет перестал белым быть. С Царь-деревом та же беда приключилась. По стволу и веткам его вьются серые плети. Сдавили так, что жизни в дереве не осталось. Нет ни листьев, ни плодов, ни цветов – опали и прахом рассыпались по земле. И Плещей-река исчезла, не омывает корни Царь-дерева, сухое русло от нее осталось.

Начали братья плети рубить и очищать от них Царь-дерево. Меч-древенец плети как нитки перерубает. Филипок играючи сдергивает их с веток. Очистили богатыри Царь-дерево, принялись за другие. До самой ночи трудились. Филипок плети в щепки перерубил и поджег. Запылал костер до неба. Весело трещали щепки в костре.

– Завтра очистим все леса и домой отправимся! – радостно воскликнул Полушечка. – Истребим все злодейство Удушника!

Устали братья, прилегли у костра без сил да и заснули. Просыпаются утром, а белый свет снова серым стал. За ночь narосли новые плети, толще

прежних, опять оплели Царь-дерево и все, что вокруг росло, будто и не истребляли их богатыри.

Говорит Полушечка Филипку:

– Мы с тобой листья поганого растения обрывали, а корень цел остался. Надо искать нору Удушника. Видно, оттуда вся эта пакость лезет.

Стали братья искать нору. День ищут, второй, третий – не могут найти. Серые плети по земле стелятся, сухие листья пологом все покрыли.

Бросил Полушечка шапку о землю:

– Проще мечом поле вспахать, чем найти нору эту! Пойдем-ка к Леснее, пусть даст нам верный знак, как найти Удушника.

– А коли найдем нору, как его достать? Он глубже крота в нее забился, – сокрушается Филипок.

– Потому и надо к Леснее идти, пусть подскажет, как выманить его из норы.

Невеселы сели братья на Орлеца и отправились в Араданские горы на озеро Светлое. Отыскали Леснею. Живет она в резном тереме среди могучих кедров.

– Знаю, знаю, добры молодцы, зачем пожаловали, – встретила их Леснея на высоком крыльце. – Была мне весть от брата моего. Заходите в терем да отдохните с дороги.

Накрыла хозяйка стол, стала угощать гостей, а после о деле разговор завела.

– Не печальтесь, – говорит Леснея, – найдем мы управу на Удушника. Дам я вам перелет-траву. Она покажет нору злодея. А вот выманить его и поймать очень трудно. Нора-то сколько входов-выходов имеет! Оставайтесь у меня покуда. Буду думать-гадать, какое средство вам в помощь сотворить.

С вечера затеяла Леснея волшбу. Воскурила на медном блюде лютиковый цвет. Дым над блюдом поднимается, то в кольца совьется, то на струйки разделится. Смотрела, смотрела Леснея на дымные узоры – ничего высмотреть не может. Стала она брызгать водой на серебряное блюдо. Смотрела на водяные узоры – ничего высмотреть не может.

Взяла она горсть самоцветов, бросила их на стол. Смотрела, смотрела да вдруг как вскрикнет:

– И правда! Как же я про Златошейку не вспомнила?!

Взяла Леснея ржаного хлеба, вышла на крыльцо, покрошила его. Прилетела к ней птаха Златошейка. Птаха крошки клюет, а Леснея ей про Удушника и злодейства его рассказывает.

– Сможешь ли выманить его из норы? – спрашивает.

Пискнула Златошейка и села на плечо Леснее.

надо за новой к Лесному Хранильнику возвращаться.

Сели братья на Орлеца и отправились в обратный путь. К вечеру были они уже у дома Лесного Хранильника. Тот радостно их встречает.

– Слава, – говорит, – впереди вас бежит. Знаю я уже все про подвиги ваши геройские. Спасли вы не только Царь-дерево, но и все леса на белом свете. Надо победе вашей честь отдать.

– Да и сестре твоей Леснее! – честно отвечают богатыри. – Без нее мы бы не справились!

Видят братья, на опушке столы длинные накрыты. И собираются гости: девы лесные, веснянки да осенницы, летницы и зимунки, звериные да птичьи божки, грибные воеводы, ягодные ведуньи, травницы, цветочницы – вся лесная управа. Каждый к братьям подходит, слово приветливое говорит. Уселись гости за столы, начался пир. Лесной Хранильник велит Филипку и Полушечке подробно рассказать, как они со службой справились и Царь-дерево спасли. Гости со вниманием слушают, одобрительно восклицают.

Как стемнело, прилетели на поляну светлячки, тысячи изумрудных огоньков осветили всю опушку. До утра пир продолжался. Полушечка на свирели играл, а вся управа лесная пела да плясала.

Изумрудинка

На другой день братья спрашивают у Лесного Хранильника:

– Когда будет следующая служба?

Лесной Хранильник хмурится да отмалчивается.

Проходит второй день, третий, братья опять спрашивают, когда, дескать, на службу поедем. Хозяин опять ничего про службу не говорит.

– Не время еще, отдохайте пока.

Прошла неделя, братья опять про свое.

– Отдыхайте покуда, – отвечает Хранильник.

– Наотдыхались мы, – говорит Филипок, – вели нам на новую службу ехать.

Задумался Лесной Хранильник и говорит:

– Боязно мне вас на эту службу посылать и боязно не посылать. Но вы моя последняя надежда...

Помолчал он и начал свой рассказ:

– Есть у меня любимая дочь, сокровище мое, Изумрудинка. Назвали ее так потому, что коса у нее цветом чистый изумруд и глаза зеленым-зелены, а в них два солнышка играют. Такая она красавица и разумница. Похитил мою дочь демон Мохнач, хотел сделать ее своей женой. Но Изумрудинка не соглашалась выйти за него замуж. Тогда унес он ее на Лютые скалы, заросшие каменным

садом, и превратил в каменное дерево. Стоит она там, душа моя, уже много лет... Но есть теперь средство освободить ее.

– Какое же? – спрашивает Филипок Дубовый Листок.

– Меч-древенец! Коли ударить им по каменному дереву – расколется оно, рассыплется, оживет моя дочь и выйдет из него. Я ведь не только леса и рощи хотел от напастей избавить, когда вас за мечом посылал, дочку свою хотелось мне от страшного заклятья спасти. И когда матушке твоей дубовую веточку дал, тоже думал: будет у нее дитя, взрастит она богатыря, может быть, сможет он спасти дочь мою Изумрудинку.

– Эх, не грех и в дальний путь отправиться! – весело говорит Полушечка. – Меч-древенец есть, богатырь тоже имеется. Освободит он красную девицу, дочку вашу Изумрудинку.

Помолчал Лесной Хранильник, листочки на бороде погладил, нахмурился и говорит:

– Славно то было бы. Да вот беда. Не знаю я, как найти среди других каменное дерево, в которое Мохнач Изумрудинку превратил. Там, на Лютых скалах, каменных деревьев много. Сделал Мохнач демонскую подлость. Такое он заклятье наложил на Изумрудинку, что, коли ударишь не по дереву, в которое он дочь мою превратил, навек она каменной останется, ничем уже спасти ее нельзя будет. Вот как. Счастьем было бы Изумрудинку вызволить, да как бы к вечной гибели ее не приговорить. Нет метки, по которой можно Изумрудинку найти.

Задумались добрые молодцы.

– Давно ли, – спрашивает Филипок Дубовый Листок, – Мохнач ее в каменное дерево превратил?

– За год до того, как матушка твоя ко мне в дом забрела... Испытаны вы в разных службах, знаю теперь: можно вас на спасение Изумрудинки посылать. Много я знаю храбрецов и богатырей, но никому еще не поручал, никому не доверял спасение Изумрудинки, только вам.

– Изо всех сил будем стараться! – говорит Филипок Дубовый Листок. – Доберемся до Лютых скал, посмотримся, может, и отыщем какую-нибудь метку, найдем Изумрудинку.

– А теперь пора в путь-дорогу собираться, – подхватил Полушечка. – Место покажет – дело свяжет.

Вышли братья из дому, свистнули, гикнули. В ответ им послышалось ржание Орлеца. Скачет конь – золотые пряди в гриве блестят.

Стали Филипок с Полушечкой Орлеца запрягать, а Хранильник им тем временем путь рассказывает:

– Лежат Лютые скалы за дремучей Барзасской тайгой, за Чумайской степью, за тремя морями. Даже Орлец отсюда до Лютых скал в три дня не доскачет. Как минуете вы третье море, начнется Змеиная пустыня, а там уже и Лютые скалы увидите.

Сели братья на Орлеца. Лесной Хранильник тронул Филипка на прощание рукой и говорит:

– Коли не отыщите вы верного знака, по которому Изумрудинку можно определить, оставьте ее в каменном саду стоять каменным деревом. Может, сжалются когда-нибудь над нами светлые силы...

Дал Филипок слово Лесному Хранильнику, что без верного знака не будут судьбу испытывать.

Взвился Орлец и в один миг исчез с глаз. Долго стоял Лесной Хранильник, смотрел вслед Филипку и Полушечке: вернутся ли они с Изумрудинкой или останется она на веки вечные стоять каменным деревом в Лютых скалах?

День скачет Орлец, второй. Миновали братья дремучую Барзасскую тайгу, широкую Чумайскую степь. Разлилось перед ними бескрайнее море, за ним второе, потом третье. Как объехали они третье море, вступили в Змеиную пустыню. Кишит она ядовитыми змеями и скорпионами. Орлец старается горочек держаться, ядовитых змей копытами топчет. Вдруг резанула молния по небу – осветило все вокруг, и увидели братья вдали черные зубцы: встали перед ними Лютые скалы. Смотрят братья на скалы, а они и вправду лютые.

– Вишь, будто небо со злости грызут своими зубьями, – оглядывается Полушечка. – Иглами острыми в тучи вонзаются.

Едут они между скал – нет жизни вокруг: старый мох с камней осыпается, бурая трава клочьями висит, сухие кусты на ветру шуршат. Недолго братья искали – на скалистых уступах нашли каменный сад. Стоят деревья серые, голые, каменными ветвями сплетаются, корнями за скалистый склон цепляются. Деревьев этих не меньше десяти дюжин будет, и какая среди них Изумрудинка – поди догадайся.

Стали Филипок с Полушечкой бродить по саду, в деревья всматриваться.

– Должен был Мохнач для себя какую-то метку оставить, чтобы отличать Изумрудинку. Ветку какую-нибудь цветную, – говорит Полушечка.

– Или трещину большую.

– Или дупло глубокое.

– Или в дерево самое высокое злодей Изумрудинку превратил.

Ходят, смотрят: нет никакой ветки цветной, нет трещины большой, нет дупла глубокого, нет дерева высокого. У одних ветки обломаны, у других корни разбиты, и у многих стволы мелкими трещинками покрыты.

– Эх, были бы деревья живые, сами бы мне рассказали, где Изумрудинка, – сокрушается Филипок Дубовый Листок. – А эти молчат, как...

– Как каменные, – подсказал Полушечка.

В сердцах махнул Филипок рукой.

Стали тогда братья внимательно в трещинки на стволах деревьев вглядываться: может, сложатся они в какой-нибудь знак или слово – и раскроется им тайна Изумрудинки. Долго присматривались да приглядывались. То им покажется, что в стан девический трещинки на стволе складываются, то сам демон с крыльями им представится. Но не могут найти они верного знака.

– Эх, светлый день, темная тень! Сыграю я на дудочке своей. Коли есть дерево с живой душой, пусть оно само знак нам подаст, – сказал Полушечка.

Достал он свирель и начал играть. Поплыли по каменному саду грустные напевы. Так душевно играет дудочка, что и черствая скала должна откликнуться.

А Филипок ходит, вокруг осматривается, к каждому дереву приглядывается: не дрогнут ли ветки, не качнется ли ствол, не раздастся ли звук. Но все мертво вокруг: ветки не дрогнули, стволы не качнулись, молчат деревья. Вдруг заметил Филипок: сверкнуло что-то на одном дереве. Подошел он ближе. Видит, блестит на ветке маленькая капелька – то ли роса, то ли дождинка. Позвал он Полушечку.

Посмотрел тот на капельку, попробовал ее и воскликнул:

– Она соленая! Вот он, верный знак!

Но Филипок медлит, робеет меч поднять.

– А вдруг, – говорит, – дождинка какая-нибудь соленая с пустыни залетела? Ударю я мечом, а Изумрудинка навек окаменеет!

– Ну, тогда смотри! – говорит Полушечка.

Сел он возле дерева, снова стал играть на дудочке.

Видит Филипок: за первой капелькой вторая появилась, за ней третья, четвертая. Катятся капли одна за одной. И стоит каменное дерево все в слезах.

Вмиг все стало ясно Филипку. Не мешкая, выхватил он меч-древенец и ударил им со всей силы по дереву. Ждут братья, что будет. Идет время

– дерево не шелохнется. Неужто обманул их Мохнач?! Вдруг раздался треск – пошли трещины по коре. Рассыпалось дерево, рассеялось на песчинки. И предстала перед Филиппком и Полушечкой красна девица: глаза у нее будто два изумруда сияют, сама бледная, как луна, коса до пят цветом как чуб у Филипка, и слезы по лицу ручьем текут.

– Изумрудинка! – враз воскликнули Филиппок и Полушечка с великой радостью.

Видит Изумрудинка, стоят перед ней два добрых молодца, один с мечом, другой с дудочкой. Обнимает она своих спасителей, а сама пуще прежнего рыдает:

– Прилетит сейчас Мохнач и снова похитит меня!

– Да разве мы отдадим ему такую красавицу? – утешают ее братья. – Мы сейчас тебя к батюшке твоему, Лесному Хранильнику отвезем.

Изумрудинка головой качает:

– И вы уходите, погубит он вас, демон поганый!

Только она это сказала – потемнели, загудели небеса. Видят братья, летит к Лютым скалам, к каменному саду черная туча.

Изумрудинка как осиновый листик задрожала:

– Это он! Демон Мохнач!

Вскочил Филиппок на Орлеца и помчался навстречу демону. Взвился Орлец до неба, налетел Филиппок на тучу, стал рвать и кромсать ее мечом на куски. И тут каждый кусок начал в демонов превращаться. Кружится их с дюжину вокруг Филипка. Все они одинаковы: видом мерзкие, мохнатые, волосатые, крылья кожистые, уши обезьяньи, морды клыкастые.

– Это все призраки его, только один среди них Мохнач! – кричит Изумрудинка, а сама, что есть силы в руках девичьих, за Полушечку держится.

– Как его узнать, гада летучего? – спрашивает Полушечка.

– Не узнаешь, пока не убьешь! – рыдает Изумрудинка.

– Сейчас мы его пометим!

Достал Полушечка стрелы и стал их в демонов пускать.

Отбивается Филиппок мечом от нечистых. Только меч его, как сквозь туман, через них проходит, а они невредимы остаются. Демоны визжат, хохочут, на Филипка насакивают, путают его, глаза ему застят. Понял и Филиппок, что это все призраки.

– Где ты, Мохнач поганый? Выходи на честный бой! – крикнул он.

– Я здесь! Здесь! Вот я! – визжат призраки, вокруг Филипка вьются.

А настоящий демон тем временем смерч напустил. Рвет смерч гриву Орлецу, сносит Филипка с лошади, но тот крепко в седле сидит, да и у коня сила недюжинная. Вынес он богатыря из смертного круговорота. Стал тогда Мохнач огнем жечь. Но Орлец как вихрь носится – не достанешь его.

А Полушечкины стрелы тоже пролетали сквозь ложных демонов, как сквозь облака. Только вдруг одна стрела попала в Мохнача, в грудь ему воткнулась. Взвизгнул, взвыл Мохнач. Обернулся Филиппок, видит: у одного демона стрела из груди торчит. Понял он, что это не призрак. Как молния метнулся к нему, ударил мечом и сразил наповал. Черной копотью рассыпались все призраки демонские. И сам Мохнач как сизый дым рассеялся.

Осадил Филиппок Орлеца возле Изумрудинки.

– Нет больше Мохнача. Ты свободна!

– Не знаю, как вас и благодарить! – воскликнула девушка.

– Благодарить надо прежде батюшку твоего, Лесного Хранильника, – говорит Филиппок. – Очень уж он тосковал по тебе, нас на выручку отправил.

– Неужели я увижу его скоро?!

– И трех дней не пройдет, как увидишь.

Рассказали ей избавители, кто они и почему посланы были на ее спасение. Изумрудинка от счастья светится. Благодарит своих избавителей, об отце своем подробно расспрашивает.

Вдруг Полушечка руку к уху приставил и прислушался:

– Стойте! Никак стонет кто-то!

Вслушиваются Филиппок с Изумрудинкой – ничего не слышат.

– Видно, почудилось тебе.

– Да нет же! Вот и опять я слышу!

Побежал Полушечка вглубь каменного леса, откуда стоны доносились.

– Смотрите, кто здесь! – зовет он Филипка и Изумрудинку.

Поспешили те за Полушечкой. Видят, лежит под деревьями девушка, кудри медные по камням рассыпались. Положила Изумрудинка ее голову себе на колени.

– Кто ты? – спрашивает.

Очнулась девушка, обвела всех взглядом и говорит:

– Я Евпраксия, меня демон Мохнач заточил в каменное дерево.

– Видно, после гибели Мохнача чары его рассеялись, – догадался Филиппок.

Стали расспрашивать Евпраксию, почему превратил ее демон в каменное дерево. Рассказала им девушка, что погубил злодей ее отца, потому что был тот праведником, имел силу изго-

нять демонов и низвергать их в бездны. А чтобы не проявился отцовский дар у дочери, заточил ее Мохнач в каменное дерево.

Хоть и крепилась девушка, а слез не смогла сдержать:

– Нет у меня ни дома, ни родителей, все истребил демон, некуда мне вернуться!

Обняла ее Изумрудинка и говорит:

– Поедем со мной к моему батюшке, Лесному Хранильнику, он с радостью примет тебя, будешь мне названной сестрой. Мы ведь с тобой вправду сестры: столько лет были каменными деревьями, на Лютых скалах томилась. А это – спасители наши, Филипок Дубовый Листок и Полушечка. Они тоже братья названные.

Поблагодарила Евпраксия горячо своих избавителей.

– Эх, не грех теперь и в обратный путь отправиться! Засиделись мы, – говорит Полушечка. – Пожалуйте, красны девицы, на Орлеца Коняевича, – шутит он.

Сели все четверо на Орлеца и отправились к Лесному Хранильнику. Миновали они Змеиную пустыню, три моря пролетели. Орлец версту за верстой отмеривает. Вот уже и Чумайская степь перед ними раскинулась. Сидит меднокудрая Евпраксия впереди Филипка на Орлеце, локоны ее душистые ветер развеивает, Филипку лицо они ласкают. «Что же, – думает Филипок, – так быстро Орлец скачет? Завтра уже домчимся мы до леса Лесного Хранильника, и нужно будет расставаться с Евпраксией».

Нравилось Филипку стройный стан Евпраксии придерживать, любоваться, как горят ее медные кудри на солнышке. «Как бы сказать Орлецу, чтоб помедленнее он скакал, не торопился?» Но Орлец знай себе долины да леса проскакивает.

Сбросил тогда Филипок с себя сапожок, стал Орлеца придерживать:

– Стой-постой, конь родной, сапожок с ноги упал.

Остановился Орлец.

– Пойдем, – говорит Филипок, – Евпраксюшка, сапог мой искать.

Взял Филипок девушку за белую руку, пошел с ней по степи гулять, сапожок искать. А Изумрудинка с Полушечкой в роще возле Орлеца остались. «Хорошо, если бы не только сапожок, но и счастье свое они отыскали», – думает Полушечка. Понял он, что влюбился Филипок в Евпраксию.

Изумрудинка под березку села.

– Сыграй ты мне, Полушечка, на дудочке, – просит она. – Твои напевы мне всю душу вывернули. Совсем было там, в Лютых скалах, закаменело сердце мое, а ты его оживил.

Заиграл Полушечка на свирели. Любо играть ему для зеленоглазой красавицы, смотреть в лицо ее ясное. Разгорелась в Полушечкином сердце любовь к дочери Лесного Хранильника. А Изумрудинка заслушалась. Так напевы душу ее взволновали, что опять полились у нее слезы из глаз.

– Век бы, Полушечка, твою свирель слушала!

– Коли станешь моей женой, каждый день буду играть для тебя, прекрасная Изумрудинка! – сказал так Полушечка и сам испугался дерзости своей.

А Изумрудинка рассмеялась и ответила:

– Буду твоей женой, Полушечка! – Потом помолчала и добавила: – Как услышала я звуки дудочки там, в каменном саду, подумала: не суженый ли мой пришел за мной? Не ошиблось мое сердце. Сразу полюбился ты мне. Ну, поиграй еще, Полушечка.

Долго сидели они под березкой, пока не вернулись Филипок с Евпраксией. Нашелся сапожок. Посмотрели друг на друга сестры и братья – все им стало ясно! Рассмеялись они весело. Сели на Орлеца и помчались по Чумайской степи, через Барзасскую тайгу, к дому Лесного Хранильника.



ЛИТЕРАТУРНАЯ ХРОНИКА

9 июля в с. Топки состоялся вечер памяти поэта В. Баянова и освящение родника. На вечере выступили поэт Б. Бурмистров и краевед Э. Вистерман.

22 июля поэт Б. Бурмистров выступил в пгт Ижморский.

24 июля в Ленинске-Кузнецком в Центральной городской библиотеке им. Н. К. Крупской прошла презентация книги С. Донбая «Четверть века».

30 июля поэты К. Стафиевский и М. Федорова прочитали стихи на творческом вечере в кофейне «Мо.со» (Кемерово).

9 августа в областной библиотеке им. В. Федорова прошел творческий вечер поэта, лауреата Большой литературной премии России Б. Бурмистрова, посвященный 75-летию со дня рождения. Прозвучали стихи и песни в исполнении юбиляра. Поэт представил свою новую книгу «Дальний свет», принял поздравления от друзей и коллег.

14 августа В. Лаврина приняла участие в фестивале «Сказки Сибири», прошедшем в поселке Трудармейском Прокопьевского муниципального округа. Писательница участвовала в программе фестиваля, представляла свои книги для детей.

14 августа в д. Юго-Александровке прошел 17-й фестиваль «Юго-Александровский родник». На праздник приехали поэты О. Хапилова, А. Пятак, Ю. Сычева, В. Киселев и др. Ю. Михайлов привез свою молодежную студию из Березовского. М. Шеховцов познакомил с начинающими поэтами из студии «Ижморские искорки». П. Стародубцев из Ижморки и К. Малиновский из Березовского были признаны победителями поэтического конкурса. Участники посетили место упокоения поэта Л. Гержидовича и возложили цветы к памятнику.

В августе Ю. Климанов (Кемерово) вошел в шорт-лист I Всероссийской литературной премии им. А. И. Левитова в номинации «Поэзия» (18–40 лет).

20 августа в д. Талой Юргинского района прошел творческий вечер поэтов Б. Бурмистрова и Т. Колач.

27 августа поэт И. Медведев выступил на творческом вечере в кофейне «Мо.со».

27 августа в пос. Тяжин выступили поэты Б. Бурмистров, А. Пятак и краевед Э. Вистерман.

В конце августа были подведены итоги Городского поэтического онлайн-конкурса «Шахтерский голос

Кузбасса», организованного интернет-библиотекой г. Белово. Жюри в составе членов Союза писателей России Н. Глушковой, Е. Трухан, Т. Колач определило лучшие из присланных на конкурс произведений.

31 августа в Кузбассе стартовал литературно-социальный проект «На честном слове». Это проект по выявлению талантливой молодежи в области литературы. Автор проекта – Д. Филиппенко. Г. Золотаина, Д. Филиппенко и Д. Мурзин посетили Гурьевск, Калтан, Осинники, Белово, Топки, Новокузнецк, Междуреченск, Мыски, Анжеро-Судженск, Прокопьевск, Киселевск, Юргу, Таштагол, провели семинары для молодых авторов и круглые столы по проблемам литературного процесса.

11 сентября в Кузбасском центре искусств на встрече с ветеранами г. Кемерово поэты С. Донбай и Б. Бурмистров представили свои книги «Четверть века» и «Дальний свет».

12 сентября в школе № 45 г. Кемерово прошла творческая встреча с поэтессой И. Фроловой.

17–19 сентября в Самаре прошел IX Всероссийский литературный фестиваль им. М. Анищенко. Руководителем семинара поэзии был приглашен поэт Д. Мурзин. В работе секции «Организация литературного процесса» принял участие Д. Филиппенко.

21 сентября в Кузбасском центре искусств состоялся вечер, посвященный столетию Е. С. Буравлева, поэта-фронтовика, создателя и первого руководителя СП Кузбасса. Воспоминаниями о поэте поделились С. Донбай, И. Куралов. Выступили И. Федорова и В. Надь. Вечер вел поэт Б. Бурмистров.

24 сентября поэты И. Тюнина, В. Шагиахметов, Е. Солодянкина, А. Фомин выступили на творческом вечере в кофейне «Мо.со».

24 сентября прошла встреча поэта Ю. Дубатова с учениками школы № 45 по теме урока города «Учитель – это призвание».

24–26 сентября прошло Межрегиональное совещание авторов Сибири и Дальнего Востока. Второй год подряд совещание проходит в формате видеоконференции. Руководителями семинара поэзии работали поэты С. Донбай и Д. Мурзин. Участниками семинара от Кузбасса стали поэт А. Лавицкая (Салаир), прозаики И. Ким (Новокузнецк), О. Сафонов (Новокузнецк) и А. Поселенов (Кемерово).

28 сентября в библиотеке им. Г. Юрова состоялась встреча поэта Б. Бурмистрова со школьниками.

29 сентября состоялось представление новой книги поэта Б. Бурмистрова в областной библиотеке им. В. Федорова.

2 октября М. Федорова (Кемерово) и М. Рантович (Березовский) вошли в длинный список Международной литературной премии им. И. Ф. Анненского в номинации «Поэзия». 16 октября был опубликован короткий список. В него вошел М. Рантович.

3–4 октября в трех библиотеках г. Полысаево состоялись встречи с писателем Е. Тюшиной, во время которых юные читатели познакомились с приключениями их сверстников из книг, рассказывающих об истории города Кемерово, о работе подростков в годы войны и об открытии угля в Кузбассе.

5 октября в библиотеке им. В. Федорова состоялся поэтический вечер «Я поэт. Иного пути нет», приуроченный к 100-летию со дня рождения М. Небогатов. В Кемерово приехали члены литературных студий из Анжеро-Судженска, пгт Ижморского, Калтана, Новокузнецка, Юрги. Выступили поэты Б. Бурмистров, С. Донбай, И. Куралов, И. Фролова.

6 октября прошло представление 4-го номера журнала «Огни Кузбасса», посвященное 100-летию Е. Буравлева. Публикацию писем поэта представил В. Надь, выступили авторы номера Б. Бурмистров, А. Рыжова, А. Коваленко. Поэзию номера представил ответсекретарь журнала Д. Мурзин. Вел встречу главный редактор С. Донбай.

7–9 октября в Липецке прошел Международный литературный и экопросветительский фестиваль «Бунинские Озерки». В программе фестиваля – круглый стол, мастер-классы со школьниками, пленэры, литературный конкурс. Участником фестиваля и членом жюри стал поэт Д. Мурзин. В длинный список конкурса попал рассказ А. Поселенова.

8 октября в пос. Комиссарово в храме Сергия Радонежского прошел урок-утренник «Преподобный Сергей Радонежский – игумен земли Русской, небесный покровитель учащихся и учащихся». Гостем программы выступил поэт А. Пятак.

14 октября в Кузбасском центре искусств на Советском, 40 прошло выступление в стиле FreeArt поэтов С. Донбая и Д. Мурзина. Чтение стихов сопровождалось импровизацией пианиста В. Чижика.

14 октября в Кузбасском центре искусств на Советском, 40 состоялся семинар участников первого регионального молодежного литературного фестиваля-конкурса «Оперение». В работе семинара приняли участие писатели и члены жюри: А. Королев, Е. Кухта, В. Лаврина, Д. Мурзин, С. Донбай, Д. Филиппенко.

Обсудили творческие работы А. Черепановой, Е. Плащинской, Б. Рытенкова, В. Коробковой, В. Емельяненко.

14–16 октября трое поэтов из Кузбасса участвовали во Всероссийском фестивале молодых поэтов «Мцыри» в Москве. А. Назаров (Кемерово) – лауреат второй степени и приз зрительских симпатий, В. Киприянова (Ленинск-Кузнецкий) – лауреат в номинации «Звездочка Мцыри», В. Емельяненко (Ленинск-Кузнецкий) – диплом в номинации «Юконский ворон».

15 октября в Театре для детей и молодежи состоялась торжественная церемония награждения победителей первого регионального молодежного литературного фестиваля-конкурса «Оперение». Звание лауреата конкурса присвоено кемеровчанке, студентке журфака КемГУ А. Черепановой за повесть «Пасынки Агасфера». Победителями конкурса «Оперение» стали: А. Пронкевич (Кемерово), С. Семенова (Кемерово), Д. Волобаева (Кемерово), А. Назаров (Кемерово), А. Ланцов (Кемерово), В. Емельяненко (Ленинск-Кузнецкий). Дипломанты конкурса: Н. Митряйкин (Кемерово), В. Плетт (Кемерово), П. Адашкевич (Ленинск-Кузнецкий), Н. Хмарова (Березовский), К. Чернышева (с. Панфилово), Д. Моисеев (Кемерово), Е. Плащинская (Кемерово), Б. Рытенков (Кемерово), В. Коробкова (Кемерово), К. Малиновский (Березовский), А. Космидер-Грушчински (Кемерово), Е. Зименкова (Кемерово), В. Перепелищенко (Кемерово).

17 октября в Ленинске-Кузнецком в Центральной городской библиотеке прошла презентация четвертого номера литературного альманаха «Образ».

22 октября в г. Березовском в библиотеке им. Л. Гержидовича состоялась встреча «Голос поэта» литераторов города со школьниками литературной группы Ю. Михайлова. Встреча прошла в рамках литературного тура «Золотая осень в Кузбассе». Выступали поэты С. Донбай, В. Бровиков, Ю. Михайлов и представитель организатора – библиотеки им. В. Федорова – В. Козленко.

24 октября в Гурьевской библиотеке творческое объединение «Литературный салон» отметило 45-летие. Руководитель литсалона – Т. Меркулова. Участники салона: Д. Клёстов, Б. Кузнецов, М. Чертанов (Шкабарня), Т. Копытова, Н. Шулакова, А. Школдин, С. Усольцева, Д. Кукин.

26 октября в библиотеке с. Мохово Беловского района прошла встреча в рамках литературного тура «Золотая осень в Кузбассе» с писателями Т. Ильдимировой, В. Коврижных, В. Щелкановым и С. Донбаем. Встреча была посвящена 100-летию поэтов Е. Буравлева и М. Небогатов, также был представлен четвертый номер журнала «Огни Кузбасса». Провела встречу

В. Козленко, представитель организатора – библиотеки им. В. Федорова.

27 октября в Музыкальном театре Кузбасса им. А. Боброва состоялось представление первой биографии из серии «Замечательные люди Кузбасса» – книги Е. Чирикова «Александр Бобров: роли и жизнь» (координатор проекта И. Ягфаров). На встрече присутствовали: министр культуры и национальной политики Кузбасса М. Евса, председатель комитета по вопросам культуры Законодательного собрания Кузбасса И. Федорова, председатель совета по вопросам попечительства в социальной сфере Кузбасса А. Цивилева. Вел вечер директор театра В. Юдельсон.

27–28 октября в Ленинске-Кузнецком в библиотеке им. Н. К. Крупской прошли V Литературные чтения «Кольчугинская осень». В рамках чтений прошла городская презентация альманаха «Кольчугинская осень», творческие встречи с Б. Бурмистровым, В. Лавриной, Л. Чидилян, О. Хапиловой, состоялась презентация книг О. Солодовниковой «Город внутри дождя» и А. Добермана «Ключи от сентября».

28 октября в Кемеровской епархии митрополит Аристарх провел совещание по премии святителя Павла Тобольского. На встрече присутствовали священники, поэты Б. Бурмистров и С. Донбай, краевед В. Ермоленко.

6 ноября состоялась XXII конференция Ассоциации писателей Урала. Как и в прошлом году, из-за пандемии конференция прошла в онлайн-режиме. Докладчики говорили о работе с молодежью, проблемах национальной литературы, об общих радостях и бедах наших писателей. Кузбасс представлял поэт Д. Мурзин.

8 ноября прошло рабочее совещание в Парламенте Кузбасса, посвященное развитию журнала «Огни Кузбасса». В обсуждении приняли участие: председатель комитета по вопросам культуры Законодательного собрания Кузбасса И. Федорова, министр культуры и национальной политики Кузбасса М. Евса, директор Кузбасского центра искусств В. Каплунов, замдиректора КЦИ Г. Фешкова, главный редактор журнала «Огни Кузбасса» С. Донбай, председатель Союза писателей Кузбасса Б. Бурмистров, ответственный секретарь журнала Д. Мурзин, директор областной библиотеки В. Никулина, директор библиотеки Кузбасса для детей и молодежи Н. Донская.

13 ноября ученикам школы № 45 была представлена книга Е. Чирикова «Александр Бобров: роли и жизнь». С приветственным словом выступил координатор проекта «Замечательные люди Кузбасса» И. Ягфаров.

15 ноября в библиотеке им. Г. Юрова прошла творческая встреча школьников с поэтом Д. Мурзиным. Поэт читал стихи, ответил на вопросы, рассказал о журнале «Огни Кузбасса».

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

В рейтинге «Литературной газеты» от 22–28 сентября второе место заняла книга В. Феданова «Вот моя деревня» (Кемерово: Кузбасский центр искусств, 2021).

Журнал «Дальний Восток» № 4 опубликовал три рассказа А. Поселенова: «Ливень», «Пожар» и «Гришаслепой».

В газете «Омское время» (Омск) № 10 напечатаны стихи А. Раевского «...А Россию не дам. Никому».

Журнал «Родная Ладога» (Санкт-Петербург) № 3 напечатал юбилейную подборку Б. Бурмистрова и статью Т. Колач.

Журнал «Мурр+» (Калининград) № 3 опубликовал подборку детских стихов А. Поселенова.

Журнал «Сибирские огни» (Новосибирск) № 10 напечатал очерк А. Савченко «Под знаком соёмбо».

169 Журнал «Подъем» (Воронеж) № 7 напечатал подборку стихов О. Хапиловой «Горихвостка».

Альманах «Ветер в ивах» (Коломна) за 2021 год напечатал рассказ А. Поселенова «Конфуз».

ИЗДАНЫ КНИГИ

Трухан Е. Эпистолярное наследие Ф. М. Достоевского 1855–1857 годов: монография / М-во образования и науки РФ, Кузбасский гуманитарно-пед. ин-т Кемеров. гос. ун-та; Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (Новокузнецк). – Новокузнецк: КГПИ КемГУ; Красноярск: Sitall, 2021. – 220 с.

Усольцева Н. Солнце никуда не уходит: стихи и рассказы. – Кемерово: Кузбассвузиздат, 2021. – 239 с.

Адодин С. Служение Богу, Церкви и Кузбассу: митрополит Евлогий (Смирнов). – Кемерово: Издательский отдел Кемеровской епархии, 2021. – 228 с.

Золотаина Г. Давайте о хорошем!: стихи. – Кемерово: Кузбасский центр искусств, 2021. – 96 с.

Ильдимирова Т. Замри!: рассказы. – Кемерово: Кузбасский центр искусств, 2021. – 182 с.

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ОГНИ КУЗБАССА» за 2021 год

ПОЭЗИЯ

| | |
|--|---------|
| Брюзгина Марина. Муза спряталась со мной..... | VI-22 |
| Бурмистров Борис. Судьбы моей морозные деньки..... | IV-3 |
| Гамзов Алексей. Навсегдатай..... | III-118 |
| Денисенко Александр. Эти брови платком не сотрешь..... | I-57 |
| Джурович Наталья. Верни мне Русь..... | V-57 |
| Дорди Вера. Ожеледь..... | VI-36 |
| Егоркин Григорий. Водича поможет..... | II-69 |
| Еранов Владимир. Какой-то подозрительный намек..... | IV-71 |
| Замшев Максим. Улица в окнах шумит, непрерывная..... | IV-17 |
| Золотаина Галина. Буду тратить, пока жива..... | II-109 |
| Иленко Анатолий. Болит во мне поле..... | IV-64 |
| Мурзин Дмитрий. Рыба-шахтер..... | II-82 |
| Мурзина Наталья. Драгоценный песок..... | I-68 |
| «Литературная газета» в Кузбассе. Интервью с главным редактором М. Замшевым. Беседовал А. Мухарев | IV-15 |
| Новиков Андрей. На солнечной оси..... | VI-49 |
| Раевский Александр. Туча вздыбилась в полном безмолвии..... | IV-31 |
| Ребров Андрей. В толще временной..... | V-39 |
| Русских Анастасия. Подковырочки, подколки..... | V-19 |
| Сурова Нина. А помнишь, бродили по нашей тропинке..... | III-116 |
| Тихонов Александр. Легкий росчерк птичьего крыла..... | I-121 |
| Федорова Марина. Вот хожу и удивляюсь..... | I-113 |
| Филатов Сергей. Заверну-ка всё в тряпицу да с собой заберу..... | III-73 |
| Филиппенко Дмитрий. Меняют нас и горе, и беда..... | V-60 |
| Хабаров Александр. Ангел меня подобрал. Послесловие Натальи Лясковской | I-134 |
| Хоботнев Дмитрий. Нет в нашем мире скорби, слез и зла..... | V-41 |
| Чидилян Людмила. Пел о любви нам Челентано..... | I-3 |
| Шкуратова Юлия. Перспектива неважна и добро непобедимо..... | I-93 |

ПРОЗА

| | |
|---|--------|
| Башев Николай. Рыжик. Повесть..... | III-8 |
| Верясова Дарья. История блогера Сони. Роман..... | II-3 |
| Вьюгина Светлана. Соль и мыло. Рассказ..... | I-118 |
| Давыдов Александр. Немного человеческого счастья. Рассказ..... | IV-66 |
| Зарубин Михаил. Долгая дорога к маме. Повесть..... | I-96 |
| Ильдимирлова Татьяна. Сто сорок ударов в минуту. Повесть..... | III-76 |
| Ким Мария. Из «Фельдшерского цикла». Рассказы..... | IV-48 |
| Киселев Виктор. Летние наблюдения за птицами в городе (зарисовка)..... | I-115 |
| Королев Андрей. Закрытие сезона. Рассказ..... | II-111 |
| Космидер-Грушчински Анжелика. Стенографист. Рассказ..... | VI-24 |
| Кренёв Павел. Беляк и Пятнышко. Рассказ..... | V-22 |
| Крупин Владимир. Жертва вечерняя. Рассказы..... | IV-34 |
| Кулемзин Анатолий. Рассказы..... | VI-38 |
| Лихоносов Виктор. После разлуки. Глава из книги..... | II-72 |
| Павлов Сергей. Кузбасская сага. Книга 5. Шахтерскому роду нет переводу. Предисловие Виктора Арнаутова | I-5 |
| Плетт Валентина. Кафе. Рассказ..... | VI-33 |
| Подгорнов Сергей. Под созвездием Водолея (заметки по разным поводам)..... | I-60 |

| | |
|---|--------|
| Рыжова Агата. Проспект Мира. Рассказ..... | IV-20 |
| Соловьев Геннадий. Рассказы..... | V-44 |
| Тарковский Михаил. Рассказы..... | IV-6 |
| Хоботнев Дмитрий. Встречный билет. Рассказ..... | I-124 |
| Черепанова Агата. Пасынки Агасфера. Повесть-сказка в декорациях жизни..... | VI-3 |
| Чиняев Сергей. Когда плесо запирает калитку. Рассказ..... | VI-51 |
| Чириков Евгений. Постигание мира. Историческая повесть-эссе..... | I-71 |
| Шалабаева Любовь. Суматошная жизнь. Рассказ..... | II-117 |
| Яковлева Людмила. Я буду ждать. Повесть..... | II-85 |

ДРАМАТУРГИЯ

| | |
|---|------|
| Назаров Игорь. Язычники. Историческая драма..... | V-62 |
|---|------|

ПУБЛИЦИСТИКА

| | |
|---|--------|
| Перминов Юрий. Омск, где Достоевский – место для гулянок. Или поминок..... | VI-141 |
|---|--------|

300 ЛЕТ КУЗБАССУ

| | |
|---|--------|
| Абушаев Айса. Стихи..... | III-7 |
| Атрошкин Сергей. Стихи..... | III-6 |
| Барковский Владимир. Стихи..... | III-5 |
| Бурмистров Борис. Стихи..... | III-5 |
| Донбай Сергей. Стихи..... | III-3 |
| Зайцев Алексей. Стихи..... | III-7 |
| Коньков Владимир. Стихи..... | III-6 |
| Краснова Екатерина. Стихи..... | III-6 |
| Куралов Иосиф. Стихи..... | III-5 |
| Михайлов Юрий. Слово о походе Петра Чихачёва..... | I-137 |
| Стихи..... | III-4 |
| Остроумова Людмила. Стихи..... | III-5 |
| Пирогов Николай. Стихи..... | III-7 |
| Титов Виктор. Стихи..... | III-7 |
| Чириков Евгений. Как закалялась сталь в Ленинске-Кузнецком. Очерк..... | VI-131 |
| Якушева Надежда. Стихи..... | III-6 |

200 ЛЕТ ДОСТОЕВСКОМУ

| | |
|--|-------|
| Волгин Игорь. «Еще!» (Марья Дмитриевна). Глава из книги..... | V-3 |
| Донов Анатолий. Забытая семья Достоевского..... | V-90 |
| Ломакин Станислав. Мыслитель, пророк, гений..... | V-106 |
| Молчанов Виктор. Символ веры Ф. М. Достоевского..... | V-108 |
| Мотидзуки Тэцуо. Вокруг дискуссий о церковном суде в «Братьях Карамазовых»..... | V-110 |
| Трухан Елена. Достоевский – имя обжигающее..... | V-97 |
| Шунков Александр. Достоевский и Кемерово..... | V-101 |

И БОЛЬШИМ, И ДЕТЯМ

| | |
|---|---------|
| Бецко Анжела. Стихи..... | III-165 |
| Дубровская Надежда. Детские стихи и загадки..... | III-164 |
| Лаврина Вера. Филипок Дубовый Листок. Сказочная повесть..... | VI-144 |
| Новицкий Евгений. На ножки лужа наступила..... | V-152 |
| Савченко Александр. Чем пахнет солнце. Рассказ..... | III-161 |

КНИГА ПАМЯТИ

- Буравлев Евгений.** Валя, Занозка моя! (6 неизвестных писем)
Публикация и предисловие **Владимира Нады** IV-99
- Емельяненко Лидия.** Белые конверты V-88
- Коваленко Александр.** Дед Павел. Документально-художественная повесть IV-105
- Кузнецов Борис.** Небогатов V-89
- Мариинск. Детство. Пятидесятые, шестидесятые, семидесятые годы. Подготовила **Юлия Сычева** I-159
- Ракузо Людмила.** Когда мы жили на «43-м пикете» II-155, III-120
- Седельцева Людмила.** Путь в литературу из школы и «Факультета» V-88
- Филиппов Дмитрий.** Хозяин дороги. Документальная повесть II-128
- Фролова Ирина.** Уроки Михаила Небогатова V-87

ЭССЕ

- Арнаутов Виктор.** Парадоксы совпадений, или Мир тесен III-153
- Крёков Виталий.** Письма с тыльной стороны V-147

ЗАПОВЕДНАЯ СИБИРЬ

- Долгов Максим.** Кийский дневник IV-149
- Прищепова Ирина.** Затопленная родина IV-130

ЛИКИ ЗЕМЛЯКОВ

- Богданова Наталья.** Тайга – малая родина Владимира Чивилихина III-148
- Колмогоров Николай.** «На сердце было и в природе...»
Публикация **Аллы Колмогоровой** I-141
- Стихи и проза – два крыла. Беседа с **Владимиром Ивановым.**
Беседовал **Владимир Михеев** IV-153
- Тюшина Екатерина.** Родоначалник шорской литературы (к 120-летию со дня рождения Степана Торбокова) I-146
- Черемнов Сергей.** Василий Попок. «Не бесстрастный свидетель жизни...» V-154
- Шалакин Григорий.** Осознание былого II-160

РУССКАЯ ШКОЛА

- Козлов Василий.** Заметки на белых полях I-150

ИСКУССТВО

- Чертогова Марина.** Отсекая лишнее I-156

БИБЛИОТЕЧЕСТВО

- Лихоносов Виктор.** Ненаписанные воспоминания.
Наш маленький Париж IV-74, V-116, VI-61

200 ЛЕТ Н. А. НЕКРАСОВУ

- Чурилов Виктор.** Мать поэта VI-139

ЦИТАТА

- Ключников Юрий.** О Евгении Буравлеве.
Подготовил **С. Донбай** IV-160
- Поэтическая перепалка. Воспоминания о М. А. Небогатове.
Подготовил **С. Донбай** V-153

ЛИТЕРАТУРНЫЙ СЕМИНАР

Межрегиональное совещание авторов Сибири и Дальнего Востока.

- Егоров Александр, Зорина Анна, Панов Александр, Перетокина Елена, Пешкова Екатерина, Письменный Михаил, Шаркунова Лидия, Ярушина Татьяна.** Стихи VI-126

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТУДИЯ

- Лаврина Вера.** «Весною золотою...». Детская литературная студия «Словотворчество» I-163

СЕМИНАР В ЛЕНИНСКЕ-КУЗНЕЦКОМ

- Емельяненко Владислав.** Стихи. **Заборцева Варвара.** Стихи. **Келарева Надежда.** Стихи. **Ким Инна.** Зима. Рассказ. **Малыгина Александра.** Стихи. **Шалаевская Вера.** Рассказы IV-119

ПОЭТИЧЕСКАЯ ПОЧТА

- Карабанов Константин, Килоч Наталья, Кольцов Георгий, Ляшко Ирина, Марченкова Кира, Свищёв Михаил, Сидельникова Ирина, Чернопяттов Сергей.** Стихи II-123

КРИТИКА. ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЕ

- Балтин Александр.** Искры шахтерской поэзии V-164
- Горохова Татьяна.** «Дай бог, чтоб всем любви хватило...».
О книге Бориса Бурмистрова, Татьяны Колач «Как жить на свете не любя...» I-167
- Отклик на книгу Елены Трухан «Фокстрот листопада» III-167
- Елатов Вячеслав.** Он оставил нам (памяти Сергея Павлова) I-167
- Колач Татьяна.** Русское слово – крепь России IV-162
- Лифуншан Владимир.** Время отдавать долги. Рассказы о поэтах в новом формате аудиоповести I-168
- Расторгуев Андрей.** Не снегом единым III-166
- Трухан Елена.** Земные пути к лучезарному слову (к 70-летию со дня рождения Любови Никоновой) II-163
- Филиппенко Дмитрий.** Чем удивили стихи V-169
- Фролова Ирина.** От корки до корки V-167
- Чириков Евгений.** Сидим на одной ветке V-166
- Ягодинцева Нина.** Смотреть бесплатно в хорошем качестве.
Отклик на книгу Дмитрия Мурзина «Новое кино» II-164

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ

- Литературная хроника. Подготовил **Д. Мурзин** I-170, II-170, III-169, IV-169, V-170, VI-167



ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Журнал «Огни Кузбасса» проводит курс на расширение творческих связей с писателями, а также с журналами других регионов России:

«Наш современник» (Москва),
«Родная Ладога» (Санкт-Петербург),
«Сибирские огни» (Новосибирск),
«День и ночь» (Красноярск),
«Врата Сибири» (Тюмень),
«Алтай» (Барнаул),
«Бийский вестник» (Бийск),
«Дальний Восток» (Хабаровск),
«Сибирь» (Иркутск),
«Начало века» (Томск),
«Сихотэ-Алинь» (Владивосток),
«Литературный меридиан» (Приморский край, г. Арсеньев),
«Подъем» (Воронеж),
«Север» (Петрозаводск),
«Енисей» (Красноярск),
«Природа Алтая» (Барнаул),
«Гостиный двор» (Оренбург),
«Роман-журнал. XXI век» (Москва),
«Бельские просторы» (Уфа),
«Русское эхо» (Самара).



По отдельности тиражи наших журналов небольшие, но если их сложить, сумма света, который они несут, будет значительной.

Наше издание распространяется в библиотеках и учебных заведениях Кузбасса, высылается авторам журнала, в редакции вышеперечисленных журналов и литературных газет, а также подписчикам.

Редакция журнала принимает рукописи, отпечатанные на компьютере через полтора интервала (12–14-й кегль), с обязательным приложением флешки с набором текста в любом формате. Вместе с текстом просим присылать краткую биографическую справку, данные паспорта, ИНН и номер страхового свидетельства.

Редакция знакомится с рукописями авторов не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Наш электронный адрес: sp_kuzbass@mail.ru.

Наш сайт: www.ognikuzbassa.ru.

Редакция журнала «Огни Кузбасса» благодарит за поддержку администрацию города Кемерово, АО «Стройсервис».

Журнал «Огни Кузбасса»

Главный редактор **С. Л. Донбай**

№ 6. Дата выхода в свет: 20.01.2022

Индекс 12234

Тираж 1600 экз.

Формат 60×84%. Бумага офсетная № 1. Гарнитура «Arial».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 20,0 + 0,5 л. цв. вкл. Уч.-изд. л. 20,0. Заказ № 2116. Цена свободная

Адрес редакции: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 40. Тел. 8 (3842) 36-85-14.

Адрес издателя ГАУК «Кузбасский центр искусств»: 650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 6. Тел. 8 (3842) 75-04-88.

Адрес типографии ООО «Вектор-Принт»: 650021, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Стахановская 1-я, д. 39а, оф. 211.

Журнал «Огни Кузбасса» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кемеровской области.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ42-00877 от 10 марта 2017 г.

Учредитель (соучредители) (адрес): Государственное автономное учреждение культуры «Кузбасский центр искусств»

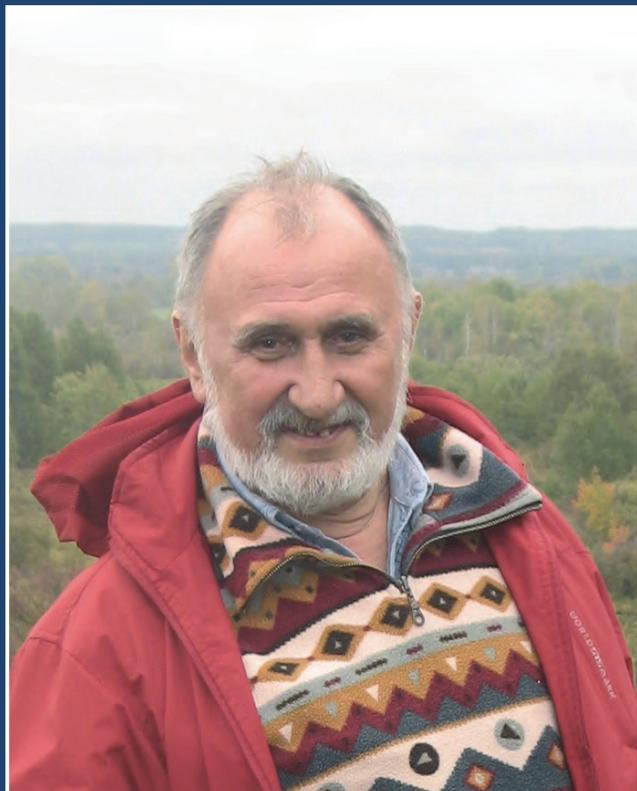
(650000, Кемеровская область, г. Кемерово, ул. Дзержинского, д. 6),

Кемеровское областное отделение «Союз писателей Кузбасса» общероссийской общественной организации «Союз писателей России» (650000, Кемеровская область, г. Кемерово, пр. Советский, д. 40)

Корректор **М. Н. Долгов**

Верстка: **Е. К. Метякова**

Поздравляем наших писателей-юбиляров!



Виктор Бокин – 75 лет



Вера Лаврина



Екатерина Тюшина



Михаил Кривошеин – 70 лет

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписку на журнал «Огни Кузбасса»
можно оформить
через ООО «Урал-Пресс Кузбасс»
по телефону 8 (3842) 58-70-37

Приобрести журнал можно в редакции
по адресу: пр-т Советский, 40